

K1080322

HE BEAU CHEM...

В. СТЕПАНОВ

НЕ БЫЛ СЧЕТИ...

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТЬ

Архангельск
Северо-Западное книжное издательство
1987

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Р а с с к а з ы	
Забуксовали	3
Не белы снеги...	20
Дядя Каша	38
Вот и пойми их!	62
Крайний день	81
Привычка	114
Федька	127
Американский пиджак	135
Курник	160
Под одной крышей. П о в е с т ь	171

Текст рассказов «Привычка», «Федька», «Американский пиджак» и повести «Под одной крышей» печатается по изданию: В. Степанов. У самой железной дороги. М.: Современник, 1976 г.

Степанов В. С.

С79 Не белы снеги...: Рассказы, повесть.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, Волог. отд-ние, 1987.— 256 с.

В книгу вологодского прозаика В. Степанова «Не белы снеги...» вошли как ранее издававшиеся, так и новые произведения писателя, посвященные проблемам современной деревни, раскрывающие нравственный мир сельского труженика.

С 4702010200 10—87
М 157(03)—87

ББК 84Р7

РАССКАЗЫ

ЗАБУКСОВАЛИ

1

Жарким июльским днем, когда воздух парной и недвижный, когда ошалевшие мухи с лету ударяются во что попало, падают и лежат кверху лапками; когда тянет расслабиться и ждешь грозы; когда никнут на корню травы; когда и механизаторы разрешают себе прилечь в тени на прохладную кошенину,— в такой вот полдень по размякшему асфальту пригородного шоссе одиноко катился грузовик, в кабине которого сидели двое, а в кузове побрякивал груз, плотно укутанный брезентом. Но, словно поддавшись общей истоме, остановилась и эта машина.

— Давай-ка теперь ты, Николай,— озабоченно проговорил водитель.— У тебя ноги помоложе.

Парень в сетчатой бобочке и джинсах, подавив вздох недовольства, вылез из кабины и оглядел кузов.

— Все в порядке, Михаил Евграфович,— доложил он, залезая в кабину.— Сами же увязывали, а останавливаемся третий раз.

— В таком деле лишний раз не помеха. А не то пустым можно к месту прибыть,— без обиды, но с назидательностью ответил старший, осторожно трогая машину с места.— Это вам, молодяжкам, все думается, что раз-два — и в дамках. Ты вот, зятек мой будущий, тоже, предполагаю, хотя и курсы свои еще не закончил, а себя уже героем-передовиком видишь. Премии, награды, квартира и прочие блага-почести, поди-ка, мерещатся. А так сразу в жизни не бывает. Все дается постепенно, с великим трудом. И идти к этому надо не очертя голову, а с оглядкой.

Парень нахмурился и отвернулся к окну кабины. Было похоже, что и спутник, и разговор ему изрядно надоели.

— И не хмурься,— продолжал старший.— О жизни думать трудно? Верно, занятие это нелегкое. А без него ничего не выйдет. Интересовался я у твоего начальника, знакомый мне мужик. Так он говорит, что парень ты способный, только бирюковатый малость. Переломи себя в этом и быстрее ухватишь то, что именно тебе надо. Хочешь жить — умеи вертеться. Таких скорее примечают. Это неплохо, что смолоду ты к хамству не приучился, не пристало оно к тебе. Но и понапористее, Николай, надо быть. В меру, конечно, и к месту. Иначе многое мимо рук проплывет, другим достанется. И поосторожнее тоже надо быть. А то успел иной проявить себя, похвалили его раз-другой, а он уж и тормозные колодки потерял, и закуролесил... Приедем, такого типа, возможно, и увидишь.

— А он кто? — без особого интереса спросил Николай.

— Да вроде тебя, такие же курсы кончал. Только пустоголовый. Узнает, что мы привезли,— отбою от него не будет. Сам не дашь — ограбит. И что за человек, удивляюсь? Работать лучше многих может, а попадет вожжа под хвост — пиши пропало. А ведь детей завел, хозяйство. Моторин по фамилии, а кличут его Лехой Мотором. Потому что баламут, без руля и без ветрил. И к людям привязываться любитель. Дай ему то, дай это. А по-моему, дак не «дай», а свое имей. Не знаю, как от него и отделаться. Насос мой ему, видишь ли, приглянулся...

— Что за насос?

— Да так, списанный, ни в каком производстве не годный. Сам бы Леха и не такой мог заиметь при желании. Все бы мог, а ему — «дай». Эдак ему, видишь ли, легче.

— Все иметь невозможно. Да и зачем?

— Во-во! Вы такие. Ради себя палец о палец не ударите, а на чужбьяка жить не брезгуете. Привыкли!

Николай снова отвернулся к окну, за которым по полю у дороги двигались уступом трое «Беларусей» с косилками. Косилки старательно изрыгали из своих задранных к небу хоботов струи измельченной травы в прицепные тележки. Поле за машинами светилось девственной бледно-зеленой наготой.

— Много, ой много человеку надо! — продолжал, цепко держась за баранку, Михаил Евграфович, тоже покосив-

шийся на поле.— Он, человек-то, волей-неволей к этому стремится. Силосуют вон... Работают по часам в два раза меньше, и работа теперь в пять раз легче, чем в мои молодые годы, а получают в десять раз больше. Всем много надо! А по-моему, дак теперь только портят людей такой организацией, особенно молодежь. Вот послушай-ка, с чего я жизнь начинал и чего сумел достичь...

— Интересно,— отозвался Николай, не скрывая ухмылки, но спутник ее не заметил.

— Начнем с того, что имею я всего четыре класса образования. По нынешним временам это тьфу! А поработал больше двадцати лет механиком, и не в какой-нибудь дыре, а в городе. Двадцать лет в командировки ездил. Самого себя и своего здоровья не жалел, и все это видели. А кто не хотел замечать, тому я показывал и доказывал. Засучу, бывало, рукава комбинезона и за какой-нибудь час-полтора заставлю работать насмерть запоротый трактор или динаму, или электромотор. Стоят рядом, рот открывши, деревенские трактористы, начальство стоит, глаза пялит, а я делаю, чтобы видели и оценку давали. Во мне, брат, большие способности открывались. Теперь годами всему учат, а я сам, руками вот этими, смекалкой своей брал. И памятью. Разбуди меня среди ночи, спроси про какую-нибудь запчасть-деталь, и я без запинки отвечу.

Дак вот, я продолжу, что и больших способностей человеку все равно мало. Надо еще научиться их применять. Я в жизнь-то тоже, как и ты, с пустыми руками пошел. Батю моего, крепкого крестьянина, середняка-труженика, раскулачили и увезли неведомо куда. За-вистников и тогда хватало. Вот я и рос у тетки. Ну, штаны имелись у меня холщовые, сатиновая рубаха для праздников и кое-какие сапожонки. Жалко мне было их рвать, последние ведь, но затмила мне все на свете страсть к машинам. Истрепал-таки возле чужих тракторов последнюю обутку, но кое-чего и достиг. Давно это было. Вспомнишь — дак смех и горе. Да ты еще и в плане тогда не значился, не все и поймешь...

— Людей пока что не планируют,— вяло подал голос Николай.

— Людей, может, и нет, а жизнь себе умные люди планируют. И не только себе. Оттого и у тебя, детдомовца, жизнь получше, чем у меня была в твои годы. Это уж когда я за штурвал прочно сел, да и то не сразу, завелись у меня и шубейка с опушкой, и сапоги со

скрипом, и валенки с голенищами до самых пахов. С той поры и пришло ко мне полное понимание жизни и самого себя. Да и других тоже. Не каждый ведь к технике способность имеет. Некоторые и по сей день разбираются только в телеге, да и то думают, что вся хитрость там в шкворне. Ясно, что таким и воздаваться должно по ихнему уровню, а мне, скажем, по моему высококвалифицированному труду. Ты это учти, самого себя и других этой меркой меряй. Много раз проверенная это мерка. Ее и начальство признаёт.

Михаил Евграфович некоторое время молчал, глядя на дорогу. Потом продолжил:

— Что мне было делать, одинокому, родительского наследства лишённому? Долго не признавало меня начальство, не отличало, а может, не больно и доверяло. А я доказывал. На собраниях выступал, чтобы на виду быть. После одного такого собрания-слета трактористов-ударников, после моего там с трибуны выступления и попал я в механики. В те годы быстро вверх выдвигали. А у механика, понятно, другие условия и возможности, если он с головой, конечно. И на тракторе тебя не трясет день-деньской, не глушит и не травит. И жильё...

— Да, квартира... — произвольно вырвалось у Николая.

— Не горюй. Открою тебе секрет. Решили мы с Марьей купить вам кооперативную. На мои сбережения. А откуда они взялись, а? Тут большая и хитрая механика. Коснемся сначала оклада. Я, считай, всю жизнь его не трогал. Марья моя в нашей конторе уборщицей служила, на хлеб-соль себе и мне зарабатывала, а я — по командировкам все больше.

Получишь в кассе положенные денежки — и хорошо, если на неделю уедешь, а то и другую прихватишь. Ездил только на попутных, билетов не покупал. Всюду меня знали и везде мне были рады. Да и какие могли быть билеты, если ни в один конец не было тогда никакого регулярного транспорта! Отчитываешься, что нанимал, мол, подводы, а расценки на гужевые перевозки были и остаются повыше нынешних аэрофлотовских. Главное — все понимали: от меня зависит, какому трактору в МТС ходить, а какому погодить, кому быть передовиком с наградой и премией, а кому сидеть на бобах. Потому что у кого в руках запчасти? У механика. Да... Дак как завидят меня на местах, так сразу и тащат в гости, за стол. Остаюсь дня на два, на три — режут

барана, бесплатно выписывают молоко, яйца и муку. Самые лучшие стряпухи мне пекут, варят и жарят. В самой чистой и теплой избе ночую. А придет пора уезжать — продуктишков на неделю накладывают, мяса вареного и вяленого, головки домашнего сыру, яйца вареные, пироги. Ну и понятно, что суточные, ночлежные, полевые-разъездные везу домой нетронутые.

— И сейчас, слышал, некоторые пользуются,— не стерпел Николай.

— Не-ет, теперь совсем не тот коленкор. И сравнивать нечего,— убежденно возразил Михаил Евграфович.— Но я еще не все досказал. Я еще лет восемь числился главным по списыванию сельхозтехники. Старые машины раскурочивали. Тут уж пиши, что хошь... И себе бери, если надо. Так у меня у первого в городе появился индивидуальный водопровод для поливки огорода, потом мотоцикл с люлькой, потом «газик»...

— Ловко! — усмехнулся Николай.

— Ну, без смекалки и вот этих вот рук не обошлось. Да и ценили меня, уважали. Оттого и бронь мне выдали на всю войну. Так что воевал я в тылу, на ниве сельскохозяйственного производства. Нам запчастей тогда совсем, считай, не выделяли, дак только на одном моем соображении и работали хоть трактора, хоть молотилки. Не одни бабы пахали на коровах, как в иных книгах пишут, дело делали и мы, эмтээсовцы. Всего-то и не рассказать, какая была тогда обстановка. Горючего не хватало, а как мы его добывали — и сейчас говорить нельзя.

— Трудно понять, как вы без горючего, без запчастей работали,— усомнился Николай.

— А крепко притершись мы были тогда один к другому, выручали один одного. Старое-то, знаешь ли, почти всегда лучше нового. Это правило хоть среди запчастей, хоть среди людей действует.

— Это-то понятно...— снова вздохнул и нахмурился Николай.

— То-то! А в последние годы мне уж и поднадоело по командировкам ездить. Условия не те стали... да и народ тоже. В гости — ни-ни, иди в комнаты для приезжающих, покушать — в столовые. И везде плати свои любезные. Потому и перевелся я в завсклады, еще ближе к запчастям. Там спокойнее. А то пришлют какого-нибудь черта, кукурузного комбайна, и ума не приложишь, к чему его приспособить, если даже и спишешь

его за ненадобностью. И вот — пенсию заработал, квартиру хорошую имею. Многие из начальства и по сей день со мной за руку здороваются, потому что помнят... Дочь вырастил, твою будущую жену. Красивая девка, ладная, и к хорошему месту пристроена. Но ты ее не балуй. Она и на твой рублик, как и на родительский сразу прицелится. Практику ихнюю насчет перемены мод по два раза в год — то открытое, то закрытое, то мини, то во всю длину — пресекай. Пусть у нее про хозяйство, про дом главная забота будет, а не про японские зонтики да заграничные штаны.

— Да мы с ней...

— Но и не обижай сильно, — не дал высказаться будущему зятю Михаил Евграфович. — И слабины тоже не давай, а то потом трудно будет бабу на правильный путь восстанавливать. И чтобы люди про вас языком не трепали. А то нонешние бабы ведрами мусор-то из избы выносят, а мужики развозят его машинами. Уловил аллегория? Так-то... По себе все это знаю. У меня вот баба давно молчит, а то, видишь ли, керосинный запах от меня ей был не по нутру поначалу. А теперь молчит и ждет нас в деревне... Ты думаешь, легко было избу-то в деревне купить, да еще на месте на таком, что на угорчике, на бережку и с огородом? Нелегко, потому что цены нет избе, а вокруг нее — свежему воздуху, тишине, ягодкам да огурчикам. Запрещено ведь законом покупать в деревнях жилые строения лицам, имеющим квартиру и прописку в городе. Есть такой закон. Но законы надо знать все, а не только некоторые. Вот я и разузнал, что купить мне избу нельзя, а получить в подарок — вполне можно. Дом — личная собственность. А личную собственность любой может подарить кому захочет: хоть соседу, хоть турецкому султану. И никакой сельсовет или нотариус тут не воспрепятствуют, наоборот, сами все бумажки оформят, потому что обязаны... Вот и подарила мне одна бабушка свою избушку. Невмоготу ей стало одной там жить. Двести рубликов я ей отвалил, не пожалел, а сейчас, после ремонта и перепланировки двора, за тыщу не отдам. За две!

— Тучу вроде заносит, — проговорил Николай.

— В такую жару все может быть, — легко откликнулся Михаил Евграфович. — Времени еще маловато, а вроде уж смеркаться начинает. Быть дождю... Да так-то оно бы и лучше: не каждый разглядит в деревне, с каким мы грузом прибудем. Мне ведь тоже непросто было

раздобыть на вашу свадьбу двадцать ящиков пива. Часто ли бутылочное-то у нас выбрасывают? А я достал. Не с одной же водкой свадьбу справлять. Пивка я и сам поплюю. Под рыбку, пойманную своими руками и собственного копчения. Это полезно. Если есть на что-то аппетит — это всегда полезно для здоровья, хоть врачи и по-другому толкуют. А водка — тьфу! Отрава! Для дураков она. Для Лехи Мотора...

Машина еще с полчаса ходко бежала по асфальту, управляемая умелой рукой. А впереди и в самом деле поднималась бескрайняя синяя туча, добавляя новые заботы в размышления двоих.

— Сверну, пожалуй, — заговорил наконец Михаил Евграфович. — Не свернуть — вдоль деревни придется ехать. Любопытствующих набезит, как собак. Привяжутся помогать с разгрузкой, а потом — пивка городского хоть глоточек глотнуть дай! Знаю я тамошнюю публику, изучил. До свадьбы ополовинят, если слабинку проявить. Есть тут старая объездная дорога. По лесочку. Зато напрямик к нашим воротам. Дом-то, считай, с краю. Подъедем без особого шума — и на замок ворота. Не часто по этой дороге ездят, но мы-то, чай, проскочим, проползем, не такое я видывал... Дождик вот только, зараза, не разошелся бы. А там глинистое место в лотке...* Не забуксовать бы...

2

Леха Мотор, молодой механизатор самой обыкновенной наружности, сидел на приступке кабины своего тяжелого оранжевого трактора, загнанного в гущу крапивы, и страдал душой. Надо же! Вроде бы ни помысла выпить, ни жажды большой не было, а завелся и прогудел два дня.

Позавчера утробовали последнюю траншею с силовом, и Леха получил получку да еще премию за лучшую выработку. Денег оказалось так много, что руки сами собой зазудились. А тут еще дружок с бутылкой портвейна. От чего было отказываться-то? От пустяка, от этой кисло-сладкой бормотухи? От уважения к старому приятелю? От хорошего разговора с ним? Да и время имелось.

* Лоток — корытообразная яма на дороге (местное).

Пи́ли тут же возле магазина, за углом, закусывали мятым плавленным сырком. Ну и разобрало с устатку и с отвычки. И понеслось... Часа через два Леха был уже возле своего крыльца, ощущая в карманах две высокононькие, сулящие еще большую радость бутылки «Столичной».

Жена Нинка все еще разносила почту. А без нее Лехе и лучше. В печь с ухватом он не полез, хотя и знал, что там в чугушке со щами томится увесистый кус баранины. Сграбастал только в немытую пятерню давно нарезанные ломти хлеба и ушел, устроился в тени, в огороде. Пил в одиночку, прямо из горлышка, заедал черствым хлебом, недозревшими ягодами и огурцами, до которых можно было дотянуться рукой не вставая.

Огурцы горчи́ли во рту хуже водки. Надо было срывать с них колючую кожуру, но в любую минуту могла нагрязнеть Нинка. Даже за солью не сходил Леха, так торопился. И успел... До кровати только не сумел добраться, уснул на крыльце.

Жарило безжалостное солнце, кусали назойливые мухи, а к вечеру — комары. Он ничего не чувствовал.

В себя стал приходиться от знакомых, нагнетающих тоску звуков. Это ругалась жена. И еще по звукам Леха понял, что Нинка доит корову, и без особого удивления определил, что уже утро.

«Под коровой и то лается. Ишь, яду-то в себе накопила, так и брызжет», — подумал он, вовсе не осуждая себя. Он попытался все вспомнить, но и вспоминать-то было нечего, а поэтому он решил, что ему надо чего-нибудь поесть и попить, чтобы не ныл желудок, да и на работу... Леха покрутил гудящей головой и вдруг увидел, что под скамейкой, в самом потаенном уголке, стоит себе последняя початая бутылка. И как она там оказалась! И как не разглядела ее Нинка! Нет, это же просто удача! Леха без раздумий приложился к горлышку, побулькал и утер рукавом саднящие губы. И тут на него налетела жена:

— Леший, леший и есть! Не стыдно глазам-то твоим пустым? Эво, на виду у всего народа развалился и дрыхнет среди белого дня! Любуйтесь, люди добрые, на пьяницу! Переступайте, дорогие деточки, через папочку! Бить тебя некому!

— Ти-ше! — проговорил Леха и даже погрозил в сторону жены пальцем.— Бить приглашай Поливина, ты

его любишь и уважаешь. А я, как и все другие прочие, не люблю критику снизу.

— Я вот к директору схожу, чтобы не давали денег в руки твои дырявые! Заявление напишу! Давно пора приструнить тебя, бессовестного.

— Насчет денег — шалишь! Не имеешь права...

— Есть такие права. Да с тобой еще и не так надо, с широкоглотышным!

— В таком случае, фрау-мадам, с горячим приветом! Леха швырнул опорожненную бутылку в крапиву и с лихим посвистом сиганул с крыльца.

— Не тронь машину! — панически вскрикнула Нинка.

— Пьяный за рулем — преступник! — обернувшись, назидательно ответил Леха и вразвалочку, но довольно скорым шагом двинулся к центральной усадьбе совхоза, где имелась и столовая, и магазин с вином, и обязательно встретятся дружки.

Идти надо было километров семь, никак не меньше часа. За этот час думал Леха мало. Обнаружив в кармане еще довольно толстую пачку денег, он решил, что положит их на сберкнижку, а назло жене скажет, что пропил с обиды или выронил. Но в сберкассу в этот день он не заглядывал, мстительные мысли забыл, а домой возвращался уже под вечер, голый по пояс, но совершенно равнодушный к тому, где и при каких обстоятельствах лишился рубахи.

Двигался он зигзагами, удивленно отступал от валунов, от кустов крапивы, неожиданно возникавших перед ним, и каждый раз, обходя их, делал большой крюк.

— Идет! — с крыльца разглядела его Нинка, — Опять на бровях ползет, белого света не видит, шатун несчастный! Шарашится, шалопай!

Хоть и тяжеловатым, но упругим бабьим бегом она устремилась навстречу мужу, обхватила его сильной рукой и молча поволокла к дому. Леха мычал и не сопротивлялся. Но у самой околицы он вдруг резко взягнул, побежал от жены по прямой с неожиданной скоростью и бросился плашмя в грязный полувысохший пруд...

Утром он уже не огрызался. А Нинка пилила...

«Дура, — без особой обиды думал Леха. — Любит меня, беспокоится — вот и переживает, не может сдерживать свои нервы. Да и кого ей больше любить-то? Другие ей тут не припасены и никто ее кормить и всем обеспечивать, кроме мужа, не собирается. Кому нужна

детная? А любишь — дак и люби, а не ори без толку. Может, сам я переживаю и плохо мне в этот момент. Да и помогла бы, посочувствовала, если любишь. Да где же от нее такого дожидаться! Только орать... И кто дал бабам такое право? Нет же такого закона ни для для баб, ни для мужиков, чтобы орать и обзывать. Я-то не ору! Ну, провинился малость, дал себе послабление для разрядки. Но проспался — и снова в хомут. Ради нее же и ради семьи. Самому-то мне много ли надо? Пять костюмов на себя сразу не наденешь. Одного хватит, да и в том здесь выйти-показаться некуда и некогда. Оттого и хожу в рабочие и в выходные в робе. Привычно и удобно, и всегда за любое дело взяться готов. А она это понимает? Нет. Значит, учить таких надо. Назло ей не буду сейчас есть. Деньги она, конечно, забрала, но в потайном карманчике есть еще рубль с мелочью. Поплю в столовой кефиру с булкой — и за нарядом...»

И Леха стал заводить трактор.

— Куда не евши-то? — встревожилась Нинка.

— Я твоей музыкой сыт. А оголодаю — добрые люди накормят.

Леха круто развернулся на тракторе и успел заметить, как всплеснула жена руками, приложила ладони к щекам. Ему стало хорошо.

Смену отработал честь честью. И в контору заглянул просто так, покурить с мужиками, послушать новости. Тут-то и появился директор. И душа у Лехи снова запыла.

Не понимал он этого директора и удивлялся, глядя на него. Свой же, деревенский, росли, считай, вместе. А теперь и не разберешь, мужик он или из городских. Может, и правильно ведет он хозяйство, но уж больно порядок любит, словно ротный старшина-сверхсрочник, и язычок у него ядовитый, вроде Нинкиного. Не следовало бы попадаться ему на глаза после этих двух дней пьянки, но директор уже увидел Леху и пригласил его к себе. Не пойти? Нет, тут не дома, не своя воля. Он, может, по серьезному вопросу...

По пути директор остановил Леху в просторной комнате бухгалтерии, где за столами сидели одни женщины.

— Девчата! — спросил директор. — Кто из вас вчера с этого героя рубаху снял? Отдайте человеку.

Счетоводки, особенно молоденькие, заглядывали на Леху, запрыскали в ладошки.

— Штаны-то хоть до дому донес? — издевался директор.

Счетоводки захохотали уже во весь голос. А Леха насупился и стиснул кулаки.

Но больше ничего смешного и обидного не было. За прикрытыми дверями кабинета директор посерьезнел:

— Хороший ты работник, Моторин. А как попадет тебе в ноздрю — прощай радость. Что с тобой делать-то?

— А чего делать? Не убил, не ограбил! — заерепенился Леха.

— Не ограбил, верно. А веру в себя убиваешь. И за прогулы твои, за художества я вправе перевести тебя на самый грязный копеечный ремонт! — возвысил голос и директор.

— Куда же я без трактора? Да я... — растерялся Леха.

— Что? Знаю, что лучше всех можешь работать. Ну, что?

— Да я с первого мая в рот не брал. И еще два месяца не притронусь.

— Знаю, что с мая. А почему два месяца?

— Через два месяца день рождения у меня.

— Ну, день рождения — это понятно. Да и тут пора бы уж без алкоголя.

— Да я! Дайте мне... на эти два месяца... на моем тракторе только... хоть самую дрянную и невыгодную работу — все будет в ажуре! — загорячился Леха.

— Что так? Неужели без выгоды работать интересно?

— А мне все равно. Без хлеба не останусь и с голода не помру. А на своем тракторе я успокаиваюсь. Без него мне места не будет... Запью... Или еще что...

— Ладно. Работу дадим, какая будет нужна совхозу. Может, и невыгодную. Но — гляди, Моторин! — многозначительно сказал директор.

На том и кончился разговор. Нормальный вроде бы. После такого можно бы и сбросить камень с души, успокоиться и даже развеселиться, а Леха раздумался и расстроился пуще прежнего. Ох как тяжело и неловко было ему, когда на обратном пути снова проходил он через комнату бухгалтерии! Не смеялись уже счетоводки. Губки поджали строго, вид самый деловой. Но Лехато знал, что это они просто сдерживаются, а в душе продолжают хохотать.

Пулей вылетел он из совхозной конторы. И трактор к дому гнал как шальной, чтобы никому не вздумалось его остановить, привязаться с разговорами. И вот уже темнеет, дождик закапал, а Леха все сидит на приступке кабины и тоскует.

Из ближнего перелеска донесся натужный вой автомобильного двигателя. Леха прислушался. И Нинка, вышедшая на крыльцо,— тоже.

«В Крутом лотке кто-то забуксовал,— без сомнений определил Леха.— Что за дурак туда полез? Когда там последний-то раз проезжали? И не припомнишь. Нездешние, видно... Ну и пусть».

— Иди ужинать-то. Полно дуться...— в который уже раз позвала Нинка. И Леха, хлопнув ладонью по коленке, пошел. Нинка, глядя на него потеплевшими глазами, все же сварливо пробубнила:

— И не показывайся больше на улицу. Застрял вон кто-то в лотке. Уж точно, что сейчас к тебе прибегут. Один ты здесь с трактором. А поедешь тащить — без пол-литры у вас не обойдется. Опять сорвешься...

— Никуда я не поеду.

3

Не успел Леха поест, как в дверь, предусмотрительно запертую Нинкой, постучали.

— Кого несет нелегкая? — в сердцах крикнула из сеней Нинка.— Мы спим.

— Простите, не здесь ли живет тракторист Алексей Моторин? — донесся с улицы незнакомый голос.

Нинка из любопытства сняла засов, приоткрыла дверь. Перед ней переступал с ноги на ногу длинный парень в джинсах, босой и с мокрыми волосами. Во дворе ровно шумел дождь, зарядивший, похоже, надолго.

— Нам бы Алексея...

— Нет его. Хороводится где-то с полочки,— раздраженно соврала Нинка.

— В вашей деревне? — спросил парень со слабеющей надеждой в голосе.

— Не знаю. Может, и в нашей. Я его не пасу.

Разозлившись, что приходится врать, Нинка резко захлопнула дверь. В переднюю комнату прошла почему-то на цыпочках, приникла к окну и долго следила,

как бродит парень от избы к избе, в которых еще светились окна. Леха молча пил в потемках молоко, о застрявшей машине старался не думать.

— Нездешний. Босиком и мокрый. По-городскому одетый,— сообщила Нинка.— Культурный такой. Самому-то такому из лотка не вылезти. Ездят тоже...

«И чужому надо бы помочь...»,— молча засовестился, заскучал Леха.

— И не вздумай! — прикрикнула все понимающая Нинка.— Тебя-то много чужие из грязи таскали? И никто до скончания века не буксует. Все как-то выбирают. Сумеют и эти. А поедешь — опять явишься если не пьяный, так в грязи по уши. А мне потом отстирывать...

С крыльца снова донесся стук, но теперь громче, требовательнее. Нинка бомбой, готовой взорваться, вылетела в сени, прислушалась.

— Это я, Нина. Поливин,— раздалось из-за дверей.

— Да сплю уж я, Михаил Евграфович. Раздетая. Чего вам?

— Ходишь да говоришь — значит, не спишь. Дело у меня. Открой.

— Подождите, хоть оденусь,— нашлась Нинка, побежала к Лехе, зашептала:— Поливин! Не видно его было эти дни в деревне. Значит, это он ехал да застрял. Иначе не стучался бы в такую пору, да в дождь... Ему так и так придется открывать, никуда от него, от паразита, не денешься. Нельзя отказывать-то, в долг я брала десятку у евонной Марьи из-за твоей пьянки. Не откроешь — нам же навредят, да и неловко. И хоть он и не пьяница — тебя к нему не пушу. Лезь в подполье. Скажу, что шляешься ты где-то. Я ему и кровать пустую покажу, если понадобится.

Леха криво усмехнулся и поднял люк в подполье, из которого пахло прелой сыростью и теплом. Ему стало смешно и грустно. Надо же, в собственном доме приходится прятаться. Но и позабавиться хотелось. «Поливин! — стучало у него в голове.— Давно ли был владыкой, а вот и сам, жмот, приполз с протянутой... Я ему припомню...»

В подполье спрессовались духота и темень. Сидеть тут было неважно, и Леха прополз по лазу в подполье, тот же подвал, только под сенями, где было по светлее и свежее и откуда можно было разобрать разговоры на крыльце и на улице. Здесь тускло синели оконца, прорубленные для кур и кота. Леха уселся по-

ближе к дверце, выходящей во двор, чтобы можно было слушать...

— Бродит где-то мой, премию получил за сенокос, дак известное дело... Третий день, как сошел с резьбы, Михаил Евграфович. Не знаю, что и делать с паразитом,— торопливо и как-то неубедительно оправдывалась Нинка.

— Трактор-то здесь. И хозяин, должно, недалеко. Пони уж. За мной не пропадет. Он и сам у меня кое-что просил. Выручит сегодня—и я уважить могу,— запинаясь от злости и унижения, уговаривал Поливин.

Леха с улыбкой во все лицо пытался представить себе, как явится в этот момент всесильный—да и сейчас еще сильный— бог запчастей. И сам размышлял не без злорадства: «Просил я у него насосик, это верно. Был бы такой у меня, не ломала бы Нинка свои руки, не таскала бы ведра с водой от реки в гору. Своими глазами видел у него этот насосик в сарайке, когда горбыль ему за тройак подвозил. Лишний насосик-то, про запас держит, потому что водопровод у него давно действует. И ведь задрожал, зажался, скупердьяй несчастный, будто я у него жену или дочку выпрашиваю...»

— А с чего вас в лоток-то занесло?—любопытствовала Нинка.— Гиблое место там...

— Да как ловчее хотели...

— А чего хоть везете-то? За ночь не испортится? Не растащат?

— Да на свадьбу кое-что... Дочь буду замуж тут выдавать. С женихом и приехал, он уж заходил к вам. Так хорошо задумали, а теперь все, того и гляди, сорвется. Не будет им, видно, настоящего счастья, раз такое начало...—нервничал Поливин, видимо, и секрет не желая раньше времени раскрывать, и понимая, что шла в мешке не утайшь, а может, и надеясь, что весть о предстоящей свадьбе тронет Нинку, как любую женщину.

«К свадьбе, понятно, и вино везут,— по-своему размышлял Леха,— Может, и пиво бутылочное. Водки больше не хочу, пошла она подальше, а пивка бы городского глотнул с удовольствием...»

Он так размечтался о пиве, представляя его освежающий вкус, что машинально нашарил в кармане папиросы и чиркнул спичкой, которая вспыхнула в темноте неожиданно ярко.

— А в подмостье кто?—тотчас подал голос Поливин.

— Ой, да кто там?! — вполне натурально всполошилась Нинка.

— Да я это! — отозвался Леха, улыбаясь. Да и в самом деле все получалось как-то забавно. Но и продолжать такую игру Леха больше не мог, чтобы от кого-то в собственном доме прятаться.

— Вот путаник-то! — всерьез разгневалась, закричала Нинка. — Я всю голову изломала, а он вон где устроился! Тут и милиция с собакой не найдет, пса такого. Ну — будет тебе! Вылезай уж тогда поживее. Люди его весь вечер ищут не доищутся, а он, как барсук, в нору забился! От стыда, что ли?! Дак и стыда-то у тебя нет. Ишь, он еще и лыбится во всю физиономию!

Леха вылез, сказал, пряча улыбку:

— Поехали.

...Мощные тракторные фары быстро выхватили из темноты и пелены дождя увязший передок грузовика, который сидел прочно: даже бампер погрузился в глину. Соображал Леха не больше минуты, развернулся и стал пятиться к грузовику. Поливин кинулся заводить трос. Парень в уляпаных джинсах перестал отбрасывать лопатой грязь и принялся наблюдать, устало опустив плечи.

Машину выволокли на удивление легко, и Леха ходко потащил ее по лужам к деревне, норовя ехать по обочине, чтобы не портить раскисшую дорогу. Раз десять, далеко высовываясь, выглядывал из кабины, чтобы разглядеть груз, но кузов грузовика был плотно укутан.

Затормозили у ворот поливинской дачи, и Леха еще раз с завистью поглядел на дощатую будку, примостившуюся под берегом у самой воды. Он-то знал, что лежит в этой будке лишний насос, который ему, Лехе, очень бы пригодился. Он сплюнул и сел в кабине прямо, глядя перед собой и ничего не видя, слушал и ждал. Наконец дверцу распахнули...

— Ну спасибо тебе, Алексей. Выручил. Заглядывай ко мне, если надобность будет, после свадьбы. Должно ведь малость остаться... — с притворной улыбкой ворковал Поливин, протягивая в кабину бутылку водки.

— Не возьму... этой, — раскаиваясь, что не уехал сразу, брезгливо отвернулся Леха. — Вот пивка бы... Не везешь ли случаем?

— Пивка-а! — скривился Поливин. — Оно, брат, нынче кусается. Легче водки найти, чем пивка.

— А я проверю! — неожиданно взъярился Леха, подчиняясь захватившему его злomu и веселому азарту.— Каждый водитель обязан знать, что он везет. Везешь ведь пиво! По роже твоей вижу! Да и слух про тебя ходит, какой ты до пива охотник!

Он вывалился из кабины и кошкой скакнул в кузов грузовика.

— А это что? А это?! — вскрикивал он, выхватив из-под брезента и поднимая в обеих руках по бутылке пива.— Да его тут полно! Как в ресторане!

— Алексей! Опомнись! Ведь на свадьбу! — торопливо говорил Поливин.— Редким случаем достал. Платил втридорога. Не могу!

— Ну и не надо! — Леха с размаху хрястнул бутылки о железные крючья кузова.

— Ты что?! Ответишь! Караул! — не своим голосом завопил Поливин, карабкаясь в кузов.— Хулига-ан!

Леха птицей пролетел мимо него, вспрыгнул в кабину своего трактора и дал полный газ. Грузовик резко дернулся, и Поливин с криком грохнулся на ящики с пивом.

Он так и лежал на них, распластав руки, пока Леха тем же путем, но уже на предельной скорости не дотащил грузовик вновь до лотка и с ходу не посадил его в ту же глину. Трос отцепил в одно мгновение и к дому катил с улыбкой во все лицо, хотя и был уже, как и предсказывала Нинка, изрядно перемазан.

Под ногами у него непривычно для слуха что-то брякнуло. Да это ж поливинская бутылка! И как он успел? Леха на ходу поймал ее рукой, сморщился от жалости к себе и все же швырнул ее в ночные лопухи.

— Мы тут свое родное Нечерноземье бьемся-подымаем, а он, гад такой, отдохнуть не дает механизатору ради личных своих удовольствий, да еще и подпойть стремится,— в запальчивости шептал он и успокаивался, считая себя совершенно правым, хотя от только что содеянного ему было жутковато. И лишь немного позже пришла мысль, что место, куда брошена бутылка, надо бы запомнить или как-то приметить...

— Тьфу! — Леха выругался вслух и сразу забыл о бутылке. Ему стало хорошо и легко. Он вдруг понял, что так угнетало его весь день. А угнетало его то, что не сказал он Нинке и директору что-то очень важное о себе, чего он и сам раньше не знал.

В те считанные минуты, когда грузовик находился у ворот поливинской дачи, ни Поливин, ни Леха не вспомнили о Николае и не хватились его. А возле дачи Николая и не было. Проводив недолгим взглядом грузовик, уволаскиваемый Лехиным трактором, он не спеша подошел к давно примеченной луже, образовавшейся на чистой луговине, и начал смывать с себя глину.

Когда же обе машины вновь появились в лотке, Николай не удивился и не бросился им навстречу. Он с веселым изумлением наблюдал за четкими действиями Лехи, а панический крик будущего тестя его только смешил.

Убедившись, что Леха уехал и ни за что теперь не вернется, Поливин, прикрыв груз брезентом поплотнее, начал, ругаясь, спускаться из кузова на землю. Руки его дрожали и ослабли. И, наверное, поэтому он неловко ступил на колесо, сорвался и увяз в глине руками и ногами. Николай подошел к нему и помог подняться, выбраться на сухое место.

— Ну?! Что теперь будем делать, дорогой зятек?! — взъялся на него Михаил Евграфович. — Я-то, дурак, надеялся на тебя, а ты?! За второго отца вступиться не мог! Трус ты несчастный, вот что! Да двое-то мы бы его... во как! — и Поливин показал, что означало бы это «во как», судорожно сжимая сцепленные ладони, словно давил в них орех. — А теперь что? Куда пойдем, как выбираться будем?!

— Вы отдохните в кабине, а я в город пойду, — сдерживаясь изо всех сил, спокойно ответил Николай. — Мне завтра на курсы к восьми утра. Консультация будет, а потом экзамен.

— А груз?! А закуски?! Пиво?!

— Да не любитель я всяких выпивок. И вообще... Свадьбу мы можем и в нашем общежитии сыграть.

— Да это как же?! А мы, а я?!

— Можно и вообще без свадьбы обойтись. Не в этом ведь дело. А Моторин к утру подберет и вашу машину вытащит, совесть у него есть, хоть он и забавный, — с улыбкой добавил Николай и неспешно пошел, омываемый дождем, в сторону асфальтированной дороги.

НЕ БЕЛЫ СНЕГИ...

Снега еще мало. Оттого вместе с ним сдувает с полей и мерзлую земляную пыль. Мутные вихри вылетают из-под гусениц, стегают по ветровому стеклу. Натужно ползет тракторный караван. Машины словно на буксирах следуют одна за другой: никто из трактористов не хочет отстать. Звено.

«Да-а, истинно не белы нынче снега,— размышляет звеньевой Василий Михайлович.— Не успела земля прикрыться, а тут еще мы добавляем копоти. Тащим эту чертову торфяную крошку на открытых санях, а сколько ее выдувает? Нагрузим по пять тонн, привезем по три. Не больно ладно».

Василий Михайлович мужик степенный, с опытом. В своем районе знает все деревни и все дороги, почти всех трактористов и начальников. Пришлось поездить и повидать всякого за тридцать-то с лишним лет, после того как демобилизовали его из армии с правами тракториста. Поэтому он привычно ведет свой головной трактор и, как всегда, почти спокоен. Нехорошо, конечно, что уносит крошку ветром («о чем начальство думает?»), не больно удобно и то, что рейсы уж очень далекие, натрясешься за дорогу. Но работать надо, никуда не денешься. Ругнется Василий Михайлович про себя и вроде легче станет.

«На что обижаться-то? Декабрь на то и декабрь, чтобы морозить да вьюжить. Испокон так было и будет. Главное — люди, напарники-товарищи, а они в звене подобрались вроде бы ничего. Не самые, конечно, лучшие из лучших, но все же... Бывает много хуже,— размышляет он.— Взять хотя бы Василия Черного, что замыкает колонну. Из себя неражий, длинный, черный, отчего и прозвище получил, зато поискать человека с таким добрым характером и с такой силушкой, как у него.

Жилы в нем будто из стальных тросиков скручены, троих на канате перетягивает. Не повезло только мужику, изъян у него, и немалый: зайка он, оттого объясняться ему трудно и говорит он мало, а при незнакомых и вовсе рта не открывает. Но не зря замечено: кто меньше болтает да еще стесняется, тот и совесть имеет, на того и положиться можно. А Василий Черный как раз из таких.

В середине колонны Лешка и Ленька. Эти еще и

СПТУ не закончили, практиканты, а поглядишь — ухватистые, грамотные ребята. Технику знают, за словом в карман не лезут и на дело идут без погонялки. Беспокоиться за них тоже нет причины, все у них идет пока как надо.

Один Матюха может подвести. Неустойчивый парень, хотя и вдвое старше любого практиканта. Все ему не по нутру. Зарботки — грошовые, работа — нудная и грязная, трактор — развалюха, товарищи по звену — темнота, тягловые лошадки, которых можно и куском приманить, и кнутом стегануть. И словечки у него сплошь блатные. Вроде и на русском языке разговаривает, вроде и понять можно, а уши режет и на душе становится муторно, когда его послушаешь. А забудет Матюха свою дурь хотя бы на час-другой — на глазах меняется человек. Сам за двоих сделает и других загоняет, только поспевай. Но редко на него такое находит...».

Матюху Василий Михайлович незаметно, но постоянно держит в поле зрения, чтобы не учудил чего. Вот и сейчас трясется и дергается Матюхин трактор вслед за звеньевым по ухабистой дороге, а Василий Михайлович то и дело оглядывается, следит.

А впрочем, и думать-то обо всем этом Василию Михайловичу необязательно, совсем даже не нужно бы думать. Вот уж полгода как оформили на него в райсобесе все документы, а в Сельхозтехнике торжественно проводили на пенсию. Но тогда-то, давно мечтавший о заслуженном отдыхе, он вдруг растрогался и заявил, что всегда готов прийти на помощь, отдохнет недельки две, переделает кое-какие дела по дому да по хозяйству и придет, если позволят, послесарить в мастерские и что пусть товарищи обращаются к нему в любую трудную минуту.

Особенно запомнились ему слова председателя профкома: «Редкий случай,— говорил тот,— чтобы тракторист доработал до пенсии, не уходя с машины, а не добивал срок на каких-нибудь легких работах. Но вот вам пример! Оказывается, и за рычагами трактора можно всю жизнь трудовую отработать, если вести себя дисциплинированно и досконально знать свое дело. Такой опыт надо изучать и распространять».

Опыт его, правда, не изучали, но слова председателя Василий Михайлович вспоминал часто и с гордостью, хотя сам-то знал, что давно уж побаливает пояс-

ница, руки тяжелеют и подрагивают, зрение сдает. Но ведь и годы немалые, пенсионные годы. У кого в такую пору здоровье, как у юноши? Нет таких шестидесятилетних молодцов.

Две недели Василий Михайлович дома не отсидел, на третий день явился в мастерские. Поначалу курил да наблюдал, потом послесарил на ремонте. Но когда прикасался к чужому трактору, поневоле вспоминал свой, привычный, близкий, словно старый товарищ. Менял Василий Михайлович деталь в чужом тракторе, а думал о том, на котором работал, и эту самую деталь в нем видел. И не выдержал, спросил, как бы между прочим, у механика:

— А моего-то старичка кому передали?

— Бездельничает твой старичок,— ответил механик.— Молодые не берут, им подавай только новенькие трактора, а у остальных свои есть, они к ним привыкли. А твой вроде бы уж и разукомплектовывать принялись, раскурочивать. Сам знаешь, что за народ... За каждым не углядишь.

Притулившись к забору, заслоненный другими машинами, трактор Василия Михайловича так и стоял там, где оставил его хозяин в последний день работы. Глянул на него Василий Михайлович, и тяжело стало на душе: одна фара снята целиком, другая — разбита, на двигателе нет свечей... И еще, и еще...

Нашел Василий Михайлович недостающие детали (какие в мастерских взял, какие выпросил у старых друзей) и через каких-то полдня вдохнул жизнь в своего «старичка». И когда делал по двору пробный круг, окончательно решил: поработает на нем сколько получится, чтобы уж вместе в отставку. И трактор, как показалось ему, словно согласился, в ответ урчал дружелюбно.

Начальство возражать не стало: работы трактористам всегда навалом, если машина на ходу. Так и стал Василий Михайлович звеньевым.

...Метель куролесила с утра. Трактористы натерпелись еще в тот час, когда загружались у пригородного торфопредприятия. Снегом так истегало лица, что весь день теперь будут саднить. Воротником казенного ватника не больно-то прикроешься. Не воротник, а узенький суконный ожерелок. Обещали в Сельхозтехнике выдать к холодам какую-то новую, со шлемом-капюшоном робу, но ведь известно, что обещанного иной раз

и три года ждут. А собственные полушубки брать на работу неповадно: грязные лохмотья останутся от них через неделю.

Ползти каравану надо почти двадцать километров в один конец, в глухую деревушку, куда только в декабре, когда дорогу скует морозом, а сугробами еще не перегородит, и можно пробраться. И самосвалы сюда не пошлешь — на полпути изорвут они резину на мерзлых комьях. Одна надежда на тягачи.

Всем в звене понятно, зачем потребовалось возить торф за тридевять земель. Поля нужно насытить органикой в одном отдаленном колхозе. Урожайные были когда-то поля, да поистожились. Вот и нужен им теперь позарез, как хлеб человеку, этот торф, а с ним навоз и минералка. Перемешают все это бульдозерами — получится жирный компост, на котором все растет не хуже, чем на южном черноземе. Ясная и полезная работа, только приятного в ней мало.

Что ни день — сорокакилометровый рейс со скоростью почти что пешеходной. Четыре часа туда, четыре обратно. И хоть бы попутчиков взять в кабину, чтобы повеселее было, так нет же, словно вымерла эта дорога. Единственное развлечение — курить до одури.

Раньше в такие часы Василий Михайлович нередко думал о выполнении плана, о зароботке и премиях, о начальстве да запчастях. Теперь это осталось где-то позади. Начальство с ним больше не советуется, больших задач не ставит. Премии ему не надо, иначе урежут пенсию. Теперь Василию Михайловичу больше думается о детях. Но и дети с ним давно не советуются, сами по себе, отдельно живут, свои у них планы и интересы. И гложет его мысль о том, как сложится жизнь, когда придется окончательно бросить всякую работу.

Конечно, можно будет в огороде копать, превратив его в цветущий сад. Впрочем, в огороде давно уж хозяйничает жена. Ну на рыбалку поездить с соседями да друзьями. Хотя, честно говоря, Василий Михайлович рыбалку не любил. Ему было трудно просидеть на берегу и полчаса, если у него не клевало. Бездельником он себя чувствовал в такие минуты, пустым человеком, не знающим, как убить время, нервничал, сматывал удочки, причем рывками, кое-как, чтобы уж и не братья за них больше никогда, и уходил домой расстроенным.

Помимо мыслей о своем пенсионном будущем, Василия Михайловича в этих рейсах нет-нет да и тревожила одна давнишняя забота: не настоял он, чтобы сменили на его тракторе правую гусеницу, которой давно все сроки вышли. До полного износа гусеница вроде еще не дошла, а все же сменить не мешало...

Практикантам Лешке и Ленке в это время мерещились не столь уж отдаленные дни, когда к весенней посевной выпустят их из училища с правами механизаторов широкого профиля. Возвратятся они в свои деревни, получат новенькие трактора, начнут работать и соревноваться, кто быстрее накопит на «Жигули». Мотоциклы давно у обоих есть, но «мотоцикл теперь не шик, надо легковушку!» По их расчетам получалось, что «Жигулями» они смогут обзавестись года через два-три, если жить поостороже, а работать побольше. А потом и о свадьбе можно думать... Или податься в манящий и совсем близкий город Череповец, где и заработки хорошие, и молодежи полно, и культурные развлечения не то что в деревне. Нынешняя практика для них — необходимый, не очень приятный, но короткий период в жизни, от которого никуда не денешься и который надо просто пережить.

О чем размышляет Василий Черный — тоже в звене известно, хоть и не рассказывал он о своих заботах. Знают, что затеял Василий строить в пригороде собственный дом, а стройка, понятно, требует денег, надо зарабатывать. Поэтому Василий Черный не просто работает, он ломит...

А Матюха ни о чем таком не думает. Он сидит за рычагами трактора и ругается последними словами. Клянет все подряд: и рохлю-звеньевского, и свою специальность, и торф, и неизвестных колхозников, которые видите ли, запустили свою землю, а теперь за них кто-то должен расхлебываться. Нет, отволынит он эту принудилровку и — с приветом. Уедет и ни с кем за руку не попрощается. Есть такие места, где с руками оторвут Матюху, поймут, оценят и платить будут не здешние копейки...

Но сколь ни длинна выпадает дорога, а и ей когда-то приходит конец. В сероватых сумерках перед караваном начинают проступать контуры кучками стоящих деревьев, явно деревенских деревьев: с лесной куртиной, с рощей их не спутаешь и ночью, так уж они посажены, кучкой вокруг каждой избы и рядами вдоль

посадов. Скоро становятся различимыми и дома с овинами и сараями.

Издали деревня напоминает старую, изношенную пилу, у которой недостает половины зубьев. Это оттого, что в деревне уже нет половины домов, а те, что остались, тоже доживают свой век. Старые дома в колхозе пускают на дрова, а что покрепче — перевозится в перспективное село, на центральную колхозную усадьбу.

Но после длинной и унылой дороги любое жилье, пусть даже убогое и чужое, радует и манит, обещая тепло и уют. И трактористы облегченно переводят дух. Однако в звене правило: с грузом в деревне не останавливаться. Надо проехать еще с версту, к самому лесу, и свалить торф на дальней окраине поля. Свалить ближе можно будет много позже, когда прибавится снегу и к дальней кромке поля уже не пробиться будет даже на тракторе.

Матюха ест деревню злыми голодными глазами. Практиканты поглядывают на нее с усмешкой: их родные села куда пригляднее и богаче. Не глядят на деревню только оба Василия: они не раз все это видели.

...Разгрузились нормально. И обратно двинулись тем же порядком. Вот и первое полуразваленное гумно на отшибе. И тут случилось то, о чем тревожился Василий Михайлович.

Рядом с гумном под правой гусеницей его трактора что-то резко взвизгнуло, машина вздрогнула, ее дернуло в сторону, и она едва не развернулась на пятке, угрожая протаранить идущий сзади трактор Матюхи. Но успел-таки Василий Михайлович вырубить сцепление и газ. И как от мороза зазнобило его в эту минуту...

Ругнувшись, он прыгнул на землю, хлопнул в досаде рукавицей о рукавицу. Так и есть, лопнула гусеница! Вот она, как гигантская парализованная змея, вытянулась сзади трактора по следу. Хоть матерись, хоть пинай ее — не поможет.

«Ты еще и на этой подошве походишь. У тебя постоит...» — со злостью вспомнил он слова механика. Вот и постояла! Да еще в самом гиблом месте...

Василий Михайлович обошел вокруг трактора, поглядел под него. Ну конечно! Тут и новенькая гусеница лопнула бы, если наехать, как сейчас вот, на вмерзшее в землю стальное колесо от трактора ХТЗ довоенного выпуска. Ни взад гусенице, ни вперед, только рваться.

«И откуда оно взялось? — недоумевал Василий Михайлович. — Раньше вроде не замечал. Или это оттого, что колеи успело замести и он ехал сейчас ближе к гумну? Наверное, так... А правильнее сказать, невнимательность подвела. Расслабился, пенсионер... Видимо, и впрямь пришла пора... Напрасно и напрашивался... Стыдоба...»

Василий Михайлович поднял конец гусеницы на колесо, ощупал его. Все правильно. Донельзя изношен трак. На двухмиллиметровую прослоечку железа наваливалась вся тяговая сила, вся мощь и масса машины. «Доездили в общем... — горько усмехнулся он. — Приехал... Да не черт тебя и гнал сюда... Но уж, видно, последний раз... Баста!»

— Авария, начальник? — нехорошим голосом то ли спросил, то ли констатировал Матюха, осклабясь и не стесняясь расстегивать штаны по нужде. Василий Черный стрельнул в него горящим взглядом. Практиканты молчали. Им было любопытно, как станет выкручиваться из такого положения звеньевой.

— Трак бы целый найти, — задумчиво проговорил Василий Михайлович.

— Кто его тут припас! — злорадно хохотнул Матюха. Василий Черный тотчас шагнул к нему, схватил за рукав и так дернул, что Матюха едва устоял на ногах, но связываться с Василием не стал, независимо крутанул плечами, отвернулся и принялся насвистывать.

— Да в каждой деревне траки валяются! И ломаные, и целые! Найдем! — горячо заговорили практиканты. Василий Михайлович с сомнением поглядел на них и потер лоб, будто что-то припоминая.

— Ищи по сугробам! — снова не сдержался Матюха.

— И снег разгребем! Недолго! Спросим жителей, в каких местах траки валялись, и разгребем. Деревенские люди все знают, даже помогут. Да и снега еще ерунда, — не отступали от своего практиканты. — Мы сейчас разузнаем.

— Пойдите, — Василий Михайлович удержал ребят, уже порывавшихся бежать в деревню. — Где попало бегать да рыться в снегу бесполезно. А сдается мне, что во-он в том большом доме, — он показал рукой, — проживал когда-то тракторист. Давненько я его, правда, не встречал, но у этого дома искать все же надежнее. В избу зайдите, если там живут... Или к соседям. Должно там чего-нибудь да найтись.

Лешка и Ленька сорвались с места.

— Не починимся — придется мне здесь куковать. Завтра привезете пару траков с пальцами, — сокрушенно проговорил Василий Михайлович, глядя то вслед ребятам, то на гусеницу.

Василий Черный еще больше построжел лицом, что-то решая про себя.

— Я бы тоже тут заночевал, чем в такую пургу ехать обратно, да на мою фатеру, — высказался Матюха.

Оба Василия пропустили его слова мимо ушей. Они снова принялись ощупывать гусеницу, досадливо кричали и ругались.

— С пустыми руками бредут. С-салаги! — сообщил Матюха, первым увидевший практикантов. — Пустое дело. Кранты.

Но ребята на ходу махали руками, словно предупреждали о чем-то важном, и трое возле трактора нетерпеливо стали глядеть в их сторону.

— Говорит, что есть, только помочь ему просит. Съездить куда-то за грузом надо. Говорит, что недалеко, — докладывали запыхавшиеся ребята.

— Придется идти к нему, — вздохнув, сказал Василий Михайлович и распорядился: — Ты, Василий, подежурь возле машин. Мы, чай, не задержимся.

Четверо гуськом заспешили к деревне.

Едва они вступили в заулочек громоздкого пятистенка со множеством пристроек и сараюшек, как яростно взылали собаки.

— Они за железной решеткой, не вырвутся, — успокаивали спутников практиканты. — Мы разведали. А поначалу тоже испугались.

Хозяин дома, высокий, плотный, в засаленной шубной душегрейке и в таком же треухе, встречал гостей на пороге тесового крыльца. Оглядел пришельцев с ног до головы по одному, пожевал губами, но все же кивком головы пригласил в избу. Незваные гости затопали валенками по лесенке, захлопали рукавицами по плечам, заснимали шапки, стряхивая с себя снег. В комнате они сразу зажмурились от яркого света, задышали шумно, привыкая к парному теплу. Но время торопилось.

— Выручай, хозяин... Кажись, виделись мы когда-то, — начал Василий Михайлович.

— Может, и встречались... А вам что за запчасти

надо? У меня ведь не склад, давно без машины...— за- гудел хозяин с непонятной усмешкой и с чувством ка- кого-то торжества перед попавшими в беду и промерз- шими гостями.

— Нам бы всего один трак... Здоровый.

— Гхмы, здоровый,— с напускной серьезностью не сразу отозвался хозяин.— Здоровый на дорогу не вы- брасывают.

— Конечно,— согласился Василий Михайлович, и все помолчали.

Василий Михайлович все вглядывался в лицо хозя- ина в надежде вспомнить и признать его, но не получи- лось. И хозяин изучающе поглядывал на него, угадав, видимо, в нем старшего. Практиканты утирали мокрые лица, а Матюха нагло разглядывал обстановку в доме и цокал языком, поражаясь представшему перед ним богатству.

— Можно поискать,— сказал наконец хозяин.— Ес- ли и вы, конечно, мне подмогнете.

— Что за груз? Далеко ли?— встрял в разговор Матюха.

— Считай, рядом. Километра полтора...

— Согласен, если накормишь,— заявил Матюха.

— Пóнято,— со значением в голосе ответил хозяин, но было еще неясно, согласен он на такой уговор или нет.

— Поезжай,— устало сказал Василий Михайлович.

Хозяин молча натянул на плечи тулуп, прихватил у дверей моток веревки и кивнул Матюхе на дверь.

— И присесть не пригласил, медведь... — начал было Лешка, но тут же и прикрыл рот. Откуда-то из-за печи с шумными зевками вышла в комнату толстая женщи- на, вытирая жирные руки о грязный передник. Не по- здоровавшись, обвела гостей прищуренным недобрым взглядом.

— Попить не найдется, хозяйка?— томясь, спросил Ленька.

— Много тут вас таких шастает, а колодец у черта за пазухой,— отозвалась та простуженным голосом и встала так, словно ей было приказано оборонять до- машнее добро от грабителей. Но, оглядев гостей и не найдя в них для себя никакой угрозы, она разверну- лась и вынесла из-за печи почерневший алюминиевый ковшик. Практиканты сделали из приличия по паре глотков, а Василий Михайлович даже похвалил водич-

ку, но пить с холода не больно и хотелось. Хозяйка заглянула в ковшик и унесла остатки воды обратно.

Где-то за огородами прогромыхал и смолк трактор. «Наверное, за дровами, а их вдвоем не скоро нагрузишь»,— подумали все, дружно вздохнули и приготовились ждать долго.

Хозяйка больше не показывалась. Она, наверное, следила за пришельцами через какую-нибудь щель. Окна из синих сделались черными. Монотонно стучали ходики. Гостям стало жарко. Практиканты откровенно задремали. Остановилось время и для Василия Михайловича, но в нем не утихала тревога о траке, о Матюхе и о Василии Черном, о тракторах и о том, чем же закончится вся эта история. Он ругал себя и в сотый раз давал слово больше на трактор не садиться...

К реальности всех вернул трактор Матюхи, ревящий уже во дворе. Практиканты подняли головы, но решили пока не вставать: команды-то им еще не было. А Василий Михайлович с усилием встал, вышел на крыльцо, и дремоту с него как рукой сняло. То, что он увидел, поразило его: хозяин и Матюха, уцепившись за веревки, волокли по снегу что-то громоздкое, бесформенное, багровое. Оторопело шагнув ближе, Василий Михайлович понял, что это передняя часть туши крупного, уже освежеванного зверя. На санях виднелась и вторая половина. Собаки за решеткой голодно скулили и взлаивали от нетерпения. Василий Михайлович засовестился: по его понятиям не стоять ему надо было, а что-то делать, помогать, что ли.

— С добычей,— неуверенно поздравил он хозяина, когда тот вышел с пустыми веревками.— По лицензии?

— Есть и лицензия. Подмогни-ка, упарились...— ответил тот.

Василий Михайлович помог затащить оставшееся, а пока помогал, определил, что убита была лосиха. Он затосковал. Знал, что лосих запрещено бить и с лицензией на руках. Получалось совсем нехорошо, вроде соучастия. Но что тут скажешь, куда денешься, если трака еще нет?

— Ну, пошли,— по приветливее проговорил хозяин, запирая ворота в поветь.— Подкреплю вас малость на дорогу, чем бог послал. Я пойду помогу хозяйке печенку поджарить, а ты,— обернулся он к Василию Михайловичу,— пошарь под крыльцом. Там вроде валялись какие-то железяки.

Василий Михайлович рылся под крыльцом на ощупь под голодное влаивание собак. Нашел траки и долго выбирал, пока не уверился, что в руках тот, что нужен. Пообил с него примерзший мусор, прислонил на видном месте к стене дома. О хозяине думал с возрастающим неодобрением и проклинал себя.

— Чего мерзнешь, бугор? Причаливай!— позвал его Матюха, высунувшийся из дверей уже без шапки и ватника.— Закусь поспекает — во!— И поднял кверху большой палец.

— А' Василий?

— Дак сходи за ним!— простодушно посоветовал Матюха и скрылся.

Василий Михайлович хлопнул рукавицей о рукавицу и пошел, но от калитки вернулся и прихватил с собой трак. И на ходу он вертел и ощупывал его, все еще беспокоясь и словно забыв про вьюгу.

Василий Черный трусцой перебежал от одного трактора к другому, грелся и то запускал двигателя, то глушил. «Молодец, все понимает»,— благодарно подумал о нем Василий Михайлович и попытался сообразить, сколько времени они тут канителются. Сообразилось плохо. Часов с собой трактористы не брали, часы останавливались и портились от тряски.

— Давай ставить,— сказал он, показывая трак. Василий Черный с готовностью подбежал к нему и тоже тщательно ощупал стылую железяку. Трудились они недолго. В умелых руках деталь послушно встала на положенное место. Стальные пальцы забивали в места сочленения траков кувалдой, на счастье оказавшейся в кабине Василия Черного, а после спешно отогревали одеревеневшие пальцы рук.

— В гости нас зовут, поедем,— сказал Василий Михайлович, повеселев.— Машины ребят пусть тут гудят на малых оборотах. Никто их не тронет. А мы — на своих.

И Василий Черный, не спрашивая, куда надо ехать, полез в кабину своего тягача.

Когда оба Василия вошли в дом, застолье было уже в разгаре. Сизый пар клубился над прокопченным противнем, заваленным увесистыми ломтями печенки, жареной на шкварках. И такой вкусный дух стоял в комнате, что у запоздавших закружились головы и ослабели ноги. Желанной показалась им и початая уже бутылка, торчавшая возле хозяина.

Оба Василия без приглашения заснимали шапки и ватники, заприглаживали встрепанные, прилипшие ко лбам волосы, критически заглядывали на свои багрово-черные, припухшие, в царапинах и ссадинах руки.

А за столом уже разгорался разговор между Матюхой и хозяином. Опоздавшие на минуту прервали их беседу. Хозяин коротко глянул на них и налил им по полстопки. Потом продолжал, слегка наклоняясь бычьей головой к Матюхе, сидевшему напротив.

— Еще с месяц, говоришь, сюда ползать будете? Это хорошо. Хоть повеселее в нашей деревне будет. Может, и еще раз выручим друг друга. Так?

— Само собой. Человек человеку... — охотно соглашался на такую перспективу Матюха, но сворачивал на свою тему, обезоруживающе улыбаясь всем лицом.— Но ты мне все же объясни, почему с трактора-то деру дал?

— Здоровья своего стало жалко.

— Х-ха! Да у тебя его на всю нашу кодлу!— хохотнул Матюха.

Даже неполные стопки ударили гостям в головы после такого дня. Все торопливо закусывали, не стесняясь подцеплять куски побольше и не обращая внимания на раздраженные взгляды хозяйки, которыми она провожала каждый кусок. Матюха уже размахивал руками; разговорился и хозяин, довольный, видимо, удачной поездкой в лес.

— Вы вот в городе живете. Магазины там у вас и всякие базы. А тут? Ни гвоздя, ни дробы не купить. Сахар, соль, водка — за семь километров, да и то не всегда возьмешь. То лавка на замке, то полки пустые. Так что вы уж уважьте мои просьбы иной раз, как и я вас сегодня выручил. Как говорится, ты мне, я тебе. Я дам списочек... Без дела меня только не тревожьте, а то есть такие, что повадятся, и отбою нет.

— Все можно организовать,— уверял Матюха, но гнул намеченную линию.— Только ты нам насчет порчи здоровья разъясни. Может, и нам это пригодится.

— Ладно. Приведу один примерчик. Подвозил я как-то доктора. Вот он и растолковал мне весь вред профессии тракториста. Точно назвал, к скольки годам схватит меня радикулит, поясницу отнимет и скрючит кочергой, значит; к скольки годам я должен оглохнуть, как чурка; к скольки получу мандраже рук и опущение желудка, которое уж никто не вылечит. Как не по-

верить ученому человеку? Вот я и того... Нужны тебе такие подарочки — держись за свой дизель, а с меня хватит.

— Да и мне он, как... попу гармонь. Только постой! А как же на хлеб, на поддержку штанов зарабатывать? Худ ли, хорош ли трактор, а он кормит!

— Зарабатывай! Работы теперь везде и всякой навалом. Особенно механизатору. А я вот и без трактора себя кормлю, да еще гостей, вроде вас.

— Ты лосятину даром жрешь, а мы твое занюханное Нечерноземье должны подымать, так?— с усмешкой съязвил Матюха.

— Вы городские?

— Ну!

— Вот и подымайте. Заезжал тут к нам один лектор из общества «Знание». Так он говорил, что наша земля много поработала и вроде как выдохлась, устала, сама оказалась в нужде по уши, до того ее замордовали. Вся страна, мол, перед ней в долгу. А в первую очередь городские жители. Вот и я заодно поустал. И пусть мне долги платят. Такие, как вы, и должны. И правильно делает начальство, что гоняет вас сюда в любую погоду.

— Да-ешь!— протянул Матюха.— Мне бы так окопаться.

— А кто мешает?

Остальные ели молча, поглядывая на ходики на стене, которые уже показывали семь вечера.

— Мошну сначала надо занять, чтобы так... Верно?— допытывался Матюха.

— Заимей.

— Да как? Заработок — гроши несчастные, да и карман с дырой во весь исполнительный лист. Воровать, что ли, посоветуешь, дак за это дело сейчас...

— Сколько ты сегодня заработал?

— Хрен его знает, не лишку...

— Ну, торфу-то сколько привез?

— Не вешали. Да и выдуло дорогой половину.

— А снегу в него надуло?

— Больше того. Под завязку.

— Вот и пиши, что привез больше того. И начальству твоему будет приятно от твоей высокой выработки, и тебе, да еще премию получишь. Доходит?

— Х-хе! А и в самом деле! Кто учтет в снегу? Ва-

сильий Михайлович, дорогой! Да мы... — потянулся Ле-ха к звеньевому.

— Ну, спасибо тебе за все, хозяин,—крякнув, заговорил Василий Михайлович, словно и не слышал Матюху, и поднялся.—Пора нам. И так совсем запозднились.

— Чайку бы сладенького, горяченького!—воскликнул Матюха, чтобы задержаться за столом.

— Пошли, ребята,—тихо, но твердо сказал Василий Михайлович.—Дай-то бог до дому добраться без приключений.

— А я не поеду! Я остаюсь!—вскинулся вдруг Матюха.—Никто не имеет никакого права заставлять меня ишачить по двенадцать часов в снегу. Да еще без сверхурочных. Нет таких прав! Мой рабочий день закончился.

Хозяин тоже крякнул на манер Василия Михайловича, поглядел на Матюху еще насмешливее, но было заметно, что он и обдумывал про себя что-то. Матюха с трактором наверняка мог пригодиться ему и завтра.

— Ты серьезно?—спросил Василий Михайлович Матюху тем же тихим спокойным голосом.

— Нет, в шутку!—продолжал выламываться Матюха.—Катитесь своей дорожкой, а я сегодня—по своей.

— Ну, валяй. Поглядим, долго ли ты тут наживешь,—проговорил Василий Михайлович уже с порога.—А за трактор ответишь головой. И за горячее.

Четверо вышли из тепла и сразу прикрыли лица руками. На улице все было по-прежнему. Подвывала метель, лаяли собаки, негромко урчали тракторы.

— Есть на свете-е хар-рошие люди-и!—дурашливо проорал кто-то из практикантов.

— К машинам своим марш!—сердито прикрикнул Василий Михайлович.—Если что—сигнальте фарами. Будем ждать вас на дороге.

Практиканты, увязая в сугробах, по целине заспешили к гумну. Василий Михайлович залез в кабину, включил скорость и первым двинулся от пятистенка. На Матюху надежда была плохая, раз попало ему в ноздрю и спелся он с хозяином. Но Василий Михайлович не расстраивался, полагая, что если и не все кончится нормально, то винить его особенно не будут. Матюха все же не ребенок, сам за себя должен отвечать. Дого-

нит он их сейчас — ладно, и вспоминать особо будет нечего. Останется — ну и леший с ним, пусть сам и расхлебывается.

Подъехали практиканты. Все у них было в порядке, и Василий Михайлович уже готовился просигналить рукой команду на обратный путь, когда, оглянувшись последний раз, разглядел, что от пятистенка, разбрасывая лучи фар, отвалил и Матюхин трактор. Звеньевой сбавил обороты и начал зорко следить за Матюхой. Тот гнал на всю железку и, резко затормозив около звеньевого, кошкой выпрыгнул на снег.

— Братцы! — взревел он со слезой в голосе. — Поехали ему морду бить! Неужели своего не выручите, опозорить дадите?! Да мы его сейчас!

— Ты чего?! Сдурел?! — закричал, подходя к нему Василий Михайлович, хотя подспудно чувствовал, что ничего серьезного там не произошло. Матюха, ругаясь, путано объяснял:

— Я ему, куркулью поганому, толкую: раз я остаюсь — выставляй вторую, да и мало одной на всех за такое дело. А он, гад: «И есть, да не дам, хватит». И нагло мне в лицо издевается! Ну как тут не психануть! Сообщу, говорю, про твои охотничьи штучки куда следует. А он хватъ меня за плечо — и на улицу, в снег. Фуфайку, шапку мне выбросил и орет, что такому, мол, придурку и блатняге, как я, никакая инспекция не поверит, а если я не уберусь с евоного заулка сию минуту, он псов своих спустит. Во сволочь! Разве имеет он такие права? Не смог я с ним один на один совладать, с бугаем откормленным. А вместе-то... И разве я блатняга? Я же честно работаю! Как все! А он?! Пошли, братцы, а?

— Полегче, полегче на поворотах! Сам напросился! Драки нам только и не хватало. Вперед умнее будешь, — не сразу находя нужные слова и доводы, все же поумерил его пыл Василий Михайлович. И спросил: — А в инспекцию-то о чем хотел сообщать?

— Да он же браконьер! Причем злостный! Хищный грабитель природы! На повети у него штук пять шкур лосиных развешано. Сырых, свежих! Сам видел. Я ему толкую: убери хоть с глаз. А он: а кто их тут увидит, ты, что ли? И в лицо издевается, шкура!

— Вот кулак! Вот куркуль! — заговорили взволнованные событием практиканты.

— Хочешь сообщать — сообщай. А теперь — поехали! А то сами будете шуметь, что сверхурочные, — распорядился Василий Михайлович.

Василий Черный давно уже был возле своего трактора. Пошли и практиканты. Попинав трактор валенком, начал вскарабкиваться на подножку и Матюха. Колонна выстроилась в заведенном порядке и уползла из деревни в черную выжнюю ночь.

«Я не я буду, если его завтра же егерям не заложу. Штрафанут гада как следует, а может, и под суд... За колючую проволоку ему вся статья, там не побраконьеришь. Ишь, здоровье свое сберегает, а невинных государственных зверей бьет против закона, природу уничтожает, — беспорядочно пролетали злые мысли в голове Матюхи. — Я ему все кулачье подворье бульдозерным ножом разворочу, от всех евонных кобелей и сук мокрое место оставляю. Да я его... Мерзнешь тут на дармовой работе день и ночь, а он?.. И почему подлецы умеют так ловко устраиваться? Ему можно в любой день и с ружьишком прогуляться в свое удовольствие, и на печи полежать возле своей жирной бабы, и жареной требухи от пуза нажраться, и выпить, когда захочется. А мне? Одна трепотня нервов. Чем я поужинаю сегодня среди ночи в своей общаге? Черствой черняшкой с кипятком? Да и то с холодным? Не-ет, надо его заложить, и это будет справедливо. Пойду к властям. Хотя и властито... Что я такого совершил? Ну, взял на складе горсть подшипников, ну, загнал тому, кому они нужны позарез, а у нас без дела лежали. Это было, я и не скрывал. А мне уже и статью шьют, и на поруки, и принудилровка... Работай теперь задаром. Нет, к властям я не ходок. Я лучше трактором по евонным сараюшкам, по всему евонному шанхаю! По псам, по свиньям!.. Причем обязательно ночью, чтобы в одних подштанниках от своей бабы выскочил на мороз, чтобы и разглядеть не сумел, кто его пазгает... Будет тогда помнить! Я не я, если... У-у, мордovorот, чувырло! Тут из последних сил честно трудишься для него же, а он? Не-ет... Меня вот в коллективе поносят, а того не ведают, что есть и похуже меня. Да больше половины хуже! Плох я, хорошли, а уж не такой гад, как этот, и никогда таким не буду. Я еще всем покажу, кто я такой. Работать умею вроде не хуже любого. Аварий у меня не было и не будет... Еще все увидят... А этого — заложу. Я не я буду...»

Практикантов происшедшее веселило, но склоняло и к размышлениям. Посмеяться, хотя бы и за глаза, над Матюхой было приятно. Заносился он перед ними, обижал, а вот и сам сел в лужу, гусь ошипанный... А звеньевого практиканты жалели. Душевный он, по их мнению, человек, переживает теперь за все, хотя и не виноват. А может, и виноват малость. Практиканты подробно обсудили этот вопрос, когда бегали туда-сюда в поисках трака. За машиной, тем более за гусеницами, все же надо следить. Даже пенсионеру надо...

Хотелось им и о браконьере, у которого к тому же такие странные понятия о профессии механизатора, сообщить куда надо. Только куда? Вот если бы в своей деревне был такой, тогда бы... А тут? Да и не видели они своими глазами никаких шкур. И уедут отсюда скоро... И практиканты погрузились в полудремоту, привычно прислушиваясь к гудению двигателей и механически трогая рычаги.

Ребятам еще долго виделся просторный и теплый дом мужика, набитый добром, и вкусная еда. И было немножко завидно. Думалось, что накопил этот куркуль, причем обязательно нечестным путем, денег не на одни «Жигули». И еще обидно было, что обошел он их за столом, не налил ни по полстопки. За маленьких принял, что ли? Нет, просто жмот он, видимо, и сквалыга. Ржавую железяку, самому не нужную, даром не отдал! Причем своему же брату-механизатору. Убивать таких надо!

Не-ет. Они куркулями не будут. Любого при случае выручат, себя не пожалеют. Это ж самим после приятно будет. По-человечески это будет... Ну, дом или квартиру, в общем жилье приличное иметь надо. И они будут иметь. Сами заработают. Ковры будут, магнитофоны и цветные телевизоры, как у всех, кто умеет хорошо работать. И «Жигуленки» будут. И жены будут молодые, красивые, одетые по последней моде, а главное — умные и добрые, не как у того куркуля. А о нем даже и вспоминать неприятно, тем более связываться...

Василий Черный хотя и не произнес в избе — да и после — ни слова, тоже размышлял о происшедшем. Он со щемящим чувством думал о тезке — звеньевом, переживая его временное унижение перед хозяином пятистенка, и радовался, что из аварии они все же вывернулись удачно. И все потому, что есть у Василия Михайловича и ум, и душа, и терпение. Работать с таким

мужиком приятно. Уж сколько лет с ним вместе, а не надоели один другому. Да и никому другому за многие годы не испортил Василий Михайлович дела, не подвел. А этот... бывший тракторист за один час всем наплевал в душу, хоть и угощал.

Давно уж решил Василий Черный не встречать ни в какие чужие дела, не думать ни о чем постороннем, а только работать и строить свой дом. А сейчас он чувствовал, что все его мысли были заняты именно посторонним. И завтра вряд ли избавишься от них. Надо с Василием Михайловичем обо всем посоветоваться. Василий Михайлович понимает его почти без слов. И они все решат вместе...

«Ну и денек!—устало размышлял сам Василий Михайлович, хотя размышлять ему было неприятно и не хотелось.—Авария! И не упомнить, когда со мной такое случалось. Да и не случалось ни разу ничего серьезного. Но теперь-то уж заменяю я гусеницы. Завтра же замену. Обе!»

Василий Михайлович уже забыл, что совсем недавно давал себе слово, даже клялся завтра же бросить трактор и работу. «А тот бывший — хорош сквалыга!—текли его мысли уже без прежних угрызений совести.—Зажирел и обнаглел. Надо же так потерять совесть! Но дойдет гиря до полу. Напорется на кого-нибудь. Можно и подсказать... Только... Он все же выручил. Это сбрасывать со счетов нельзя. Леший с ним, пожалуй. Кто на свете без греха? Да он и сам обязательно нарвется. Ладно...

Ладно-то ладно, а на душе нехорошо. Все звено ждет, как я теперь поступлю, от своих не отвертисься, надо что-то делать...

И что за штучки зловердные подсовывает иной раз эта самая жизнь! Изо всех сил стараешься быть честным, а глядишь — влип в грязь. Отчего это? Оттого, что бессовестные еще рядом живут? Пожалуй. Они-то и не дают дышать свободно... Нет, расскажу про него всем мужикам, чтобы знали. Пусть имеют в виду...

А может, со звеном посоветоваться? Поговорю-ка завтра. Утро вечера мудренее. Может, и получше что на ум придет...»

И Василий Михайлович тоже погрузился в полудрему, довольный тем, что хоть и с опозданием, но приведет звено в полном составе домой. И завтра снова можно будет в рейс...

И звено продолжало возить торф мимо знакомого пятистенка, и всем было некогда, да и не очень хотелось, доложить куда надо о браконьере. И так продолжалось долго, пока и вовсе не позабылся тот случай, потому что все шло в звене вроде бы ладно.

ДЯДЯ КАША

Он подолгу, по два, по три часа подряд, сидит и дремлет на старой, как он сам, скамеечке у незамысловатого крыльца его громоздкого пятистенка, окруженного старыми деревьями. Дом как бы выплывает подобно могучему кораблю из кипящих, вздымающихся зеленых волн.

С фасада и с той боковой стены, которая мне видна, дом выглядит прочным и почти новым, постоянно чувствующим хозяйскую руку. Куда до него моей хатенке, у которой и дыры на крыше кое-как залатаны обрывками рубероида, и пазы замазаны глиной, и скрипучая со щелями дверь в сени, и крыльца даже нет, а просто так, подгнившая приступочка.

Я только что поселился в этой деревне с целью написать очерк или рассказ о сельской жизни, и старик мне интересен. К тому же дом его — ближайшее ко мне жилье: перейди только улицу наискосок. Но пока я лишь разглядываю своего соседа и стараюсь подметить в нем что-нибудь характерное, особенное.

В общем-то старик как старик. На большой круглой седой голове его дыбится фуражка из выгоревшей зеленой диагонали с высоким околышем и длинным козырьком. Такие фуражки лет двадцать тому назад носили в этих краях почти все председатели колхозов, и, видимо, кто-то из них после перемены моды подарил свою фуражку неприязнательному старику. А может, и сам он... И я начинаю строить догадки.

Правого глаза у старика нет, а левый почти всегда смежен. В руках у него постоянно простенькая палка, к верхнему концу которой прибита перекладинка-ручка. Видно, что палка хорошо отшлифована, и больше всего руками хозяина. Эти грубые, в трещинах и морщинах руки вытянуты вперед и покоятся на перекладинке-ручке.

Приземистый, широкий в кости старик похож на старый обшарпанный комод, вынесенный за ненадобно-

стью на улицу. Его почему-то не тревожат мухи, пчелы и прочая насекомая мелочь, в изобилии населяющая знойный и плотный возле земли воздух и густую травяную поросль. К нему не подбегают собаки. Невольно думается, что он здесь давным-давно, так давно, что его уже перестали замечать.

Перед стариком чистая лужайка, заросшая низенькой, словно подстриженной, лапчатой травкой, по которой бродят куры, оберегаемые бдительным и, как мне кажется, чванливым петухом, да изредка протрусит, сам не зная, зачем и куда и оттого недоуменно останавливаясь, одуревший от жары пес, которому и лаять-то уже неохота и который привычно носит на своих боках десятки головок репейника, намертво впившихся в шерсть. Неужели и старик так же ко всему равнодушен?

За лужайкой тоже, видно, когда-то стоял дом, но теперь на месте, которое он занимал, высятся лопухи, злодействует репей, толпится хмурая, всегда готовая постоять за себя крапива; с глинистых бугорков — явных остатков бывшей печи — во все стороны вытягивает свои веточки-щупальца скромница с виду, но очень настырная по характеру пастушья сумка; и в тесном соседстве с ними как-то уживаются кусты малины, стебли которой согнулись под тяжестью созревающих ягод, и поднятые торчком, ало раскрашенные пики кипрея. Сомкнутые ряды кипрея представляются мне этой княжеской дружиной, оберегающей красну девицу малину. И еще приходят сравнения...

Да и чего только нет на этом пустыре-пяточке! Конский щавель и пустырник, молочай и лебеда, пырей и овсюг, мать-и-мачеха... И неведомое число других трав и травок, названия которых мне неизвестны. А окружают все это золотые солнца одуванчика.

И когда глядишь в глубь этих зарослей — поражаешься, как все тут, на месте бывшего человеческого жилья и хозяйства, мощно, порывисто тянется вверх, отодвигая и отталкивая соседей, или расплзается в стороны по самой земле, тесня, заглушая и умерщвляя все, что встретится на пути.

Старику, наверное, давно пригляделась эта картина, а у меня она вызывает не только праздный интерес. Разглядывая ее вновь и вновь, я почему-то начинаю грустить.

Чуть дальше, где когда-то был разбит огород, та же печать запустения. Но тут — сплошные лопухи с мощными стеблями высотой под стать взрослому человеку. И удивляют, радуют, заставляют сжиматься сердце только несколько жердей. Жерди эти как взметнулись когда-то с помощью человеческих рук на двухсаженную высоту, так и стоят неколебимо, и по ним все так же густо ползет, извиваясь и курчавясь, зеленоватая путаница хмеля с листьями, очень похожими на виноградные, и с бесчисленными кудлатыми головками цветков. Жив хмельник! Не вдруг дурнотравье изгоняет с лица земли все то, что сажали и лелеяли жившие тут люди.

Мне видно, что чертополох не раз пытался подойти вплотную и к огороду старика, чтобы заполнить и его. Но здесь хищный сорняк побит и посечен. По всему видно, что тут не раз проходились по нему косой, а то и топором. Кое-где он лишь обезглавлен, отчего настырная крапива исподволь и упорно копит силы, двигая вверх и вширь молодой подрост. В других же местах человек одержал почти полную и окончательную победу: палки лопухов срезаны заподлицо с землей, и из черноты почвы глядят только рыжие пятаки корневищ, истекающие белым ядом.

Сквозь частокол и раскидистые ветви рябин и черемух в огороде старика легко разглядеть пышные, как перины, гряды из кофейного торфа, с которых свешиваются веревки колючей огуречной ботвы, все в желтых звездочках цветов: раскинула лапчатые листья капуста, тая в себе зарождающиеся клубки кочанов; взметнулись перепутанные, как кудри удалого молодца, стебли сахарного столового гороха... И видя все это, со щемящей сладкой грустью вспоминаешь милое детство, когда мать держала тебя на коленях, зорко поглядывая вдоль грядок, чтобы вовремя отпугнуть охочих до свежих ростков грачей, и загадывала: «Ну-ка, сообщай, что это будет? Косо-лукаво, куда побежало? А косо-лукаво отвечает: зелено-кудряво, тебя стерегу!» И надо было догадываться, что косо-лукаво — это изгородь из согнутых и просунутых меж жердей частоколин, а зелено-кудряво — все, что растет в огороде, и в первую очередь, конечно, горох.

И здесь, у старика, все было зелено и кудряво, все — плод благодатного союза солнца, влаги, земли и человеческих рук. Во всем ощущалось торжество природы и жизни.

Но особенно впечатляющ этот нескончаемый апофеоз жизни возле пчелиных домиков, выстроившихся вдоль изгороди челом к восходящему солнцу. В жару пчелы роятся, подчиняясь неумолимым инстинктам. Пчеловоды в такую пору бодрствуют и бдят. Но мой старик уже не спешит с мешком и веником сгрести отроек* и водворить его в заранее подготовленное жилье. Нет у него, видно, свободных или запасных домиков, мало, наверное, сил и желаний, а остались только грусть и понимание неизбежности близкого конца. Старик даже не глядит в сторону своей пасеки. И молодые, неопытные, но полные энергии и жажды самостоятельной жизни отройки — я это вижу уже во второй раз, — пометавшись между шарообразными влажными кустами смородины и крыжовника, один за другим цепляются за частокол, кроны рябин и, как бы прощаясь с родным местом, медлят, но вдруг резко снимаются и улетают в сторону синееющего недалеко леса, чтобы броситься там ко всем уладам и заботам вольного бытия, а в итоге выжить лишь малой частью или погибнуть целиком. И грустно провожать их в неизвестность.

Недвижен старик. Прикрыт его глаз и не вздрагивают руки. И непонятно, спит ли он крепко, грезит ли наяву, думает ли отчетливо и ясно. А может, он давно уже устал от дум, исчерпал мыслительные силы, давно лишился прелести грез и пришла ему пора отдыхать, многое забыть и скоро забыться навсегда...

Но я не хочу верить в это. Мне даже начинает думаться, что старик хитрит, что он просто ждет, когда я выйду на улицу, чтобы разглядеть меня и оценить, а потом и попросить в чем-нибудь ему помочь, похлопотать о каких-либо его делах в городе... Я ловлю себя на том, что начинаю думать о незнакомом мне человеке плохо, во всяком случае, неблагоприятно, и мне становится стыдно. Я опять пытаюсь разгадать, что же это за человек, но в голову мне лезет или что-нибудь из ряда вон выходящее, или до обыденности простое. И я вздыхаю, признаваясь себе в том, сколь ограничены мой дар воображения и жизненный опыт и скудно знание судеб людских. И я откладываю свой тонкий фломастер, которым пишется так легко, быстро и красиво, когда все ясно.

От одиночества ли, которого я так жаждал, но которое столь быстро поднадоело, или от желания провести

* Молодой рой пчел.

отпуск активно, но меня все сильнее подмывает познакомиться со стариком поближе, даже сойтись, может быть, по-соседски, помочь ему хоть в том же огороде. Но у меня нет еще подходящего повода, нужных слов, и к тому же я откровенно боюсь пчел, которые не жалуют всяких новоявленных лиц и обязательно идут в атаку на тех, от кого попахивает винцом и одеколоном. А я, только что вышедший в отпуск, как раз грешен... Я еще весь пахну городом, и деревенская жизнь еще долго, наверное, не выветрит насквозь пропитавшие меня «ароматы». И я продолжаю разглядывать из окна открывающийся передо мной пейзаж.

Дом старика и прежде, по всему видно, был крайним на солнечном деревенском порядке, а теперь и вовсе оказался на отшибе, бобыль бобылем. За ним то, что раньше называлось околицей, а сейчас это просто неровный луг, поросший редкими куртинками брядника и невесть откуда взявшимися осинками, которые здоровый хозяйственный мужик мог бы смахнуть литовкой, как траву, и начисто вывести за одно лето. Но здоровым мужикам, видимо, нет дела до этой луговины. А может, и не осталось в деревне хозяйственных мужиков. И властвуют здесь запустенье и тишина.

Раз за разом вслушиваюсь я в нее, надеясь уловить хоть какой-нибудь звук. Должны же ходить тут люди, скотина на худой конец! Но — нет. Только птицы изредка шебуршатся в кустах, да однажды пробежал с какой-то добычей в зубах здоровенный рыжий кот.

Но я все же дождался. Звук был ровный, ритмичный — знакомый рокоток добротного отлаженного двигателя легкового автомобиля; и я сразу обратил внимание, как резко встрепенулся старик, вскинул голову и насторожился. Лицо его исказилось гримасой недовольства.

Вдруг он вскочил и, в один момент обогнув угол своего дома, резво зашагал в сторону луговины. Толстые ноги его, обутые в разношенные валенки с резиновыми клееными калошами, несли его тяжелое тело удивительно легко. Палка мелькала и посверкивала на солнце. Голова старика подалась вперед и единственный зрячий глаз напряженно шарил по кустам. При всей торопливости старик ни разу не споткнулся о многочисленные кочки и комья засохшей грязи, ни разу не взглянул под ноги. И впервые услышал я его голос, высокий, громкий и резковатый.

— Эй! Эй-ей! Так-перетак! Куды вас прет на своем гочиле?! Это мои сотки, мне тут на корову косить, а вам только бы загадить да вытоптать?! Эй-эй-ей!

Гуталинно блестящая «Волга», будто споткнувшись, кивнула красивым тупым передком, присела и замерла посреди луга.

— Назад! Назад, мать вашу!..— Палка старика уперлась в радиатор машины, а сам он расставил ноги, покрепче упираясь в землю, и принял самую решительную позу, будто собирался бороться всерьез.

Из машины вылез здоровенный, полный веселого удивления бородач в расстегнутой до пояса рубашке.

— Ну а где же нам ехать? Дороги тут у вас — сами знаете,— весело обратился он к старику, разводя руками и откровенно разглядывая его, как местную диковину.

— А вам сюда и нешто!

— Как незачем? Нам очень даже надо. Избу мы купили в вашей деревне. И вот, оказывается, такие у вас порядки и пути сообщения, что к своему дому не пробраться.

— А вы кто такие?— старик, кажется, начал смягчаться.

— Художники. Из областного центра и столицы.

— Слыхал, слыхал,— подтвердил старик и, помедлив, добавил уже почти совсем согласно:— К своему дому и верно что попадать надо.

— А вы запрещаете.

— Я не запрещаю. Поезжайте, где хотите, только не по моим соткам.

— А как иначе-то проехать?

— А во-он там, по-за рощей. Пошли, покажу.

— В таком случае садитесь к нам.

— Да я уж так, скорее будет. А то завезете...

— Просим! Пожалуйста! Куда ж мы вас завезем? Вы ж не красная девица...

Старик сунул палку под мышку, с трудом протиснулся в машину, чья-то рука изнутри захлопнула за ним дверцу, и «Волга», заметно осев на бок, медленно попятилась, но, словно бахвалясь своей городской красотой, картинно развернулась, нырнула за кусты в низинку и пропала. Мне оставалось только ждать, чем завершится это маленькое происшествие. Захотелось познакомиться и с художниками. С некоторыми из них я дружил в городе, и вдруг приезжие знают тех, моих дру-

зей? Тогда бы нашлись общие темы для разговора. Но я тут же запретил себе думать об этом. Надо было проводить отпуск так, как давно было обдуманно и решено.

Старик возвратился примерно через час, поглядел на небо, покачал в раздумье головой, о чем-то поговорил сам с собой вслух, плюнул и снова утвердился на скамеечке. Но теперь он не дремал, а разводил руками, сдвигал фуражку то на глаза, то на затылок, словно мысленно рассуждал и спорил с кем-то; и еще было похоже, что ему очень хочется разглядеть что-то на улице, за своим огородом, а то и во дворе моей избы. Я решил, что медлить больше не стоит.

— Здравствуй! Здравствуй! Здравствуй!— неожиданно радушной скороговоркой встретил он меня, когда я находился еще на середине пути к нему и еще только готовился представиться в качестве кратковременного соседа. Я немножко растерялся, а он продолжал без всякого перерыва, лишь изредка переводя дух.— Знаю, знаю, знаю, хороший человек рядом со мной поселился. Хороший, хороший, хороший. И зря меня стесняешься, только в окно глядишь. Но раз стесняешься, значит, хороший человек, хороший, хороший. Третий день живешь, а ни шуму у тебя, ни новоселья, ни пьянки, ни драки. Выученный, вышколенный ты человек, хороший, хороший. У нас таких нету. Хорошо с тобой рядом будет жить, хорошо, хорошо.

Слова из него сыпались горохом. Меня слегка покорибила эта цыганская манера беззастенчиво хвалить в глаза человека, которого видишь впервые. Но скоро я начисто забыл об этом. Я понял, что разговаривать со стариком неожиданно легко, что все мое беспокойство напрасно, и проникся к нему симпатией. Мне давно приелась показная городская вежливость, а на деле полное равнодушие друг к другу, а деревенское уединение пока не одарило еще меня ожидаемыми радостями. И мне подумалось, что искреннее радушие старика, тоже, наверное, страдающего от одиночества, скрасит мое существование, что этот словоохотливый сосед может порассказать немало такого, что мне потом пригодится для очерка или рассказа. Я даже слегка упрекнул себя за то, что, оказывается, подхожу к старику не без практического расчета, и спросил:

— Как вас звать-величать?

— Так-то все зовут дядей Шурой, а внучок — дядя

Каша, это заместо дяди Саши. Не все еще, вишь, бужковки выговаривает парнишонок. А ты зови, как хошь. Лет мне восемьдесят два, а может и побольше. Долго живу, долго, долго...

Выпалил он все это бойко, молодежато, словно командиру армейскому представлялся, и мне даже почудилось, что он хотел вытянуться передо мной по стойке смирно и руки вытянуть по швам. Во всяком случае, руки его были опущены и прижаты к бокам, голова бодро вскинута. Единственный глаз его задорно сверлил меня, весь он как-то подобрался, помолодел, а на лице легко угадывалось желание услужить мне.

«Не придуривается ли старый хитрован, чтобы разыграть комедию, подловить меня на искренности и городской наивности?»— подумалось мне, и я смешался, не зная, как продолжить беседу. Но что-то промелькнуло, переменилось в его лице, какие-то морщинки дернулись у губ и возле живого глаза, он словно бы пытался и не мог подмигнуть мне, и у меня родилась догадка, что старик просто играет, причем играет и для собственного развлечения, и чтобы позабавить или озадачить меня, что знает он в этой игре меру и границы, поднаторел в ней и хорошо различает, кто перед ним. Вот ведь сколько можно прочесть на умном лице, даже если оно все в отметилах старости и задубело. И я решил поддаться, пошел будто бы напропалую и, все же внутренне беспокоясь, правильно ли поступаю, спросил его, явно подстраиваясь под его вроде бы простецкую манеру:

— Вижу, что и вы хороший человек, хоть и с одним глазом. Слышал я, конечно, что люди с одним глазом лучше видят и дольше живут, только ведь легче кошелька лишиться, чем глаза. Как это вас угораздило? Давно ли?

— В одна тыща девятьсот шестнадцатом году!— Старик опять сделал что-то вроде попытки вытянуться по стойке смирно, но оставался при этом сидеть, и мне подумалось, что я хоть и не переборщил в разговоре, но в дальнейшем нужно быть поделикатнее с ним.

— В первую мировую империалистическую,— продолжал докладывать он.— Германец глаз выстрелил, туды его и рассюды. Только я и с одним глазом после излечения на позиции просился, такая была у нас выучка... И дельно ты говоришь. Цыганки нагадывали мне

только семьдесят годиков прожить, а я вон сколько! Дельно, дельно, дельно. Молодец, не зря учился.

— Кому вы дорогу недавно показывали?

— Художники на машине, дед со внуком. Дед-то академик, когда я спросил, что за люди. Хороший, видно, человек, хороший, хороший, заслуженный. И внучок ничего. Бревна бы ему ворочать да плотничать, а он, поди-ко, последних девок наших будет сомущать. Я так ему и высказал, а он смеется и говорит: не буду, мол, и в городе хватает. А я со всеми хорошо живу, со всеми, со всеми. Зять вот только, мать его так! Да, да, да. Заходи вечерком по холодку, бражкой на меду угощу. И сладка, и крепка, и для здоровья лучше не надо. Все не нахвалятся.

— Да я так-то не пью... И работу с собой привез...— неуверенно отказался я, хотя давно был наслышан о здешней медовухе, а попробовать ни разу еще не довелось.

— Вот и ладно, ладно, добро. Я и сам это за тобой заметил. Так, так, так,— вслух размышлял, веря и не веря мне, дядя Каша.— А ты кем будешь? Не по судебной части?

— Что вы!— рассмеялся я.— В газете работаю. Сейчас в отпуске. Хорошо знаком с хозяином этого дома.— Я кивнул головой на свою избушку.— Сам-то он в областном городе, знаете, наверное. Он и уговорил меня в этих местах пожить-отдохнуть.

— Знаю, знаю, знаю. Хороший парень, хороший, хороший. Ума только у него нету. Избу свою не бережет и не продает, и не чинит. Пустая, видно, наполовину голова-то. И сюда больно редко показывается. Будто уж в городе дел у него столько, что город без него пропадет. Ты вот и не отсюда родом, а приехал, и живешь один, и тебе тут любо.

— Вы тоже, я гляжу, один живете?— стараясь переменить тему разговора, спросил я.

— Один, один. К дочке езжу гоститься в ваш город. Хорошо они там живут, хорошо, хорошо. И зятя не хаю, завсегда угостит. И ты не стесняйся, захаживай ко мне по-соседски. В эдаком городе да в газете, значит, хороший ты человек, хороший, хороший. Тут и сомневаться нечего. И вижу, что до вина не больно охоч. Добро, добро, добро. Конечно, если бы ты по судебной части, тут я бы порассказал кое о чем. Много об этом знаю, много, много. Ко мне ведь в старые-то годы все

прокуроры ездили. Нельзя им в городе-то, у всех на виду, отдохнуть по-человечески, а ведь и они люди. Помотаются днем-то, помучаются с преступным элементом, а вечером ко мне на всю ночь. Закусывают, разговаривают душевно, песни играют, ровно парни деревенские, озорничают. Хорошие люди, хорошие, хорошие. Без особой ко мне были строгости. Отдыхают они, а лошадки ихние у меня на конюшне сенцо жуют. Тогда еще не каждому начальнику по машине с шофером давали. Сами прокуроры лошадками правили, без кучеров, запрягать и распрягать умели. А теперь-то и я сыну «Запорожца» купил.

— Как же вы с прокурорами подружились?— не вдруг нашелся я с вопросом, ошеломленный потоком столь разнообразной информации.

— А я с краешку жил и никому ни слова. Все было тихо, тихо, тихо. Все им обеспечу, а сам стою у порога и честь отдаю по-военному. Они это любили. То похочут, то и командовать начнут. А я все исполняю. И денег с них за постой, за закуску не спрашивал. С прокурорами-то в дружбе спокойней жить. Мало ли что могло приключиться в те сурьезные годы, мало ли? Не всех ведь миновало лихо, а я жив и цел, и хозяйство свое сохранил. Да ведь ко мне и другие начальники заглядывали. Из райисполкома, из милиции, из райзо... Я всех принимал, всех, всех. Я со всеми хорошо живу. Как не принять, не угостить хорошего человека?

— Конечно,— сказал я.— Все мы человеки...

— Вот, вот, вот. Меня все начальники знали. Одно-го снимут, а через недельку уж новый катит, представляется. У начальников ведь какая судьба? Ни один до пенсии не досиживал. Обязательно его снимут да переставят, а то и на отсидку. А другой уж тут как тут. Ценили они меня. Одно время дак и в уполминзаги * выдвигали, да я не пошел. Не по мне ответработа. Да я и сейчас член лавочной комиссии. Продащица пустые бутылки у меня без очереди принимает.

— Общественная нагрузка?

— Нагрузка, нагрузка. И еще народный контролер, дозорный...

— Эй, эй, эй, механик хренов! Опять доску с мостика прешь?— вдруг совсем другим голосом, зло и оглушительно закричал дядя Каша, вскочил и быстро-быстро зашагал на середину улицы.

* Уполминзаги — уполномоченный Министерства заготовок.

В том месте, где когда-то при въезде в деревню высились бревенчатые ворота и где теперь торчали лишь подгнившие пеньки, стоял незнакомый мне мужчина средних лет в рабочей одежде. На плече его и впрямь громоздилась длинная и толстая доска, густо обляпанная засохшей грязью. Было похоже, что доска и в самом деле только что лежала в настиле какого-нибудь моста на проселке.

— Я эту доску знаю! Пошто она тебе? По какому праву последний мост у нас рушишь? Неси и положи обратно! Да как следует!— бушевал дядя Каша, тыча в мужчину своей палкой и чуть не замахаясь.

— Отстань от меня, дедко! Сам ведь знаешь, что за жильё тут нам отвели. Ночевать невозможно. Ни кроватей, ни лавок. И пол провалился...— как мог, оправдывался мужчина, ставя доску на попа и потирая плечо.

— Обратно, обратно неси, неси, неси! Не снесешь — напишу в твою организацию. Там тебя отпуска лишат в летнее время. Механиком тебя называют, начальник, партийный, поди, а?

— Сам видишь, где мы в летнее время! За вас работаем!

— Я в сто раз, в тыщу раз больше всех вас на этой земле отработал. И не дам ее портить! Я тебя премии лишу за эту доску! Неси! А нет — под ружьем сведу!

Дядя Каша так распалился, что я поверил: он готов бежать и за ружьем, и даже стрелять. Об этом, видимо, подумал и мужчина.

— Тьфу ты, репей!— глухо ругнулся он и волоком потащил доску за деревню, оглядываясь и одаря дядю Кашу не сулящим ничего хорошего взглядом.

— Что за механик?— спросил я, когда дядя Каша уселся на скамеечку.

— А хрен его знает!— отозвался он.— Может, и не механик никакой, а так. С какого-то городского завода его сюда прислали. Женщин штук пятнадцать и его над ними начальником. Они его механиком-то кличут. Шефы они нашему совхозу, на сенкосе помогают. Ишь какой прохиндей! Последний мост на последней дороге в нашу деревню нарушать! А разобраться по-человечески, дак и он прав. В развалюху шефов-то у нас поселили, хуже твоей изба. Не знаю, все ли стекла-то там целы. А ведь они день работают, им и отдохнуть надо. Опять же женщины, городские, к перинам, поди, при-

выкшие,— рассуждал дядя Каша, словно и не ругался только что из-за обыкновенной доски.

— И много помогают шефы?— спросил я его.

— Много, много, много. Хорошие люди, хорошие. Пропал бы без них совхоз. Ни одного бы стога сена не поставить. А ну их всех к хренам, пойдем-ка ко мне на медовуху. А то жажда от этой жары да от скандалов несусветная...

На другое утро, проспав дольше обычного, я сразу же посмотрел в окно, но дяди Каши на привычном месте не было. А я больше и думать ни о чем не мог, кроме как о нем. Уж очень много надо было уточнить с ним, чтобы разобраться до конца в том, о чем так сумбурно разговаривали мы прошлым вечером. Поначалу мне хотелось выяснить, почему у него такая забавная манера разговаривать с тоекратным повторением некоторых слов и как он может, отозвавшись о человеке хорошо, через минуту ругать его последними словами; и отчего он столь угодлив передо мной, старается ничем-то меня не задеть, не обидеть, а на других лезет чуть не в драку.

Да, крепенькой оказалась его медовуха, а медовухи этой был едва початый пятиведерный бидон, в каких раньше отправляли с колхозных ферм молоко. И судачили мы под такой напиток долго и горячо. Но вот теперь, перебирая в памяти весь наш разговор, я подумал, что вчера мне все казалось ясным и само собой разумеющимся, а сегодня я не могу связать концы с концами, чтобы понять дядю Кашу. Я лишь чувствовал, что многое вчера дядя Каша недоговаривал, видимо, не вполне еще доверяя мне или экзаменуя меня на сообразительность и жизненный опыт. Я стал припоминать, что от ответов на некоторые мои вопросы дядя Каша просто-напросто уходил, ловко увиливал; что всякий раз, когда разговор приобретал достаточную остроту, старик вдруг на мгновение умолкал и неожиданно соглашался с моей точкой зрения, начисто отказываясь от мнения, только что им высказанного; что соглашался он со мной только на словах, для моего удовольствия, а сам оставался себе на уме.

Это было обидно.

«Хитер старик. Не может быть, не верю, что в голове у него каша,— уверял я себя и не мог до конца уверить.— Но что же заставило его стать вот таким: то во

всем со всеми согласным, то резко восстающим против кого-то, но потом оправдывающим и своего противника? В душе-то он, должно быть, другой, более определенный и цельный. К чему-то и к кому-то добр, на что-то и кого-то искренне сердит. Да и как иначе? По-другому просто не может быть...»

Я вышел на улицу, так и не определив до конца свое мнение о старике. Поискав дядю Кашу глазами там и сям, но так и не увидев его, я начал прислушиваться: вдруг донесется откуда-нибудь его голос. Ведь первая его реакция, как я вчера заметил, выражалась почти всегда криком. Но я расслышал только, как возле леса за его домом раздаются чьи-то голоса, смех, визг и вроде бы крик дяди Каши.

Решив выяснить, что там за шум, я обошел подворье дяди Каши и оказался на закрайке буйно цветущей луговины. Такого роскошного лугового ковра мне еще не доводилось видеть. Невольно мелькнула мысль: а не рукотворный ли это цветник? Но нет, под солнцем буйствовали «дикари»: солнцеподобные оранжевые ромашки на крепеньких мохнатых стеблях и дружные голубоглазые васильки, желтые шарообразные бубенчики и плотненькие стайки кошачьей лапки, багряно-стыдливые купальницы и, конечно же, бесчисленные лютики. И еще какие-то полыхающие голубым и фиолетовым огнем сорняки.

Удивляло, что цветы, при всем своем обилии, разнообразии и несхожести, ничуть не мешали друг другу, росли и цвели вместе, одинаково благодарно вытягиваясь к солнцу и цепляясь корнями за землю.

И совсем другая картина предстала передо мной, когда я пошел по свежей кошенине, где эти же цветы лежали поникшие и завядшие, теряя свой цвет и красоту.

У полузавершенных стогов и между ними сгрудились люди. Полуобнаженные женщины, иные в одних купальниках, ругались, махали руками, отчаянно отбиваясь от кого-то. Вот откуда до деревни доносился крик!

«Уж не бешеный ли волк?— мелькнуло у меня.— На вилы его надо, на вилы! А где же суметь это женщинам!»

Я побежал вперед, споткнулся и больно ударился руками и коленями о засохшие комья земли. А когда поднялся и стряхнул землю с коленей, то увидел, что

навстречу мне идет, помахивая своей палкой, дядя Каша. От стогов несся ему вслед малоразборчивый женский крик. И сами женщины уже ни с кем не воевали, а стояли в самых вольных позах, опираясь на грабли и вилы, и только некоторые еще взмахивали руками и вроде бы грозились вслед дяде Каше.

— Поучил я шефок, поучил, поучил,— задыхаясь, заговорил старик, еще не поравнявшись со мной.— Досталось охальницам по голым-то мясам. Ишь, копны на досушку растрясти их заставили! Так нет, чтобы ровненько, как полагается, сделать, а они все кидкомброском, комьями, комьями, комьями. А в комьях-то влага, нагольная жгучая роса. Ни хрена такой ком не просохнет. Вечером огребут, попадет такой комочек в стог — и пиши пропало, сгниет стог, изнутри сгорит, заплесневеет в чистый навоз. Вот я и поучил, поучил. И не стоило бы на них обижаться, много они в совхозе делов делают, от своей службы, от мужей-ребятишек отрываются, хорошие они люди, хорошие. А ведь того не понимают, что работать на земле — это не кнопки на машине нажимать. К земле особый подход нужен, каждый день и каждый час особый. И сердцем надо землю-то чувствовать, болеть за нее, за каждую сотку, за каждый колосок, травинку. И себя не жалеть в таком деле. Тогда только получится какой-нибудь толк. Настоящий потомственный мужик должен работать на земле, какой раньше был, до войны еще был, к примеру. А в войну самых лучших перебили, калеки-инвалиды перемерли, молодежка разбежалась. Вот и ответ, где они настоящие-то мужики, которые землю-то понимали. Не стало мужиков. Вывелись. И земля в запустении. Разве только я один и остался. Да что я...

Мы говорили о шефской помощи деревне, пока не пришли к дому. Дядя Каша все оставался при своем мнении:

— Не дело это, не дело, не дело! И для будущего не годится. А и без такой помощи ничего бы в совхозе не вышло, замерло бы все. Так и живем-перебиваемся.

И мне только приходилось поражаться его своеобразной манере размышлять.

Я хотел было напомнить дяде Каше о вчерашних наших разговорах и кое-что уточнить, но он отмахнулся:

— Устал, устал, устал. Голова не работает...

Слова его звучали все тише и невнятнее. Я глянул на старика. Голова его была низко опущена, глаз плот-

но закрыт, и мне даже почудилось, что он негромко похрапывает. Надо было бы уйти, оставить его одного, а я все сидел и сидел рядом и, кажется, тоже дремал.

Сквозь сон до меня стали долетать женские голоса. Причем все ближе. Но я никак не мог разлепить глаза, вернуться в реальный мир.

Вдруг я почувствовал довольно крепкий толчок в бок, вздрогнул и увидел, что дядя Каша уже стоит возле своего крылечка и кричит разудало-весело:

— Эй, эй, эй! Шефки, мать вашу за ногу! Помнёте еще хоть одну копну по своей дури — еще не так бока вам наломаю! А стога будете ставить кривобокие — такие и мужики-женихи вам достанутся, уроды да пьяницы! А брюхатые будете ставить, и вам весь век ходить...

— Хулиган старый!

— Сейчас у медички справку возьмем и отвезем тебя в город на пятнадцать суток!

Отвечали ему весело, перемежая шутки солеными двусмысленностями. Не оставался в долгу и дядя Каша. Городские женщины хохотали, и это его только раззадоривало. Можно было подумать, что между стариком и «шефками», которых он только что «учил» палкой, установилась самая искренняя дружба, когда обеим сторонам хочется только поозоровать, но никак не обижать друг друга.

Женщины прошли, дядя Каша закричал и стал подниматься на крыльцо, не приглашая меня к себе. Он захлопнул за собой дверь и долго не выходил. Мне стало одиноко и неловко. Я пошел к себе, чтобы поразмыслить обо всем увиденном. Но думалось плохо.

А дядя Каша исчез. Целых два дня не появлялся он на своей скамеечке. Я поднимался вместе с солнцем и торчал у окна, чтобы не прозевать, когда дядя Каша выйдет из дома. Но его не было. Тайком, когда на улице не было ни души, я поднялся на его крыльцо. Думалось: а вдруг старик заболел и ему некому помочь, даже дать воды некому. Но с дверей на меня глянул новенький замок. Стало ясно: хозяин куда-то отлучился.

Возник он неожиданно, на исходе третьего дня. Я все же проглядел его приход и увидел уже сидящим на скамеечке в своей обычной позе.

— Где вы пропадали? — с тревогой спросил я, тотчас подойдя к нему.

— В город ваш ездил,—с невеселой улыбкой сразу отозвался он.— Дочка у меня там замужем, давно к себе переехать меня уговаривает. Помрешь, говорит, тут, никто об этом и знать не будет. И зять хороший человек, хороший. Только... — Дядя Каша неожиданно перешел на шепот и со страдальческой гримасой сообщил мне на ухо: — Только не по характеру он мне. И пьяница. Дочка меня жалеет, а я — ее. И куда я поеду отсюда? Никуда мне не уехать. Вот как жизнь-то человеком распоряжается.

Но вдруг он откинулся к стенке, подмигнул мне и заговорил уже во весь голос, да еще с превеликим достоинством:

— А наплевал я на ваш город! Вонь там одна, шум и хулиганство. Дышать нечем и ступить некуда. Как муха пропадешь!

— Зачем уж так-то! И у города есть свои хорошие стороны. И не так уж там все плохо. Вы просто не привыкли,—возразил я. Но собеседник мой вдруг расстроился и рассердился:

— А чего хорошего-то там у вас? Там сына моего зарезали, а у меня пиджак с пятеркой украли.

— Да что вы говорите?!—изумился я.

— А только правду. Сына-то не бандиты, а хирург зарезал. Аппендицит у сына приключился. Из десяти тысяч только один смертельный случай бывает при такой операции, так мне сказывали. А мне от этого не легче. В прошлом году хоронил. Так мне было тяжело, что и последний глаз чуть не вытек: плакал я много. Один у меня сын-то, поздно я его родил, он только-только успел жениться. Я ему и квартиру, и «Запорожца» в городе к свадьбе купил. Невеста-то, сноха, как куколка, красавица и ко мне ласковая. И все прахом пошло, прахом, прахом!

Из крепко зажмуренного глаза старика выкатилась мутная слеза. Я, как мог, сочувствовал ему, утешал, успокаивал, а он время от времени вскрикивал:

— За что мне все это?! За что?! И так уж всю жизнь терпел, не дай господи...

А потом, как-то быстро успокоившись, вдруг заявил сурово:

— Заслужил я такое, вот и расплачиваюсь. И знаю, за что. Не самый правильный, значит, поворот в жизни сделал. А может, и не знаю, и не понимаю ничего, потому что вроде и догадываюсь, а словами высказать не

могу. И тебе объяснить не сумею. Поделом, значит. Жизнь, она за все требует оплаты. Она правильно распоряжается. А если не так, то уж и подумать не на что.

Он вздохнул, помолчал немного и неожиданно заговорил прежним бодрым тоном:

— А с пиджаком так и вовсе сам виноват. По своей глупости его лишился. Жарко было, снял я его, сложил на стуле вместе с узелком, там на автовокзале, а сам к кассе, билет покупать. Достоялся до билета, возвращаюсь, а пиджака-то и нету. Тут милиционер по вокзалу прогуливается. Я к нему, встал по стойке, докладываю, так мол и так, пиджак был с пятеркой, воровство. Он, гляжу, тоже по стойке. Выслушал, оглядел меня и говорит: «В вашем возрасте пить надо меньше». А я вроде и не выпивши. Так, наливал зять на прощание, дак разве такие пьяные-то бывают? И еще говорит: «Если настаиваете, прошу проследовать в отделение, там разберемся, розыск, может быть, назначим, а вас, пожалуйста, в отрезвитель». Я ему докладываю, что восемьдесят два года живу, в милиции не бывал и не стремлюсь, с прокурорами, мол, хорошее знакомство имел. И честь отдаю по всей форме. Он тоже руку к козырьку и дальше пошел. Хороший, видно, человек, хороший...

— Чего хорошего! Он вас на испуг взял. Просто не захотел он с вашим пиджаком канителиться,— возразил я.

— А и шут с ним. Да и пиджак-то — рвань! Его и носить-то никто не будет. Ни на какой барахоловке не продать,— неожиданно весело закончил он, и я подумал, что не оригинальничает он, пожалуй, не играет, а так уж вышколила его судьба, заставила надеть личину, которая с годами приросла столь прочно, что стала едва ли не подлинным лицом. А кто он в душе — это еще надо подумать.

— А пойдем-ка хлебнем медовушечки, чтобы голова не болела и позабылось все!— вдруг хлопнул меня по плечу своей еще сильной рукой дядя Каша.

— Только самую малость,— предупредил я, потому что мне и в самом деле не хотелось.

— Хозяин — барин. В рот лить не буду, а сам выпью. И расскажу я тебе такое, о чем ты не слыхивал и в книжках не читал. Поверил я тебе чего-то. Ладный ты человек, ладный, ладный. Да и мне, может, полегче будет...

...Дядя Каша захмелел быстро, видимо, сказала, накопившаяся за дни поездки в город усталость. Еще раз оценивающе глянув на меня, решительно махнул рукой:

— Никому не рассказывал, а тебе выложу. Пора и вашему поколению об этом знать да выводы делать... Вот по лицу твоему я не раз заметил, как ты думаешь обо мне. А думаешь ты так. Крепко, мол, живет дядя Каша, умеет хозяйство вести. Пасеку держит, огород. Сыну квартиру и машину купил. Значит, и деньжонки водятся. А я тебе скажу так: водятся! А водятся оттого, что работать люблю и умею. И всю жизнь умел. И не терплю лодырей да неспособных, которые и стараются вроде, а все у них из рук валится. И не люблю никаких бедняков, потому что в наше время голью перекатной быть стыдно. Любой может заработать и обеспечить в нашей жизни, особенно в последнее время. Раньше трудней, много трудней было. И я бы еще крепче жил, если бы в жизни своей два раза не разорился до нитки. Раз по чужой воле, а один раз и по своей. Вот и хочу рассказать тебе все по порядку, потому что и другой вопрос уловил я на твоём лице. А вопрос такой: почему это, мол, старичок одноглазый все время придуривается, да еще так, что и не поймешь, серьезно он к жизни относится или шутейно. И никак ты ответа на этот свой вопрос не можешь сыскать. А все тут дело в моих разореньях и в ужасах, которые я видывал за свою жизнь. Шутка сказать, ведь батюшка-то мой пять коров в хозяйстве держал, двух лошадей, косилку-лобогрейку и молотилку с конным приводом имел. А я при нем старшой и единственный сын, две дочери не в счет, те уж в другие деревни замуж вышедши были. Так что и другим мы, хорошим соседям или батюшкиным товарищам, немало помогали, ну и работников нанимали, по-старому, батраков. Крепкий был у меня покойник батюшка. На работу зверь и к другим на работе — тоже. А дома — душа человек, любой заходи в гости, я в него по этой линии удался. А вот ума у меня да характера — много меньше. Не заметил?

— На этот вопрос мне трудно ответить. По-моему, умом вы не обижены,— ошеломленно ответил я.

— Ну-ну... Да дело-то и не в этом. Теперь неважно, умный я или дурак. Хотя и не глупей других, считаю. Ну а приключилась со мной да с моим батюшкой такая история в момент коллективизации и ликвидации кула-

ка. Собрались в сельсовете беднота да уполномоченные и порешили раскулачить в нашей деревне моего батюшку и соседа Ивана Скустова. Порешили и пришли. К первому к соседу. А мы уж лишних коров попродавали, прирезали, лошадь одну оставили, на машины наши только покупателей не было, так они и стояли без дела... Пришли, значит, к соседу Ивану Скустову—вся деревня сбежалась глядеть. Весь заулок заполонили. И мы с батюшкой стоим, ждем. Ну, ходят по хозяйству Ивана Скустова беднота и уполномоченные, хлеб в житнице перевешали и житницу опечатали. И мы с батюшкой к этому готовимся, но стоим. Принялись сундуки трясти, шубы да валенки с крыльца в телегу бросать. Иван Скустов все стоит на том же крыльце, только побелел весь, вроде как и с бороды поседел, а мужик-то по тому времени еще молодой был, жилистый и горячий. Стоит, трясется, руками в перила вцепился и только зубами скрипит, а ни слова. Потом, когда уж весь дом разграбили и скотину на колхозный двор увели, уполномоченный и говорит Ивану: «Оденься сам, мать, жену и детей одень и садитесь все на телегу, повезем вас на высылку, куда Макар телят, значит, не гонял». Иван слышит, а ни с места. Еле оторвали его уполномоченные от перил-то, толкнули в избу. И вот, долго ли, коротко ли, появляется в дверях Иванова мать-старуха, глаза у нее закатились, а в руках икона Николая-спасителя. Внучонки за подол ее держатся. Жена Иванова, Марья, вышла глаза опустивши. Ребятишечки и Марья кое-что на себя понадевали, а старуха в кофте да в юбке-исподнице, как на печи лежала, так и выбрела. Смотрят все на них, иные бабы заревели дурным голосом. А Ивана нет. Да... Ну, посвѣли-постаскивали всю семью с крыльца, к приготовленной телеге подтолкнули, а Ивана все нет. Сунулся в дверь-то с крыльца главный уполномоченный за ним, чтобы тоже вывести, а Иван ему встречу, ну, грудь в грудь стукнулись. Уполномоченный-то отступил на шаг, чтобы ему дорогу дать, а Иван из-за спины-то как вымахнул топор да как с размаху-то хрясь уполномоченного по кожаной фуражке. Дак веришь, голова на две половинки растреснулась у этого уполномоченного. Народ-то как заревет! Бежать кинулся. А батюшка меня за локоть схватил, ровно клещами, и держит. А тут помощник уполномоченного того или сам тоже уполномоченный, только с наганом, выхватывает свой револьвер и

бац прямо в грудь Ивану. Только красное пятно на рубахе растеклось. Шагнул Иван два шага вперед, вцепился в перила вдругорядь да тут и помер, голова на волю свесилась. Народ-то почесть весь разбежался. И тут только ребятишки Ивановы забились-заплакали. Вот как дело-то вышло... Ну, добавлю, что в тот день в деревне еще два покойника было. Тут же помер председатель сельсовета, старичок из учителей, от сердечного приступа, и матушка Ив́анова. Поначалу-то она вроде бы помешалась, да и отошла к вечеру. Только и это не самое главное в моей-то истории. Главное тут — что мой батюшка придумал-учудил. Когда все на крыльце-то Ивановом загремело, он, слышу, шепчет мне на ухо: «Сейчас я упаду, а ты, Сашка, неси меня на руках домой и сразу на печь». Как не понять такое! Хоть и удивительно, а понимать и исполнять надо, воля отцовская. Так и получилось. Поначалу батюшка затрясся весь, потом словно ноги у него подкосились, и лежит он на траве, как плат, белехонек. Я его на руки и бегом от греха. Хоть и не крепка оборона, а все же в своей избе надежнее. И подумать можно. Вот батюшка и шепчет мне с печи: «Я буду притворяться, что разумом тронулся, так и скажи, что пусть хоть фершала, хоть доктора присылают, а сам завтра же с утра объяви об этом и сразу вступай в колхоз. Все добро им отдай, все повышенные и дополнительные обложения выплаты, как раз денег должно хватить. Останемся мы ни с чем, зато выживем. Другого способа у нас нету». И замолк мой батюшка на печи, только слышу, что молится жарко. А потом и вовсе притих. Да, добавил еще, что сегодня, мол, раскулачивать нас уж не придут, не до этого им.

— Много я слышал про раскулачивание, но чтобы так... — высказался я, захваченный рассказом.

— И так, значит, бывало. С того момента и стал я хозяином. Приняли меня в колхоз, потому что и сами активисты решили: хватит, мол, на нашу деревню такого разору и кровопролития. Эво, сразу четыре души невинных загубились. Невинных оттого, что каждый со своей стороны был прав. Уполномоченный-то ведь тоже как действовал? Либо заставили его, либо сам считал, что так надо. Тут и винить его нечего.

Вот так-то я первый раз и разорился. Ну а батюшке поверили, что тронулся, присылали всякие медицинские и другие проверки, да и поверили, а может, и рукой на старика махнули, ему уж тогда много за семьдесят

было. А он вел себя тихо, на улицу не выходил вовсе. Если кто к нам зайдет — придуриваться и не дело говорить начинал.

Так и жили. Работал я, конечно, на совесть, хоть и скрипел зубами. А жили впроголодь, пока я не обжегся. Но это произошло не сразу, никто за меня не шел, за одноглазого да с таким отцом. А еще бабушка-то научивал меня с первых тех дней, чтобы я повоенному во всем перед начальством соглашался, чтобы ладил с любым. Тошно мне было сначала, а после вроде и попривык. А к войне мы уж и совсем неплохо жили, потому что и в колхозе жизнь наладилась: люди работали, на трудодни получали. Но а второй раз я разорился, это уж по своей воле, можно сказать. На войну, вторую-то мировую, Великую Отечественную, меня не взяли, заставили только за племенным жеребцом ухаживать, потому что ни одного ловкого мужика в деревне не осталось. Да и неловких — тоже, всех война подчистила. Дак вот, в первый-то тяжелый год войны бабушка мой сильно переживал наши поражения и занемог. Того гляди душу богу отдаст. Тут уж и не до дури было. И вот подзывает он меня как-то и говорит мне тихонечко. Умру, говорит, вот сегодня ночью, а главное мое богатство может даром пропасть. Наследство, говорит, мое, золото. Пойди, говорит, в подполье, поройся в заднем углу, что под печкой, две, говорит, четверти к сениям от крайнего столба и аршина полтора в глубину. Там, говорит, две больших банки, полных золотых царских десятирублевиков. Хоть там, говорит, оставь, хоть перепрячь, но знай, что они твои. Я так все и сделал, только не перепрягивал. Правда, пересчитал из интересу. Дак что ты думаешь, ровно двести штук их было. По сто штук в банке.

А тут вскоре нагрянули в деревню агитаторы и говорят, что всякие сбережения надо отдавать в Фонд обороны, на танковые колонны и на эскадрилии. Крепко тогда я задумался. Обида брала, что немцу поддаемся. Хорошо я этот народец по первой войне помнил, зуб на него имел. Да и раскулачивал он нас в сорок первом да сорок втором хлеще некуда. Обидно, а что поделаешь. Доложил о своем сомнении бабушке, а тот только стонет. А мне уж намекают, как сыну кулака и прочее... Ну и отнес я золотые в приемочную комиссию, все им начисто рассказал, а те и рады, что им такой куш привалил. Про все мое кулацкое прошлое забыли,

в газете меня пропечатали, только сумму не назвали и что золотом был взнос ни гу-гу. Да так-то оно и лучше. Меньше разговоров. Спрашивал меня, конечно, про золотишко и батюшка, и я хоть и не с первого раза, но признался. Он только плюнул в угол да сказал: «Да и не дожить нам с тобой, Сашка, чтобы эти лобанчики в оборот пустить. Пропади пропадом. Без них ровно и легче». И верно, на поправку пошел и еще долго прожил. Только помер плохой смертью и похоронить его мне не довелось. И по сей день не знаю, кто его хоронил и где. И не узнать, поди. Да я и не старался. И вот почему. Победу-то мой батюшка радостно встретил, все улыбался. Притворяться вовсе перестал, на улицу выходил, с народом разговаривал. А в сорок седьмом году, в самую-то лихую годину, он вроде снова, в этот раз уже по-настоящему тронулся. Или уж так придуриваться привык...

Полная беда в ту пору нагрязнула на деревню, такой разор, о каком и не слыхивали. Мужиков нет, молодяжку по вербовкам растаскивают, одни бабы работают, а им год от года налоги все больше. И мясной, и молочный, и шерстью, и яйцами, и еще деньги да займы. А трудодень пустой. Последнюю скотинушку народ поручил, чтобы от налогов избавиться. И я с батюшкой тоже. Что слез в то время было пролито, что ругани наругано — не рассказать и не припомнить. Дак ведь облагатели другие пути наши. Стали обмерять все гряды и кусты, хоть в огороде, хоть в палисаднике. И с каждого свой налог, с морковки особый и с картошки тоже. После этого начали и огороды запускать, смородину-крыжовник вырубать, пасеку я нарушил. Гол как сокол остался. И другие так. Только те и ели хлеб, которые на окладе сидели: учителя, зоотехники да уборщицы-технички. Да и тем на свои деньги нечего было купить. Тут батюшка-то мой и обмишурился малость, или уж жить ему и все это наблюдать и видеть надоело, не знаю. Только до чего додумался, бедолага, — сочинил песню! В газетах Сталина вот нахваливают, отец родной, да и только, а батюшка мой ходит по деревне, как полоумный, и поет-заливается свою песню:

Вот так Сталин молодец, молодец,
Всех оставил без коров, без овец...

Ну и недолго попел. Нашелся кто-то, сообщил куда надо, прибыли два добрых молодца с наганами, один,

рассказывали, в синих галифе с красным кантом, а другой — в зеленых. И фуражки того же цвета. И увезли моего батюшку, и ни весточки от него не было. Сам-то я этого не видел, на работе находился, а люди рассказывали...

Так вот и жил. Потом уж, лет через десять, на ноги начал вставать, когда основные налоги отменили. Да теперь только дурак или лодырь не встанет. А мне-то было легко ли так-то всю жизнь? Другой бы плюнул, а я не могу без работы. И еще — деревню до рёву жалко. Пропала деревня-кормилица...

Дядя Каша вдруг расплакался и махнул рукой:

— Иди, иди, нечего на старика глядеть.

Я попрощался и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Когда мой отпуск кончился, я зашел попрощаться с дядей Кашей.

— Еще приезжай, на выходные ко мне приезжай. Ты все понимаешь, умный ты человек, умный, умный. Тебе можно, — с грустной улыбкой говорил он.

— Обязательно приеду, — искренне пообещал я.

— Вот и ладно будет, ладно, ладно, — торопясь, продолжал дядя Каша. — Эвон сколько пустого народу нынче у нас перебивалось! В гости, на отдых, на природу! Поубегали вы из деревень-то, а пуповину себе перегрызть не можете, больно. Не по силам это человеку, если душа в нем жива. Вот она вас сюда и тянет, тянет. В городах-то вы тоскуете да вино пьете, да воруете. Здесь-то, в нашей-то деревне, никто бы моего пиджака не взял. Мается у вас душа, вот и едете...

— Ну, пока что все наоборот, — возразил я.

— И это верно, последняя молодяжка из деревни убегает, верно, верно, — тотчас согласился дядя Каша. — Ей в городе-то интереснее да и лучше.

— Так за что же вы, за город или за деревню? И то вам хорошо, и так неплохо! — я разошелся и незаметно для себя ввязался в спор.

— Верно, верно, верно. Я и за то, и за это, — обескураживающе заявил дядя Каша и поглядел на меня самым невинным взглядом. — И то и это надо по-хозяйски вести, и город и деревню. Вот и будет добро. Надо, надо сближать город с деревней, потому что одни в них живут люди и дело у них одно. В деревенской-то жизни много хорошего, много, много. Пчелок, к примеру, в городском дыму да вони не разведешь, не выдержат

пчелки. А медок-то и городские любят. Помру вот скоро — а что от моего хозяйства останется? Шиш останется. И большой для всего дела минус. А вели бы дело-то поумней, всем бы и было хорошо.

Примерно через месяц после моего отъезда приятель, в избе которого жил я летом, сообщил мне, что дядя Каша помер. Таскал на подворье сено со своих соток, тяжелые вязанки якобы таскал, и сердце старика не выдержало.

«От жадности помер, все так говорят, — написал приятель. — Денег полный сундук, а он и на девятом десятке все под себя греб. От одного меду озолотился. А чтобы не показать свое настоящее нутро, перед каждым приезжим лебезил и притворялся, как клоун. Угощения нужным людям всю жизнь устраивал. Хитер был дядя, но и такой двести лет не прожил. Сам себя в гроб положил и дело свое никому передать не сумел».

Известие о смерти дяди Каши огорчило меня. Я вроде уже и привык к нему, хотя так и не понял его до конца. И мучила меня мысль: зачем ему понадобилось сено, если скота он не держал? На продажу? Но в деревне и покупателя на сено не было. Или дядю Кашу просто оговорили? И почему так недоброжелательно отзывался о нем приятель, чуть не радуясь его смерти?

Следующим летом я все же еще раз побывал в той деревне. И снова увидел я дом и огород дяди Каши.

Совсем заросла дорога к дому дяди Каши со стороны бывшей околицы, а лужайка ощетибилась молодым осинником и березняком. Раскидистее, гуще стали кусты бряда, под которыми уже таилась плесневелая сырость. И в тишине, где-то совсем близко, сладострастно переговаривались лягушки.

Дом, когда-то глядевший горделивым красавцем, теперь уже не был похож на корабль, выплывающий из зеленых пенящихся волн. С заколоченными окнами, облупившейся краской на косяках и наличниках, он уже не напоминал человеческое жилье. Я положил ладонь на округлость подоконного бревна. Бревно было горячим, как лоб больного с высокой температурой. И мне подумалось, что внутри дома наоборот должно быть промозгло и холодно. На дверях висел большой новый оцинкованный замок. Но скобы, в которые была вдет дужка замка, были стары и ржавы, они качались в разношенных дырках и их легко можно было выдернуть рукой...

Торжествующие сорняки давно уже шагнули в огород дяди Каши от соседней разрушенной избы, до половины закрыли изгородь и наступали на грядки. Спесиво высились столбики репейника, а у подножья его опутывала своими проволочными щупальцами пастушья сумка. Я не раз задевал за нее ботинком и не мог эти щупальца оборвать, такую силу набрали они на годами удобряемой земле. По бороздам между гряд сплошь тянулася сочная поросль мокреца, кое-где взбирающаяся уже и на сами гряды. Мощная лебеда, осот и молочай, пробившись сквозь ветви смородины и крыжовника, поднимались уже выше самих кустов.

Не стало и пасеки. Только один сильно накренившийся старый домик высился над травой, но на его прохудившейся крышке лишь ошалело резвились мухи.

ВОТ И ПОЙМИ ИХ!

(Рассказ моего друга)

— Как, говоришь, отпуск провел? Да вроде ничего, только совсем не так, как мечталось да планировалось. Путевку в дом отдыха полгода выбивал-выпрашивал, а пришлось ее обратно сдавать. Мать, понимаешь ли, прислала письмецо...

Что может написать старая женщина? Как всегда, охи да ахи насчет здоровья да всякие пожелания. К этому я привык. Но в последнем письме было нечто новое. Категорически поставила мамаша вопрос: приезжай обязательно, может, последний раз увидимся. Вот и пришлось менять планы.

Прибыл я в свою деревню, в отчий, так сказать, дом. Мать и правда лежит, но вижу — не так уж больна, чтобы меня к себе срочно требовать. Однако молчу. Ей ведь за семьдесят, легко ли одной по хозяйству управляться. Надо и печь истопить, и за водой на колодец сходить, и в магазин, до которого полтора километра. В огороде надо копаться, о дровах позаботиться. Поглядел я будто вновь на деревенскую жизнь, на все эти хлопоты, о которых горожане и представления не имеют, и, честное слово, стыдно мне стало. Не мне бы, а ей, матери, надо в дом-то отдыха, и не один раз в году.

Мать лежит, а я принялся хозяйничать. Печь, дрова, картошка, капуста, горшки с чугунками. Все вроде делаю по порядку, как надо, под ее приглядом, конечно.

А она полюбовалась на меня пару дней и, гляжу, начинает давать мне всякие поручения. Причем явно придумывала она эти поручения, потому что и нужды особой в тех делах не имелось. Сходи на центральную усадьбу колхоза, в райцентр съезди, где в молодости учился, зайди к тому, передай на словах это... И все по мелочам.

Думаю, зачем бы ей вызывать меня, если и без меня целыми днями обходится? Зачем по округе-то меня гонять? И еще странно: за лекарствами в районную аптеку ни разу не посылала. Главный медицинский авторитет для нее, оказывается, участковая фельдшерница Капа, девчонка девчонкой.

Вот и пойми мою мамашу.

Ну, езжу, где на автобусе, где на велосипеде, хожу туда-сюда. А по дому главная моя обязанность заключалась в том, чтобы стряпать. Под неусыпным контролем, конечно. Картошку примусь чистить — мать тут же указания дает, каким ножом это лучше делать, как кожурку потоньше срезать. Потом — какой выбрать чугунок, кастрюлю там или плошку. Какой ухват взять и какой сковородник, когда уголья в печи загрести клюкой в горнушку и когда трубу закрыть. Старание мое ей было по душе, хотя какая же хозяйка признается, что в ее кухне кто-то распоряжается не хуже, чем она сама... Да и не нужны мне были такие признания. Ее, мамашу свою, хотел я разгадать, замысел ее против меня был мне все же непонятен. Да и сейчас мне в этом деле не все ясно, пожалуй.

Мать еще и корову держит, но летом за этой скотиной ухода немного. Доила ее соседка, в стадо выпускала она же, а вечером корова сама приходила домой, и прямо в стойло. Мне оставалось только помыть опорожненные кринки. Но и это, брат, целое искусство: вымой дочиста, кипятком ошпарь, просуши, матери дай на проверку... И смех и грех, а ведь все исполнял, как мальчишка.

Старания мои мать одобряла, причем гораздо чаще, чем бывало прежде и чем я ожидал. Из тебя, говорила она, и в деревне бы толк вышел. И тут же спрашивала не без ехидства: а помнишь ли, как ты к пятнадцати годкам все деревенское возненавидел? Как молоко перестал пить, лишь бы не морили тебя на сенокосе, от книжек не отрывали? Не заставляли бы на лошадях работать да в подпаски ходить? Помнишь ли, как в город-то рвался? А не зря ли?

— Не знаю,— отвечаю ей.— Ведь и вы с отцом против города не возражали.

— Верно, силой тебя не держали,— размышляла она вслух.— А пожалуй, надо бы оставить. Ты вот в деревне лошадь толком не научился запрягать, а и в городе, поди, шоферских прав не получил. А здешние мужики да парни все умеют.

— В таком случае меня надо было в сельхозтехникум отдать, а не в библиотечный. Тогда бы и в деревне остался, и права бы всякие имел, и умел бы все...

— То-то! — будто обрадовалась мать, хотя и говорила сердито.— Сам, значит, теперь видишь, что агрономы да зоотехники втрое больше твоего зарабатывают и живут лучше?

— Знаю,— вздохнул я.

— И не жалеешь, что у тебя все так получилось?

— Да как сказать...

— То-то и есть, что нечего тебе сказать,— торжествовала мать.

А что я еще мог сказать? Против фактов не попрешь. А зарабатывать побольше да жить получше никто не против. Да и поднадоела с годами библиотечная моя работенка. Изо дня в день ведь одно и то же. Поначалу хоть что-то интересное встречалось, ну и прочтешь, чувствуешь, что кругозор становится шире. А зачем он, широкий-то? Зарплату за это не повышают. Поневоле начинает казаться, что у других вольнее и интереснее. Тем же агрономам позавидуешь. Поля у них, семена, просторы, кампании, битвы за урожай, романтика какая-то особая, близость к природе наконец. Да и всеобщее внимание к сельскому хозяйству, почет, передовой рубеж. Честно говоря, иной раз завидую, бывает такое.

Да-а... Вырос-то я ведь в деревне, дитя лесов да полей. И вот заставь меня хоть с будущего года вырастить гектар там, или еще сколько, льна, картошки — все досконально знаю, как это сделать, и сделаю. И почву подготавливаю, и посажу-посею, и прополю, и подкормлю, и урожай соберу. Лен — так и обмолочу, и на стлище растелю, и подниму, тресту высушу, отсортирую и на волокно трепалом истреплю, семя провею. Ей-богу! Я же сколько с этим льном да с картошкой занимался! А лет с шести, дошкольником еще начал и так до призыва в армию. Каждое лето. Снится мне этот лен иной раз. И луга наши, перелески, речки. Небо особенно сельское

вспоминаю... Мы ведь в городе-то вовсе неба не видим, так только, клочочек над головой... Да... А мать, конечно, по-своему рассуждает:

— Может, и ошиблись мы тогда,— говорит.— Не сумели разглядеть, как дальше-то жизнь пойдет, в чем переменится. Теперь-то ясно, что так и должна была она измениться и идти, как сейчас, потому что без хлеба, мяса, молока и в городе не прожить. Но в те-то годы не больно ясно было. Почему мы тебя все учить старались да в город дорожку торили? Да потому, что чистой работы тебе желали, культурной, чтобы сам человеком стал и с порядочными людьми водился. А в этот, в сельхоз-то, всех подряд брали, двоечников и хулиганов, считай, без экзаменов. Чему бы ты у таких товарищей научился? Вот мы и позарились на другое. Ведь в деревне-то тогда как рассуждали? Испокон, мол, крестьянин без агрономов и зоотехников обходился, значит, и дальше без них можно обойтись, потому что они вроде и ни к чему. В деревне-то тогда можно было и без всякого образования обойтись, а в городе, чтобы человеком себя чувствовать, совсем другое дело. Вот мы все и думали, как бы для тебя лучше сделать...

Вообще-то, мамаша моя — человек мудрый, испытала немало, людей и жизнь понимает насквозь и читать всю жизнь любила, причем не просто так, а с практическими выводами. Теперь таких читателей и не найти. Так вот, вроде дома она сидит, а досконально ей известно, как живет в округе любая семья, кто сколько зарабатывает, кто что купил, у кого что случилось. Раньше-то она не упускала случая похвалиться: вот, мол, трое детей, и все выучены, все с высшим образованием, все в больших городах, у всех отдельные квартиры с удобствами да балконами, жены у всех хорошие, дети и так далее. Да так и считалось в те годы в деревне, что если устроился ее выходец в городе да получил квартиру, да еще выучился — все, это уж полная гарантия достатка и счастья на всю жизнь.

Правда, с матерью на эту тему я давненько не разговаривал, но был уверен, что она так и остается при старом мнении. Какое же другое-то, думаю, должно быть? Откуда ему взяться? А тут на тебе! Совсем по-иному рассуждать стала. И еще чувствую: не понимает она многих деревенских перемен, а вернее сказать — видит, но не принимает. Всю жизнь положила на то, чтобы сделать для детей как можно лучше, а получилось вроде

промашки. Тут, брат, задумаешься. Тут и себя укорять впору. Да она так и высказалась:

— Не надо было нам,— говорит,— выбиваться из последних сил, вас выучивая. И вам, и себе навредили. Вы там не с великим зажитком да счастьем оказались, а я тут, одна-одинешенька, будто и не рожала детей, на ноги не ставила.

Да, пожалуется вот так-то, посетует, а сама на меня поглядывает. И вижу — не без хитринки. Ждет, похоже, не заведусь ли я, не разоткровенничаюсь ли, не брошусь ли спорить. Но и я, как говорят, сын собственных родителей, слушаю ее и нарочно отмалчиваюсь, и так улыбаюсь, что и ей ясно, что уловки ее мне понятны и я на них не поддамся.

Она на меня за это не сердилась. И ей, и мне без слов многое давно понятно. Знаю я: вовсе не жалеет она, что нас выучила, наоборот даже. Просто надо ей вызвать меня на откровенность, чтобы лучше понять, отчего в деревнях стали больше зарабатывать и жить богаче. А что я мог ей сказать, кроме того, что знала она сама? Что капиталовложения в сельское хозяйство стали больше? Смешно ей это объяснять. Ну и говорю ей что-нибудь утешающее и близкое к теме:

— Хлеба у вас хорошие стали. Шел с разезда — подивился. Никогда таких хлебов на этих полях не видывал.

— Это-то так, — без радости соглашается она.

— А почему? — ловлю ее на слове.— Ты же утверждала, что самый толковый народ из деревни ушел, а остались, как ты говоришь, одни старики да недоумки, которым больше и деться некуда.

— Так теперь все машины,— скучно объясняет она.— А сколько удобрений-то всяких валят! У меня на приусадебном участке картошка стала хуже родиться, чем в колхозном поле. Когда такое-то бывало?

— Мама! Ты типичная старая крестьянка, мелкая собственница. Рада только своему. Если у других, рядом, что-то лучше, чем у тебя, тебя это словно огорчает.

Я, конечно, смеюсь, говоря такое, чтобы не обидеть, вроде бы как шучу. И она смеется. Но все равно продолжает жаловаться и оправдываться:

— Уж такой народ в деревнях. Не я одна...

При этом она быстренько взглядывает на меня и прикрывает глаза. Но мне-то ясно, она снова хочет вызвать меня на спор, на откровенность, она хочет понять, на-

сколько я умен и много ли стою. В такие моменты с нею опасно, и я предпочитаю отмалчиваться. Она понимает, что от меня ничего не добиться, и продолжает:

— А всего обиднее вот что. Теперь и вполнину того не работают, как мы убивались в единоличном хозяйстве да и в колхозе хоть в те же послевоенные годы. А получают нынешние колхозники уж и не знаю, во сколько раз больше. Разве это справедливо?

Я пытаюсь объяснить ей, что были трудные для деревни времена, но она почти не слушает. Видно, что она обдумала все это лучше моего. Хочет лишь выведать, не скажет ли ученый сын что-нибудь новенькое. А не услышав этого, перебивает:

— Ладно уж. Оставь меня в покое. Выйди лучше на улицу, покажись людям. Вон наискосок старый твой приятель, тоже давно уж городской, зятю дом перебирает. Поинтересуйся-ка, пошто он это затеял?

Я выхожу. Действительно, однокашник и ровесник мой Колька Окунев, обросший типично городской бородой и освоивший все городские манеры и обороты речи, сидит в затертых джинсах и голый по пояс на срубе и тюкает топором. Здравуемся, накоротке расспрашиваем друг друга о житье-бытье, вспоминаем друзей детства, которые, как и мы с ним, в деревню приезжают только погостить, да и то не все.

— Из двух изб один пятистенок делаем,— рассказывает Колька.— Зять с сестрой тут будут жить, а мы с братом — на лето приезжать. Своя деревня лучше всяких курортов.

Зять, высоченный тощий молчун, трудится тут же. Удивительно: почти все деревенские механизаторы неразговорчивы. Рев двигателей, что ли, отучивает их разговаривать? Не знаю. Я пытаюсь осмыслить затею Кольки и его зятя. Что это? Новые формы союза города и деревни, чтобы пусть хоть и временно, но все же жить под одной крышей? Какая польза будет от этого деревне и городу? Но думать мне не дают. Вступает в свою силу еще одно столь же удивительное, но уже чисто деревенское обстоятельство: если на бревне у новостройки, а то и просто так, курят двое, в данном случае я с Колькой, то никому из мужиков мимо не пройти.

Через несколько минут вокруг нас уже с полдюжины людей. Сигареты мои разобраны до последней. Более опытный Колька попридержал свою пачку в кармане. Скоро мне придется брать велосипед и ехать в мага-

зин. Еду и уже не в первый раз отмечаю про себя, что половины домов в деревне как не бывало, зато оставшиеся перебраны заново, стали выше и шире, обшиты вагонкой, хвастаются размалеванными, будто улыбающимися, крыльчками и вознесенными под самое небо телевизионными антеннами на высоченных шестах. Словно заново рождается деревня, прихорашивается на просторе. И облик, и взгляд на мир у нее новый. Но какой? Сразу этого точно не определишь, слов не подберешь... Мало еще я тут побыл, мало говорил с людьми.

Возвращаюсь — а в нашей избе новые громкие голоса. Ну, конечно, это появился Федот, муж моей двоюродной сестры. До вечера еще далеко, а он уже крепенько под градусом и забота у него одна: как бы добавить еще.

— Тетка Марья! — кричит он, сиюсь придать своему лицу лукавое выражение.— Ты хитрая и вредная! Есть же у тебя бутылка! Вон в том шкапчике всегда у тебя имелось. А теперь у тебя гость в доме, значит, обязательно есть. Плесни стопочку — и уйду.

Мать смеется и, наверное, в десятый уже раз объясняет, что спиртного у нее нет, а гость, то есть я, непьющий. Федот вроде и понимает все, трезвеет и начинает рассуждать о своей свиноферме, на которой работает, но быстро сбивается и с новым воодушевлением кричит:

— Тетка Марья! Ты вредная — и я с тобой буду вредный! Не нальешь — не продам тебе поросенка. Или такого подсуну, что через неделю сдохнет.

Мать отмахивается, едва удерживаясь от ругани. Федот долго обнимает меня и тут же просит закурить. Я вывожу его на крыльцо, поясняя, что табачный дым для больных вреден.

— Люблю я вас всех, всю вашу фамилию! — кричит Федот и больно жмет мои ладони.— Оставайся в деревне! Сразу заместителем председателя посадим. Пустует должность. А ты справишься. В вашей семье все ученые да башковитые. Знаешь, как заживем? А через год-другой и председателем будешь. Пятеро из нашей родни члены парткома и правления. Сами проголосуем и других подговорим.

Я отказываюсь.

— Все вы хитрые, — как о само собой разумеющемся заявляет Федот.— Вся ваша фамилия. Терпеть не могу таких. Я знаю, зачем ты приехал. Тебе «Волгу» надо, а в

городах ее купить труднее, чем у нас. Бери мои деньги, добавляй тыщу и покупай себе «Волгу». У меня на «Волгу» тыщи не хватает, а другой телеги мне не надо. Все мужики в деревне так решили. Согласны только на «Волгу» или на «уазик». Через полгода отдашь — и у обоих у нас будут «Волги». Согласен?

Приходится долго объяснять, что таких денег у меня не водится и что покупать машину я вообще не собираюсь. Это Федота поражает.

— А чем тебя за ту пятилетку наградили? — спрашивает он, совершенно уверенный, что уж меня-то, городского и ученого, наградить должны обязательно.

Я отвечаю, что наград вообще не имею.

— Врешь! — без тени сомнения заявляет он. — Меня вон и то... За ту пятилетку — медалью, а за эту — «Знаком Почета». А сколько у тебя детей?

— Двое, — говорю. Федот меня забавляет. Хоть и пьян, а об интересных вещах толкует, и вроде нестандартно. А в трезвом виде, пожалуй, он был бы скучнее и не столь откровенен.

— Врешь, — снова утверждает он. — У меня здоровье дрянное, а четверых завел. Вон на лужке, как козлята, скачут и пасутся. Будет и пятый.

Каково у него здоровье — не знаю, ничего об этом не слышал. Но все же спросил, чтобы посочувствовать для приличия или совет какой-нибудь дать. И тут вместо ответа по существу Федот неожиданно расстроился, разозлился и с руганью принялся жаловаться на беспорядки на ферме и во всем колхозе, на председателя и на всех специалистов, и еще начал требовать, чтобы я срочно написал обо всем этом в газету. Чуть не поддался я на эту удочку. Такие убедительные факты он приводил, такие называл цифры и все это сдабривал фамилиями виновных, и так он меня умолял, что я искренне поверил и пообещал на следующий же день прийти на ферму, поглядеть на все своими глазами, уточнить и написать в газету. Федот на прощание долго не отпускал мою руку и даже всплакнул.

— Обязательно сходи, — всерьез посоветовала мне мать, когда я рассказал ей о жалобах Федота. — Сходи и все обследуй. Должны быть у них безобразия, никогда без этого не обходилось... Да и насчет должности в колхозе подумай. Заместителю работы не лишка, ответственности — тоже, а денежки идут порядочные. И Федот за тебя слово замолвит, он член правления, и другие

против не будут. Ты ведь как-никак, а все же тутошний, в этой деревне вырос, все помнят... А Федот-то — он ничего мужик, работающий. Выпивать вот только привык. То месяц его не слышно и не видно, на ферме от темна до темна, а то нажрется вот эдак да и болтается по всей деревне, булгачится, к людям привязывается. Куда он сейчас-то пошел? Домой? Хоть бы уснул там, а то ведь никому покою от него не будет...

Утром я отправился на ферму. Приземистую фигуру Федота разглядел еще издали, заторопился к нему, но встретил он меня без вчерашнего пыла.

— Ой, не до разговоров мне сегодня, дорогой. Видишь, сколько у меня глоток-то ненасытных? Только поспевай...

— Ну-у, а безобразия-то?

Но Федот словно и не слышал меня, даже пошел прочь. Из любопытства и я двинулся за ним сначала в тамбур, а потом и в сам свинарник. Ну, снаружи-то двор и двор, длинный только и широкий, каких раньше не было. А внутри — боже ты мой! — все стены в каких-то металлических трубах вдоль всего помещения, транспортеры, электромоторы урчат. И свиней этих не знаю уж сколько сотен. Только спины розовые колышутся за перегородками, как волны. Ну и визг, конечно, хрюканье. И запах, я тебе скажу, не долго вытерпишь. И жара парная, так что капли падают с потолка.

Я тарашу на все это глаза, не знаю, куда и ступить в своих сандалиях, Федота ищу глазами, а он как сквозь землю провалился. Ну что тут будешь делать! Так с полчаса и ждал я его, но уже на воздухе, да еще в таком месте, чтобы ветер не от фермы дул. Появился он, я к нему. А у него уж другая песня.

— Давай,— говорит,— отложим до другого раза.— Указание срочное пришло на сдачу откормочников приготовить. Две машины сулятся прислать... Так что до темна прокручусь... Да и завтра тоже...

Я уж и не стал ждать намека более прозрачного, ушел, проклиная этого Федота и одновременно радуясь, что не надо будет писать ни о каких безобразиях, не вступать не в свое дело, в котором я ничего не смыслю.

Больше уж я Федота и не искал, да и он в нашу избу не заглядывал. Стеснялся, что ли? Не знаю. А может, у него и в самом деле было много работы.

— Ну, крестьянин! — вспоминал я о нем все же время от времени.— Надо ему и похвастаться, и беднень-

ким, обиженным прикинуться, и на начальство, может, напраслину возвести. Как быть с таким народом?

И не один Федот меня озадачил. Скоро в своем же доме встретил я еще одного деревенского оригинала, тоже старого знакомого. Этого я даже узнал не сразу. Возле постели матери сидел, положив на колени огромные, как сковороды, ладони, празднично одетый мужчина с длинным, слегка неправильным лицом и одним глазом. Новый, еще не обмявшийся костюм из дорогого темно-синего материала так и топорщился на нем. Неужели Вася? Я не верил себе. Но это был он, Вася-Карася. Мы степенно поздоровались.

— Здоровья принес Марье Никитишне,— тотчас начал рассказывать он.— Пирогов с ягодами, медку... А как же?

Голос Васи звучал басовито и важно, но слышалось в нем не одно осознание собственного достоинства, а еще и нотка покровительственности, будто для моей матери он благодетель. Причем благодетель истовый и бескорыстный, словно бы продолжатель дедовских деревенских традиций. Встретить Васю, да еще таким вот, я не ожидал. А он тем временем поднялся со стула и заслонил все окно, так что в горнице стало темновато, а головой едва не уперся в потолок. Он явно не знал, что делать и что сказать еще, да и я — тоже.

Вася-Карася припоминался мне юнцом-переростком, неловким и неправдоподобно застенчивым. В деревне он был, что называется, на смеху. Ходил о нем такой анекдот, вернее, вполне правдивая история, в которой и вырисовывался весь Вася.

Возили мужики из леса бревна. Во время остановок полозья саней пристывали к обледеневшей колее, и лошадям не под силу было оторвать их, сдвинуть с места. В таких случаях возчику полагалось резко толкнуть плечом головяшки саней, и полозья тотчас отскакивали от ледяной корочки на дороге. Все так и делали. Один Вася не мог уразуметь этой премудрости. Он видел, что мужики что-то толкают. Только что? Вася решил, что все дело в лошади, и старательно толкал ее в бок то одним плечом, то другим, а то и изо всех сил раскачивал ее, ухвываясь за гуж и чересседельник.

Числились за ним и другие, похожие на эту, истории. И глаз ему лошадь хвостом выстегнула, отчего и в армию служить его не взяли. Последнее, что я о нем слышал, это о его неудачных, позорных сватовствах к мест-

ным невестам. И вот этот Вася стоит передо мной вполне довольный и благополучный.

— Как поживаешь, Василий? — спросил я.

— А не жалуясь, — с легким вызовом ответил он, заметив, видимо, что я разглядываю его с удивлением.

Помолчали.

— Желаю вам здоровья да всякой удачи. И разговору вашему мешать не буду. Пошел я. Если что, я всегда в деревне, — проговорил Вася и, похуже, донельзя довольный собой за то, что вел себя так благородно и культурно, не кланяясь и не прощаясь вышел из избы. Мать проводила его долгой задумчивой улыбкой.

— Вот это да! — не удержался я. — Был мужик посмешищем, а стал чуть не апостолом. Как это случилось?

— А ты как думал? — подхватила мать. — Думал, что все тут только глупеют? Не-ет, братец мой. Теперь и Васю все уважают. И называют не иначе, как по имени-отчеству. Он и от тебя, городского да ученого, этого ждал, а не дождался — вот и разговаривать с тобой не пожелал. А так-то он стал разговорчивый. О доброте в людских отношениях любит порассуждать, если слушают его и не смеются.

— Но почему он переменялся-то так? Неужели тоже оттого, что колхоз стал покрепче да побогаче?

— Не-ет, тут другое. — И мать приготовилась к обстоятельному рассказу.

— Не сегодня и не вчера, а в самую лихую пору на ноги он стал подниматься. Жена его в люди вывела. Да не кто-нибудь из начальников или городских ученых людей, а простая деревенская баба. Помнишь, сколько раз задумывал он жениться, а наши девки от евонных сватов убегали, да еще и вслед им плевали? Многих он тут обошел, на небольно-то баских и зѳрился, а все равно везде ему отказ и обида. А потом пересуды да смехи. А ведь если по-честному-то разобраться — ничего плохого в парне не было: работающий, послушный, не пьяница. Одна беда — кривой. Вот и подумай, куда ему было деться и как дальше жить? Мать умерла. Бобылем куковать, хозяйство вести, печи топить да щи варить парню не с руки. Вот и надоумил его, видно, умный человек ехать в замощские деревни, что за клюквенными Журавлишными болотами — помнишь ведь их? Совсем негодная была у этих замощцев земля, болотина да белесая супесь, ничего она не родила. Комбайна вон и то,

говорят, туда не протащить было. Мы в ту пору с пустым трудоводнем концы с концами не сводили, а они-то жили и того хуже. Дак уехал туда Вася на мясоед да вскорости и привез свою кралю. Вся деревня тогда ахнула, разговоров-то! Да что разговоры. Всем взглянуть не терпелось, хоть одним глазком, что за девица на Васю позарилась. А она видит это, понимает, и так это смело, словно давным-давно тут живет, вышла на улицу и всем кланяется, сама первая хороший разговор заводит. Не писаная, конечно, красавица, и одежонка на ней не ахти какая, да ведь и наши девки были тогда не лучше. Только наши-то дуры слепоглазые оказались, а она умница. Поглядели на нее все так-то, и даже старухи задумались. Всем она угодила, каждому нашлось у нее приветливое слово... На ферму сразу пошла работать, в самую грязь, в бескормицу, а скоро слышу — и там ее не нахвалятся. Поначалу-то бабы спрашивали, как, мол, ты решилась за незнакомого да еще за одноглазого замуж идти. А она в ответ тихонько и вполне разумно: годы уходят, женихов нет, бедность. Всю чистую правду говорила. Или другая сторона. Придут бабы на ферму и вот примутся своих мужиков ругать-проклинать кто за что. А она и тут не эдак, а лучше и умнее. Я, говорит, своего Василия Васильевича не хаю, старательный, с темна до темна на работе, да еще и дома норовит пособить. Вина без дела не пьет, не ругается...

Вот с этакой-то женой и воспрянул Вася, на глазах другим человеком начал становиться. У него и в руках-то все живее стало поворачиваться. А тут уж и начальство заметило, что кто же у них труженики-передовики, как не Вася с женой. Так и стал он Василием Васильевичем. И в тяжелые годы больше всех трудовней выработывал и больше всех получал, а потом, когда легчать начало, он и совсем выправился. Теперь у него самолучший дом изо всей деревни и хозяйство крепкое, двор скотины полон, пасака. Да и то надо сказать, что умная баба что хошь из мужика может сделать: и от худого отвести, и в люди вывести. А дурная запросто погубит и самого хорошего да умного.

— У тебя-то как? — мать неожиданно и строго перевела разговор с Васи на меня. Пришлось мне тут крякнуть и сказать, что у меня — ничего, вроде нормально.

— То-то, ничего, — подытожила мать, и я видел, что она не очень-то мне и верит. И еще она была довольна, словно переспорила меня в чем-то важном.

Да-а, матушка следила за женами всех своих сыно-вей, все о них старалась узнать и знала. И нравилось ей в них далеко не все. И разговаривать с ней на такую тему было нелегко, даже боязно. Она всегда оказывалась правой, потому что как-то могла видеть людей насквозь. Могла такое открыть, к примеру, и в моей жене, чего мне лучше бы и не знать, иначе подозревать начнешь и чего доброго разлюбишь.

— Ничего... Значит, похвалиться тебе нечем,— теперь уже осуждающе продолжала она.— И ты при своей благоверной не больно-то возвысился. А у нас, сам видел, из некудышного вроде мужика простая деревенская молодуха порядочного и уважаемого человека сделала. У вас-то в городах есть ли такие примеры?

— Да неужели у вас тут сплошь одно хорошее и ничего плохого нет? — как-то незаметно загорячился я.

— И у нас все есть, — вроде сдалась мать.— Хоть тот же Федот. Напьется, и вот выступает-куролесит по всей деревне. И дома от него белого света не взвидишь.

И в следующие дни мать говорила со мной в таком наступательном тоне, а это было вернейшим признаком, что здоровье ее идет на поправку.

И точно. Скоро она отобрала у меня ухваты, отстранила от печки и принялась орудовать сама.

А вскоре предложила... Что бы ты думал? А сказала, что пора мне ехать домой. И вот ведь как получилось... Причины-то никакой вроде не было, а она... В общем, бродил я как-то по лесу, грибы собирал, ну и пришла пора возвращаться. Вышел я к шоссе, а тут как раз грузовик катит. Проголосовал я. Остановился, взял меня. В кабине молодой красивый парень лет этак восемнадцати-девятнадцати. Надо тебе сказать, что деревенские парни этого возраста теперь ничем не отличаются от городских. Знающие, с любой техникой управляют, потому что с детства на мотоциклах гоняют, и экипированы не хуже горожан.

Едем, значит. И всего-то версты четыре он меня подбрасывал, а разговорились как-то сразу.

— Как,— спрашиваю,— молодежи в деревне живет-ся?

— А никак,— отвечает.

— Как это понять? — удивляюсь. — Заработки хорошие. Жилье молодоженам дают. Что еще надо?

— Это верно,— отвечает парень.— Не только жилье,

а еще и корову в придачу, считай, бесплатно предлагают. Только не берет никто.

— Почему? Ведь раньше построить дом да обзавестись хозяйством, коровой для крестьянина было мечтой всей жизни.

— Нет теперь крестьян,— уверенно так отвечает парень.— Теперь и здесь все рабочие. Пролетариат. Да и кому со скотиной возиться хочется? И кто гарантирует, что опять какой-нибудь запрещающий закон не примут. Обзавелся коровой, а ее предложат сдать через год. Или таким налогом обложат, что сам ее прирежешь. Или кормами не дадут обеспечить... Сколько всего такого было в деревне, как я сам видел и как родители рассказывали,— не перечесть. Ну и не желает никто.

— А жилье?

— Жилье не отберут, но ведь сначала надо жениться, чтобы его получить.

— А за чем дело стало? Или в армии сначала хочешь отслужить?

— Не в армии дело. Жениться не на ком. Взять хотя бы нашу деревню: шесть парней и одна девка.

— Как так? Ведь, помнится, в школе-то мальчишек и девчонок примерно поровну.

— То в школе. А после школы все наши девицы по городам разлетелись.

— Но одна-то, говоришь, осталась.

— А-а, и осталась-то оттого, что в городе ей никуда не устроиться. Никто с ней и не гуляет. Нет невест, да и это не пара.

— А как же вы, женихи, дальше-то планируете жить?

— И нам в городе место найдется. Отработаю вот свои три года после СПТУ — и уеду. Или после армии сразу...

Когда я рассказал об этом матери, она сердито заговорила:

— Теперь по деревням невесты — одни старухи. Девки молодые сплошь в города уезжают. Там ведь не надо навоз в резиновых сапогах возле скотины месить. Там по асфальтику в модельных туфельках дамочки-то погуливают и кавалеры вокруг них вьются. А от наших фермой пахнет, ни баня, ни одеколон от этого духу не спасают. Вот и бегут девки. А за ними и парни.

— Хорошего мало,— говорю.

— Конечно, мало. Ведь это только подумать, до че-

го дожили: родная сторона не мила стала — бегут; одежду им подай только заграничную, музыку — тоже. Не знаю, отчего уж так они все родное разлюбили? Разве свое-то хуже?

Ну что тут скажешь. Права мать. Да она еще не все и знает. Мы-то тоже в городе на такое глядим и как будто не замечаем. А ведь это нашей сути касается. Думать тут надо и что-то делать, пока не поздно.

Да... А у матери новые причуды. Начала вдруг жаловаться, что старикам одиноким в деревнях уж очень плохо живется. И рассказывает, спрашивает, вернее, помню ли я одну орденоноску, красавицу такую, которую еще перед самой войной сам председатель райисполкома замуж взял, а потом бросил. А я и в самом деле ту женщину хорошо помню. Как сейчас вижу: идет она по деревне, статная, голова поднята высоко... Про нее так и говорили деревенские завистницы: не идет, а хвастает. Да, прекрасная фигура была у нее, как я теперь понимаю. И лицо прекрасное, этакая деревенская русская красота, про которую говорят: «кровь с молоком». И помню, что в начале войны, когда всех мужиков на фронт позабирали, осталась она у нас в деревне за председателя колхоза. И руководила. Но в конторе не сидела, а работала наравне со всеми в поле. Помню, меня она лен теребить учила, пятилетнего. Сноптики связывать учила. И до того в ее руках все ловко получалось. И руки такие слегка полные, сильные, округлые, загорелые... Красивая была женщина.

И вот теперь, рассказывала мать, живет она одна-одинешенька где-то в соседней деревне. Ослепла и оглохла. Добрые люди ей помогают, присматривают, кормят. А дети давно куда-то разъехались и не появляются у родной матери. Советовали ей подать на розыск, чтобы найти и пристыдить деток, а она ни в какую. В дом инвалидов оформляли — тоже не хочет. Где жила весь век, там, говорит, и умру, и ничего мне больше не надо. Мать моя утверждала, что она голодной по несколько дней сидит, потому что и у добрых людей своих забот много. И еще рассказывала, что она, якобы самолично, ходила к ней не раз и судачили они о своих судьбах, пеняли деткам да и властям колхозным, а что толку... Так вот эта самая женщина, бывшая красавица, говорила будто бы так: не будь у нее трудового ордена, давно бы на себя руки наложила, потому что надоело быть в тягость себе и другим, но если это сделает орденоска, то при-

мер плохой для других будет... Ну как, скажи, понять таких людей? И разве заслужили они такую участь? Вот ведь о чем пришлось думать, вместо того чтобы нагуливать жирок в доме отдыха...

Мать, конечно, ее детей проклинает, а потом с чего-то и на меня понесла. И я будто бы такой же, не забочусь о матери. И брат мой с сестрой — тоже. И дальше — хуже. И до того меня доругала, что заявила под конец:

— Поезжай к жене своей городской, чтобы и глаза мои тебя не видели!

Я ее стараюсь успокоить и заверить, что думаем мы о ней, что сама она не хочет к любому из нас переезжать, а она свое:

— Живешь третью неделю, а о семье своей ни разу не вспомнил, словно и нет у тебя ни жены, ни детей.

Видишь, как точно подметила. Я ведь и правда вслух о них не вспоминал.

И провожала она меня с той же, не знаю, может, и напускной, суровостью. Поэтому и прощаться с ней сначала было легко. Но когда отошел я от дома уже порядочно и оглянулся, то увидел, что мать все еще стоит на крыльце и прижимает к лицу край передника. Так и резануло меня тогда по груди, боль такая и тоска подступили к горлу, что хоть обратно беги и забирай ее с собой...

Я и сейчас чувствую на себе этот горький, прощальный взгляд. Да, умная и суровая она у меня старуха, обо всем думает и болеет, а чем я могу ей помочь, чем утешить?

И тогда всю дорогу до разъезда, где на пару минут останавливается мой поезд, одолевали меня эти думы. Ну зачем, скажи на милость, посылала меня она без нужды в райцентр, на центральную колхозную усадьбу? Или на свиноферму к Федоту? И вообще погулять по деревне? Чтобы я увидел, что везде много новостроек? Что к райцентру проложена асфальтированная дорога? Что люди стали больше зарабатывать и лучше жить? Так все это я в общем-то знал. Неужели она рассчитывала, что все это меня поразит и я перееду в деревню? Но это уж было бы не серьезно. Не нужен я деревне такой, теперешний, только под ногами там буду мешаться. И она, должно быть, это отлично понимала. И все же без шуток советовала подумать о должности в колхозе... Или она все еще печется обо мне, как о ма-

лыше, и хочет сделать для меня как лучше? Или одной ей скучновато? Не знаю. Не перестаю думать об этом, но так ни до чего определенного и не додумался.

Шел я тогда к разъезду самым прямым путем, по меже. И не мог не любоваться: вокруг меня прямо-таки бушевал красный клевер. И таким он был рослым и мощным, с такой силой рвался вверх, раздуваясь в стеблях, перепутываясь и сцепляясь веточками, что я отчетливо слышал над полем сплошной хрусткий шелест. И еще висело над полем сладкое медовое облако, такое плотное, что почти ощущалось на ощупь. Оно словно не давало мне ходу вперед.

«Вот она — родная земля. Здесь все ясно, как ясен этот летний день, — думалось мне. — А день и поле, пусть они и изменчивы, но вечны, как вечны должны быть в них люди. Но как же непросты люди, живущие на этой земле! Впрочем, чем же они непросты?»

Мне показалось, что сейчас вот я пойму и мать, и Федота, и все другое, чрезвычайно важное, связанное с деревней, но еще не до конца осознанное мною. Но тут позади взревел мотоцикл, и, теряя нить мысли, я отпрянул к упругой стенке клевера.

А мотоциклист, поравнявшись со мной, неожиданно резко тормознул, оглянулся на меня, уронил свою машину на землю и, расплываясь в широчайшей улыбке, заорал:

— Здорово! Вот где встретились-то!

Он сграбастал меня и долго мял, а руками его можно было, наверное, удушить и медведя. Это был Иван Смирнов, мой однокашник. Три года сидели мы с ним в семилетке на одной парте. Я слышал, что он так и остался в своем, соседнем с нашим колхозе.

Разговорились не сразу, поначалу только улыбались и толкали друг друга в бока. И от каждого его толчка я болезненно сжимался, а мои тумачи вызывали у него одно веселье. Однако перешли и на разговор о жизни. И снова услышал я жалобы, что уж очень много работы — от темна до темна, что заработок, конечно, неплохой, но тоскливо, беспорядков много, надоедает все, нервишки сдают и радикулит стучит в поясницу. В общем страшно хочется ему чего-то другого, нового, а лучше всего — куда-нибудь уехать поближе к городу...

— Переезжай, конечно! — поддержал я вполне искренне.

— Давно задумываюсь... — еще больше помрачнел Иван.

— У тебя какая специальность?

— На любой машине, какие в нашем районе есть, могу работать. Механиком был в колхозе, а теперь вроде инженера, командую в колхозе всей техникой, четыре бригадира в подчинении, полсотни механизаторов, шоферов, слесарей. День и ночь покоя нет. Сердце стало пошаливать. Подыщи, если можешь, в городе местечко...

— Конечно, найду! А с охотничьими делами у тебя как?

— Да все так же. Если выйду с ружьишком, обязательно что-нибудь перепадет. Везет мне, говорят. Сколько выдр, енотов, зайцев, лисиц перестрелял — не помню. Бывало, едешь ночью на машине или поле пашешь, а они сами под фары выскакивают. В кабине ружьишко вожу обязательно.

— В городе не выскочат.

— Само собой.

— Теперь в городах охотников больше, чем на селе. Как выходной — так все на колеса и к вам...

— Видывал таких. Но ведь они наугад. А я не только все берлоги тут знаю, а и все норы, все выводки. В своей деревне и вокруг покажу тебе все до единого хоть галочки, хоть воробьиные, хоть соловьиные или ястребиные гнезда. Своих деревенских воробьев от залетных сразу отличаю. Не веришь? Мне даже старые охотники завидуют.

Мы помолчали. Я помнил, что у Ивана эти качества прирожденного следопыта проявились еще с детства. И оттого сейчас он меня не удивил. Я просто верил ему и завидовал одновременно.

— Дом, наверное, новый поставил?

— Есть такое дело...

— Огород, сад развел?

— И это есть. Даже пруд на задворках бульдозером вырыл, окультурил, карасей запустил.

— В сметане жарить? — пошутил я.

— И в сметане. Своя. Поедем? Наудим или бредешком разок... И нажарим с чем хочешь, а?

Предложение было заманчивым, но я все же отказался, сославшись на необходимость быть в городе.

— Ну вот, в кои веки встретились, и то нет времени поговорить, — грустно усмехнулся Иван.

Какими-то одному ему ведомыми тропками он в две минуты докатил меня до полустанка. Там уже толпились люди и слышались гудки подходившего поезда.

— Футболом-то еще интересуешься? — вдруг смущенно спросил Иван.

— Бывает... Если сборная... А ты?

— Болею.

— Все за «Спартак»?

— За него.

— Со срывами он играет.

— Нет, он всегда хорош... Поддерживать только надо. А ты видел их? Живых?

— Кого?

— Ну, футболистов-то, спартаковцев?

— Видывал. Всех твоих пижонов видел. И сборную не один раз.

— Вот завидую! Красота-то, наверное, какая! По телевизору, конечно, не то, хоть у меня и цветной. А помнишь, как мы играли? Деревня на деревню?

— Помню. Смех один.

— Конечно, если сравнивать... Только и хорошие моменты получались. До сих пор вижу, как ты у меня мячик с ноги снял. Я-то уж радовался, что верный гол будет, а ты снял...

Мой поезд уже подошел к семафору.

— Значит, я буду искать место механика или что-то в этом роде и напишу. А лучше приезжай-ка ко мне в отпуск, хоть на пару дней загляни. Своими глазами все увидишь,— вспомнил я на прощание о главном.

— Спасибо! Poiщи и напиши, если что,— сказал Иван, прощаясь.

... Всю обратную дорогу думал я, как помочь другу. Даже решил, что и у себя можно поселить его на первое время. Мне казалось, что четыре бригадира и полсотни механизаторов справятся в колхозе и без Ивана.

Без особого труда, через знакомых, нашел я в городе чуть ли не десяток мест, вполне подходящих для него. Мысленно остановился на вакансии механика в пригородном совхозе, расположенном вблизи обширных лесов и охотничьих угодий и где сразу обеспечивали хорошим жильем. Написал Ивану длинное письмо, в котором не поспешил на краски. Но сколько ни ждал, ответа так и не пришло. Только мать недавно сообщила как бы между прочим, что заезжал к ней Иван, вел себя так,

словно в чем-то провинился передо мной, просил передать привет и приглашал на лето в гости...

Да... Назадавали мне деревенские жители загадок. Вот и пойми их...

КРАЙНИЙ ДЕНЬ

1

— Дядя Яков, а дядя Яко-ов! Дома ли? — Колхозный бригадир Настя Удальцова требовательно постучала по резному наличнику. Некогда ей ждать у одного окна да у другого: не отпускнуца городская.

Еще раз постучала, хотя и ни к чему бы это. Яков Иванович — не из рядовых. Бывало, сама не спешила от его окна, сама заводила разговоры, намекая на обстановку в бригаде. Старик все понимал с полуслова, будто только что об этом думал, и советы его всегда были разумные.

«Не заболел ли дедко?» — Встревоженная Настя вошла в просторные пыльные сени и приостановилась у двери. Но и за ними ни звука. Она осторожно шагнула через выщербленный порог.

Яков Иванович лежал на постели, вытянув поверх ватного одеяла длинные узловатые руки. Седая с курчавинкой борода его странно торчала кверху.

«Да что это с ним? — Настя разглядела непривычную бледность на лице старика и напугалась еще больше. — Жив ли?»

Она невольно замерла, сжалась... И тут же отлегло от сердца: расслышала явственное дыхание хозяина дома.

«Не стану будить,— решила вдруг.— Найду замену. Весна его, видно, разморила. Весной старые люди хуже себя чувствуют. Да он и сам прибежит на ферму через полчаса. Это точно. Просто разоспался старый...

...Однако в избе у старика вроде бы и чисто. Большой грязи не накопил...»

Настя уж и не помнила, когда заходила к Якову Ивановичу в последний раз. Он сам, без особых напоминаний исправно выполнял свое дело подвозчика кормов и постоянно был на людях, на виду. Она повернулась к дверям, но что-то заставило ее оглянуться еще раз. И вдруг она почувствовала такую щемящую жалость к старику, словно был он ее отцом. Губы ее дрогнули...

— Кто тут? Кажись, ты, Настасья? — Яков Иванович с трудом поднял голову и сел на постели, прикрываясь одеялом.

— Проспал, проспал, старый пенек, — с конфузливой досадой запричитал он. — Не в первый ли раз проспал на работу? Вот стыдоба-то на седую голову!

— Надо бы соломы побольше подвести сегодня, пока дороги совсем не рухнули. По утреннику бы... — в нерешительности проговорила Настя.

— Это верно, — засуетился было Яков Иванович. — Но я думаю, что трактора нынче надо посылать за соломой. Они разом все приволокут. А я бы клочки за ними подобрал.

— Куда бы лучше, — вздохнула Настя. — Завтра, может, и не проехать будет.

— То-то! Крайний день надо чутять...

— Да ведь трактора-то на ремонте да лес возят. То же надо.

— Надо. А ты своего добивайся.

Настя, призадумавшись, ушла. Яков Иванович позевал и поохал. Подниматься не хотелось. И не то чтобы совсем не хотелось, скорее, наоборот, да разбило все тело какой-то тянущей лечь слабостью, руки-ноги слушаться не желали.

Но он заставил себя. Зашевелился, задвигался порезче и с испугом ощутил, как подступает к сердцу страх... И ноги уж совсем не свои. Эво какого труда стоило выпростать их из-под одеяла и спустить ступни на половик! Неладное что-то...

В окна билась яркая солнечная теплынь. Слепило глаза. Было жарко и душно. Даже мутило.

— Да что же это я? Все сроки провалялся-продрых, а ровно и не выспался, — подивился на себя Яков Иванович. Привычная утренняя бодрость никак не приходила.

— Размяться надо, — приказал он себе. — Как это в солдатах-то делали? Пра-аз!

Он вскинул потяжелевшие, слабые руки, потянулся, замер на мгновение. И вдруг вскрикнул чужим голосом, начал задыхаться. Боль, острая, колющая в самое сердце, пронзила его. Он ударился грудью о край кровати и сполз на пол.

«Вот она... Кажись, последнее утро мое... Дожил до краешка, — отрывисто пронеслось в мозгу. И меркло все перед глазами. Даже полыхающие светом окна нача-

ли сжиматься и чернеть от краев к середине.— Вот и вовсе темно... Не все ли?..»

Но всю жизнь безотказно работавшее сердце, допустив минутный сбой, словно бы устыдилось, судорожно рванулось и, напрягшись, принялось вроде бы еще усерднее и поспешнее делать свое дело. Яков Иванович прислушался к нему и подумал, даже представил себе, что вот так же умная лошадь, почуяв, что непомерно тяжелый и давно надоевший ей воз вот-вот безнадежно увязнет в топком овражке, поначалу с обидой останавливается, но потом делает полшага назад и вдруг, изогнувшись стальной пружиной, выпячивает в отчаянии грудь и, задыхаясь, вывозит телегу на сухое место.

Глаза Якова Ивановича снова различили свет.

«Может, и ничего,— подумал он.— Ведь у лошадей-то сколько раз такое случается.— Но тут же чувство неотвратимой обреченности начало заполнять его.— Сердце — не лошадь. И сам ты стар. Хорошо, что до таких лет дожил... А прихватит снова вот так — и крышка. Надо что-то делать...»

Во рту пересохло. Он кое-как дотянулся до чайника, оставленного на краю стола, прильнул губами к кислотоватому медному носику. Тяжелый чайник ходуном ходил в дрожащей от напряжения руке, носик его больно царапал десны. Остывший вчерашний кипяток показался горьким, но от него все же полегчало. Только пот обильно струился со лба.

«Это, поди, инфаркт,— тоскливо вспомнил он о ставшей популярной болезни.— Или просто приступ? Все равно хорошего мало. Умер бы вот сейчас — и не стоять бы у гроба родным... Люди, конечно, и телеграмму Анатолию подадут, и в трест ему позвонят. Председатель первым примется бегать, все раскрутит на полную катушку, в этом сомневаться не приходится. Но успеет ли сын приехать из своего города? Триста верст — не шутка. А распутица вот-вот ударит. Не успеть ему, хоть он там и главный механик, и любую машину сам может вести. Да и не дома, в командировке может оказаться сын, по всей области его гоняют, а то и в саму Москву шлют...»

Яков Иванович размышлял о своих похоронах хоть и с грустью, но вдумчиво и спокойно, словно и хоронить-то надо будет не его. Привык к таким мыслям. Честно говоря, он давно ждал своего часа, знал, что все ближе конец и ничего тут не поделаешь. Но не было в его душе

особого страха. Тоска только, тоска и немножко обида бог весть на кого. Вот и на сына начал он сейчас сердиться, да и думал-то почти только о нем...

Один сын у Якова Ивановича, ученый и при важном деле. И о ком же было думать старику, как не о нем, кем и гордиться, если не таким сыном. Яков Иванович втайне и гордился. Но и поругивал сына, не все понимая в его жизни. В такие минуты он волновался, всплескивал руками, порывисто ходил из угла в угол и разговаривал сам с собою вслух... Вот и сейчас не заметил, как пришлепал босыми ногами в передний угол и развернулся к порогу...

«А ведь ходить-то — могу! — удивился он и ругнул уже себя за слабость и растерянность.— Вишь, до чего нюни распустил! Похороны померещились! А еще солдат, орденоседец...»

Прохлада крашенных половиц была приятна и делала ноги легкими. Дышалось, кажется, уже просторнее и тянуло на улицу, к делу. «Солому-то подвезти обещал... Настя надеется... Только вот не позавтракал... Ну да после работы аппетит лучше будет».

2

Дом Якова Ивановича стоит не в ряду других, хотя и посредине деревни, а как бы попятившись к гумнам. Оттого перед домом просторный палисад, огороженный аккуратным штакетником. Штакетник бесплатно привезли с колхозной пилорамы после того как присвоили Якову Ивановичу на общем собрании неслыханное ранее звание: «почетный колхозник». После постановили, что дровами и электричеством дом Березина будет снабжаться тоже за счет колхоза, что в кино Яков Иванович может ходить бесплатно хоть каждый день.

Якова Ивановича поначалу-то оторопь взяла. За что ему это, за какие заслуги? Однако вспомнились речи колхозного начальства, все добрые слова, сказанные ему в тот памятный вечер, и выходило, что справедливо говорили люди, хоть и непривычно это было. Не раз заново перебирал старик в памяти свою жизнь. Много пота было пролито на этой земельке. Да так и надо сказать, что каждый шаг был полит потом. Иные шаги и кровью...

...На крыльце у Якова Ивановича закружилась голова, замельтешили перед глазами мякинно-золотые колючие искорки. Ухватился обеими руками за перила.

«Неужто не работник сегодня? — сокрушенно спрашивал он сам себя, как бы проверяя, много ли у него сейчас силенок, оклемается ли он сам.— А может, за фельдшерницей послать? Со здоровьем шутки плохи. Увижу вот первого, кто по деревне пойдет, крикну и накажу, чтобы пришла медичка...»

Хоть и нечасто, но люди мимо проходили, кланялись Якову Ивановичу, а он вроде и не замечал...

Солнце грело исправно, но от земли еще тянуло сырым холодом, налетал зябкий пронизывающий ветерок. Пахло залежалыми сугробами и плесенью первых проталин. Яков Иванович слышал, как плотный и ядреный от весенних запахов воздух с шумом врывается в легкие, отчего глухо, но как-то приятно ломило в груди. Он жмурился и тихо ахал, потирая непокрытую лысую голову, подставленную солнцу.

Где-то в дальнем уголке мозга билась слабая мысль, словно жилка пульсировала, что надо бы все же идти по наряду, или, на худой конец, как-то предупредить Настю. Но даже с места сдвинуться не было сил.

— Да что я им? Подохнуть, что ли, из-за ихней соломы?! — вдруг слабо ругнулся он. Но ругнулся так, по привычке. Никто, услышь от Якова Ивановича такое, не принял бы ни одного его слова всерьез.

Яков Иванович разлепил глаза, обвел тусклым взглядом свое подзапущенное подворье. Неожиданно память бросила его далеко-далеко в прошлое, когда он, совсем еще молодой, тощий, но быстрый на ногу и на поступки, возвращался в свою деревню победителем с гражданской. По застуженным коленям били полы истертой шинелишки, но легкими, как перышки, казались полупудовые трофейные ботинки с обмотками. Голову плотно облежала жесткого сукна буденовка, с которой будто рвалась вперед разлапистая и задорная малиновая звезда.

Поначалу немало рассказывал красноармеец Березин мужикам про то, как били буржуев и белых, как добывали у кулаков излишки хлеба, и про будущую светлую жизнь, и про неизбежную и совсем близкую мировую революцию. Слушали его мужики, крикали, думая большей частью о своем.

Скоро неудобные в крестьянской жизни ботинки на подошве почти вершковой толщины и вековой прочности обменял Березин на стоптанные валенки, подшитые стегаными подметками. В них было и привычнее и ловчее хоть в лесу по снегу, хоть в хлеву по хозяйству. Буде-

новка тоже свыклась с нижним ящиком обветшалого комода. Из старого тулупа удалось сшить и треух, и рукавицы, и еще на полушубок осталось.

Дали Березину земельный надел, и началась крестьянская работа, радостная и выматывающая до упаду.

Перво-наперво выходил раненого на гражданской войне коня, выданного ему по ордеру как демобилизованному красноармейцу и бедняку. А потом вместе с ним возили на поле навоз, пахали, боронили и со святой надеждой, переполняющей грудь, ждали урожая. И так же согласно работала и думала вместе с ним его молодая жена Груша, с которой хорошо, ладно и тепло было Березину и на своем полюшке, и на своем лужке, и дома за самоваром, и в теплой постели...

Так вместе они жили и думали, рассчитывая свою жизнь по неделям, месяцам, годам. Надо было — никак не обойтись без того настоящему крестьянину — иметь и пару сараев, и житницу, и овин с ригой. А насчет сенок-молотилок и не загадывали: по их достатку это была несбыточная мечта. Да и дом, рубленный еще дедом, отстоял свое, промерзал по зимам чуть не каждым пазом. Круто надо было поправлять хозяйство, чтобы крепко стоять на земле обеими ногами.

Но как ни раскидывал он умом, сколько ни считал да пересчитывал, видел, что не по силам все это одному. Не навозить ему столько лесу и не выручить столько денег, чтобы нанять плотницкую артель да еще и кормить ее не одно лето. Что-то неладное чувствовал он в такой жизни, надо было прислоняться к какой-то надежной опоре. Только не было ее, ищи не ищи.

Но вскоре оказалось, что жить можно и без собственного овина. Пришла пора колхозов. Не первым и не последним записывался Яков Иванович в артель, а после нелегких размышлений, вместе с надежным народом. И как ни страшились поначалу, вскоре привыкли к коллективной работе и трудились на совесть, и новый зажиток стал приходить.

Но был в жизни Якова Ивановича один нелегкий случай. Где-то в конце двадцатых годов его как воина Рабоче-Крестьянской Красной Армии и грамотного середняка, назначили председателем сельсовета. В первый день в сельсоветской конторе, бывшем кулацком пятистенке, принял он, как умел, дела у полуслеплого старичка, бывшего народного учителя, выслушал наставления уполномоченного. Домой пришел уже затемно. Со слож-

ным настроением шел, и гордость, и тревога одолевали. А Груша встретила его зареванная, дрожит вся, словно напугал ее кто до смерти.

— Овцы-то нашей... нету! Не пришла с выгона! А в загороде кто-то вот шарашится, вот шарашится, по борздам ползает... Камнем в меня кинули, чуть не убили!

— Да кто? Кто?! — не в шутку испугался за нее тогда Яков Иванович.

— Не знаю... Не видела... Домой я кинулась и дверь на засов... Тебя все ждала... Ой, неспроста все это! И пошто ты в сельсовет согласился? Ой, не к добру! Боюсь я! — причитала и вскрикивала Груша, прижимаясь к нему.

Яков Иванович оттолкнул тогда ее и обругал, но потом все же задумался. И впрямь, к добру ли? Это на войне враг виднее: он на тебя с одной стороны прет, а ты на него с другой, линия фронта имелась. А тут? С какой стороны ждать удара, в какое время и от кого? А пошаливали в округе немало. Иные убийства активистов и расследовать не удавалось.

Плохо спал в ту ночь Яков Иванович. Чудилось, ходит кто-то во тьме близ избы, крыльцо вроде поскрипывает, за двором что-то трещит. А как вызнялось утро, как открыл он дверь, так и увидел, что все крыльцо загажено, а к дверному стояку бумажка прилеплена. Прочел корявые буквы: «Пропала овца — пропадет и не овца». И совсем не по себе ему стало...

Никому ничего не сказал тогда Яков Иванович. И жене велел молчать. Упрямо пошел в сельсовет. Однако и там не знал, за что взяться, душу теснили недобрые предчувствия. И отказаться от всего хотелось и на смех выставлять себя было нельзя: а вдруг его просто запугивают, испытывают на твердость.

Предчувствия были к беде. К полудню прибежал к сельсовету подпасок, колотится весь, плачет. Не вдруг и добился от него Яков Иванович, что на табун деревенских лошадей напали разбойники, что одежда на них вывернута наизнанку, все как один в белых подштанниках, а в зубах длинные кривые ножики. Выскочили они из чащи, только лошадей не угнали, а поймали смирного мерина, принадлежавшего Якову Ивановичу, и покалечили ему ноги.

Добрых полдня вел своего коня Яков Иванович из недалекого перелеска. Стонал и ржал мерин, скаля желтые зубы, хромая на все четыре ноги, приседая и вздра-

гивая кожей. Второй раз пострадал добрый конь. А что сулит судьба самому Якову Ивановичу?

Ходил он с мужиками облавой по лесу, осмотрели они все подозрительные места. Никого не нашли. Да и не больно храбро ходили: пулю из-за куста никто не хотел себе схлопотать. Да и чего простым людям отдуваться, если тронули только председательского коня? У председателя власть, пусть себя проявит.

Сильно потел и краснел Яков Иванович, когда отказывался перед уполномоченным от председательского портфеля. «Сам не боюсь, а хозяйство порушат, жену подсторожат и что-нибудь напаскудят», — только и повторял в оправдание. Стыдили его и позорными словами обзывали, но настоял он на своем. Не мог он даже представить себе, чтобы с его Грушей что-нибудь сделали. А ждать можно было всего... Она-то в чем виновата?

В сельсовет прислали незнакомого человека из города, строгого, в кожаной тужурке и с наганом. Шалить в округе вроде перестали, а стыд смывать и мерина выхаживать Якову Ивановичу пришлось долго. Неловко было перед народом, не успокаивала и поговорка, что-де один бог без греха. Забывался только в работе.

В последние предвоенные годы стал Яков Иванович Березин лучшим в колхозе бригадиром-хлеборобом. Ездил со снопами ржи и льна на главную выставку в Москву, привез оттуда медаль на зеленой ленточке. Радостно тогда дышалось и работалось. С песнями, с азартом выходили люди на поля. Трудодень получался полноценный.

Перед самой войной, поздненько уже для Груши и Якова Ивановича, родился у них сын. Назвали его входящим тогда в моду именем Анатолий.

3

«И чего бы ему тут не жить?» — снова задавал себе этот вопрос Яков Иванович. И сына он спрашивал об этом напрямую не раз. А сын то усмехался в ответ невесело, то бросал коротко, что к новому месту, мол, привык, что он там очень нужен. А в последнюю их встречу так и вовсе сердито ответил:

— А чего я здесь не видел?

«А многого не видел да разглядеть не желал. И думать себя не заставлял, как бы он был теперь тут к месту. С новым-то председателем на пару. И одногодки, считай, и с образованием оба...

Надо будет вполне категорически поставить перед ним этот вопрос,— решил Яков Иванович.— Дождаться бы только. Не позволю больше шутки шутить с отцом да отмалчиваться. Не дело это — родительское гнездо рушить... И землю бросать, людей, деревню, места, где вырос... Что ж получится, если все этак?»

Знал, конечно, Яков Иванович, что не один его сын «этак». Большинство одногодков Анатолия ушло из родных деревень. А из невест одна Настя осталась...

«Человеку надо с детства свой край полюбить, сердцем к нему прирасти, чтобы уйти из него было невозможно. А что хорошего видел тут сын, что бы полюбить с детства? Много ли перепало ему от родительской ласки да мальчишеской радости? Считаю, что пустяк. Не думал я об этом по-настоящему, не до того было. Ну, значит, и сам виноват, что упустил это из виду, полагая, что привьется сыну все само собой, как когда-то и мне привилось. Да и понять многое стало трудно. Раньше-то как пелось?»

На чужой стороншке
Поклонишься воронушке:
Ты скажи, воронушка,
Не с нашей ли стороншки?»

Вот до чего горька была людям чужбина. Рвались в родные-то места, ничем было не удержать. А в последние годы? Словно везде стало народу хорошо и привольно, кроме своих деревень. Будто палкой их отсюда гонят. В чем же причина-то? В жизни плохой? Нет, навряд ли. И вольнее в деревне стало, и не беднее, а будто бы никто в нее назад не рвется. Вот и сын... А может, сам я отвадил его от дома? Сам подрубил корень?» — размышлял Яков Иванович.

Нет, не гнал Яков Иванович Березин сына из деревни, не агитировал за город. Работать везде надо. Ну было частенько такое, когда мечталось, чтобы выучился сын, не копался бы весь век в земле да наземь, известным стал бы человеком, чтобы газеты о нем писали. Вот-де сын простого землепашца, а стал артистом, со сцены поет. Или в летчики вышел, в полярники-моряки. В полную меру хотелось гордиться ему сыном, все бы отдал, чтобы вышел он в люди, потому что свою-то жизнь уж не изменишь. Видно, это и чувствовал Анатолий. И вот сох да сох родной корень, а теперь, видно, и насовсем отмер. А внуки Якова Ивановича и вовсе не будут знать изначального деревенского гнезда. Это внуки почетного-то колхозника!

Не раз и не два упрекал себя Яков Иванович, что только теперь, с великим опозданием, когда уже ничего, пожалуй, не поправишь, начал он думать о судьбе сына. Да и было за что себя корить. Как у него сразу повелось? Здоров, сыт, одет сын — и ладно. Остальное само образуется. Пусть растет, как все. А как ему дальше по жизни идти — сама жизнь и укажет. Вот она и указала, распорядилась по-своему, будто и не было рядом отца, будто и не любил он свое единственное дитя. Конечно, если бы Груша была жива, может, и все иначе было бы...

Навсегда запомнил Яков Иванович, как провожала она его на фронт. Долго бежала она за телегой, на которой увозили Якова Ивановича с товарищами в военкомат. Горькая была картина. В голос редела Груша, словно чуяло ее сердце, что видит она мужа в последний раз...

Все фронтовые годы думал Яков Иванович о своих домашних: не без хлеба ли, в тепле ли, не пристала ли хворь и как подрастает сынишка, похожим ли становится на него и что из него получится в жизни. Писем ждал каждый день, и была в них самой драгоценной для него последняя страничка, на которой чернильным карандашом были обведены растопыренные пальчики сыновней ладошки. И, вскрывая очередное письмо, Яков Иванович каждый раз подолгу всматривался в неровные линии, прикидывая в уме, намного ли выросла у сына рука, стала ли крепче, и теплел душой...

Воевал он исправно и осмотрительно. Уж не молодые были у него годы, чтобы геройствовать напропалую. Однако домой возвращался не в полной сохранности. Мелкие царапины не в счет, их и на сенокосе, и в лесу насобираешь запросто. Хуже было то, что левая рука, пробитая пулей в предплечье, не сгибалась в локте, а ладонь скрючило и вывернуло в сторону.

Не особенно болела рука, разве что к перемене погоды ныла, и, когда врачи выносили ему свой приговор — демобилизовать вчистую и выдать проходное свидетельство до дому, он еще по-солдатски браво возразил:

— На такой-то руке способней винтовку держать. Не гнется, не дрожит. Как с упора могу бить гадов.

Врачи только улыбались в ответ. Они не первого такого видели, кто просился воевать до полной победы. Всем было ясно, что до конца войны недалеко, бои гремели уже по заграничным землям.

Второй раз возвращался Яков Иванович с войны победителем. Была ранняя весна. Только что почернели и обмякли снежные дороги, над ними перелетали с места на место грачи, громко приветствуя родные места. И радостно было вчерашнему солдату считать шаги до дома по хрусткому поблескивающему насту.

На долгой дороге от южного госпиталя встречал он к себе полное уважение, и с кем бы ни заговаривал, слышал в ответ надежду на скорый конец войны и сам радовался вместе с ними, забывая про свое увечье. А вот у родной околицы схватила его за сердце тревога, словно потерял он по дороге что-то очень дорогое. А тут еще двое парнишек, уже порядочных возрастом, — Яков Иванович остановился, чтобы разглядеть и признать их, — неожиданно отвернулись от него пугливо, побежали и скрылись в ближней избе, прихлопнув за собой дверь.

«Ну, герои, своих испугались», — невесело подумал он, все сильнее предчувствуя что-то недоброе.

У колодца, совсем уже рядом со своим домом, увидел знакомую старуху. Та глянула на него, выронила из рук бадейку, залила водой валенки да и сойти с мокрого места будто забыла.

— Здорово, бабка! Признаешь своего бригадира? Как вы тут все живы-здоровы? — остановился перед нею Яков Иванович. — Вишь, катанки-то залила, примерзнут — порвать можешь.

— Катанки-то что-о, Яша-а, — горестно протянула старуха.

— Ноги застудишь, а что теперь важнее здоровья, когда победа полная рядом?! — Якову Ивановичу хотелось поговорить со старухой, но та потерянно молчала.

— Мои-то дома?

— Нету твоих... — не сразу залепетала старуха, подыскивая слова. — Не дома... Иди к девушкам Кобылиным... Там уж...

— Да что стряслось-то?

— Иди-иди, родимый... — Старуха поспешно зачерпнула новой воды и, не оглядываясь, посеменила от колодца.

Прямо по целине, увязая в жестких весенних сугробах, кинулся Яков Иванович к своей избе и сразу заметил, что дорожку к ней давно не чистили, крыльцо присыпано снегом и замок на дверях, чужой вроде замок...

Как добежал до избы Кобылиных — не помнил, распахнул без стука двери, встал на пороге, ища глазами и не находя своих. Мальчонка лет пяти, испугавшись, скатился с лавки и быстро пополз на четвереньках под кровать, мелькая голыми пятками.

— Толюшка, сынок! — дрогнувшим голосом позвал Яков Иванович, вдруг догадавшись, кто это. Но сын только диковато глянул на него округлившимися глазами и скрылся под кроватью.

— Мама где? Где мамка-то твоя? — ласково и торопливо выпрашивал Яков Иванович, присев на корточки и поглаживая давно не стриженную головку сына. А сын пугливо отворачивался и высвобождался из его рук. — Ну, не бойся. Где твоя мамка? Скажи скорее.

— Мамку речка унесла, — наконец тихо ответил мальчишка. — Она белье пошла полоскать, и речка ее унесла.

Тихие и набожные старые девы Кобылины долго рассказывали Якову Ивановичу, как дней десять тому назад повезла Груша на санках белье к проруби, да не разглядела, видно, свежей промоины под корочкой снега и провалилась. Крика ее никто не слышал, помочь было некому. Да, может, и сразу ее под лед затащило. Сынок только бегал по берегу, он все и видел, потому что прибежал в деревню, зашелся весь от плача и одно кричит: «Там мама! Там мама!» И на реку показывает, на то место, где белье полощут. Сбежались люди, промоину увидели. И саночки с бельем рядом ко льду пристыли... Так и схоронить не удалось покойницу. Один только платок и остался каким-то дивом возле саночек...

Почернел лицом и сгорбился Яков Иванович. Крутил одну самокрутку за другой и молчал. А потом раздобыл самогонки и запил, пока не кончилась самогонка. Ни работать не хотелось, ни жить. Думалось только: «Вот за что воевал, вот пришел к какой победе! Может, лучше бы погибнуть там, как тысячи других, и ни о чем не ведавать и не знать, как вот теперь...»

Может, и опустился бы, пропал бы как человек Яков Иванович от горькой той безысходности, но, оказалось, не убило в нем горе отцовского долга и мужицкого уважения к себе как к солдату-победителю. Да и сын одним видом своим безмолвно, но властно приказывал выстоять и жить. И Яков Иванович начал жить дальше. Сына оставил на первое время у старушек Кобылиных,

а сам ушел в свою избу. Однако все хозяйство старух держалось теперь на его мужицком догляде.

Когда же взял сына к себе, то часто рассказывал ему сказки, какие помнил, или военные истории с обязательным благополучным исходом. Гулял с ним, но уже с тех лет заметил, что не любит сын ни реку, ни деревню, дичится и думает о чем-то своем.

4

Сын подрастал, становился живым мальчишкой. Был только что рядом — и нет его. В школе отметки у сына хорошие, учительница его хвалила. Двое их отличников-то было из всей деревни — он да Настя Удальцова. Анатолий чуть постарше, хотя в одном классе сидели. И ладили они меж собой славно. Едва сядет Анатолий домашние задачки решать, как у него уж все готово. Глянет Яков Иванович в тетрадку — столбики ровно написаны. Не успеет похвалить — он из-за стола.

— Куда? — спрашивал Яков Иванович нестрого.

— А к Насте. Ей, поди, не решить...

— Ну, валяй, помоги соседке.

Сын бегом за двери, а Яков Иванович слушает, как топают его подшитые валенки по сеним, и задумывается. Ему уже ясно, что если забежит сын к Удальцовым, если не пробалуется с приятелями на улице, то голодным не вернется. Евдокия Удальцова, мать Настина, обязательно его накормит, чаем напоит. Без этого не отпустит.

Скучновато и голодно ватно живется ребятам зимой, особенно в пору метельную. В кладовках давно уже подчищены все припасы повкуснее, а в бобыльей избе Якова Ивановича — и подавно. Надо ждать осени, урожая. Это взрослым да старым. А детишкам, хоть и не щедра здешняя природа, с ранней весны дарит она многие забавы и лакомства. Сразу после водополицы, едва начнут спадать мутные разливы, выбегают ребячьи ватаги на заливные луга. Грязновато еще тут от свежего ила, и ноги в сырости стынут, но много наносит и оставляет здесь река всякой всячины, пока не скроет все это собой скорая на рост трава. И среди щепок да палок, среди прочего мусора попадают тут на каждом шагу белые коренья, похожие на колбаски, перевязанные нитками. Оботрешь корень, надкусишь, и хоть будет поскрипывать на зубах мелкий речной песочек — не выплюнешь. Сладок корень и вкусен, а пуще всего — большая сыт-

ность в нем. Но тут надо успевать вовремя: после первого же солнечного дня он засыхает и буреет. Тогда его и ко рту поднести не захочешь.

Но мелеет река, и уже не сплошной у нее разлив, а только старицы полны водой, всякие ямки, впадины, борозды. И начинают беспокоиться в этих мелеющих лужах забредшие сюда с большой мутной водой шурята, налимы и другая мелкая рыба. И тут надо не зевать, если ни с чем не хочешь оказаться. Чем угодно лови: сооруди острогу, привязавши к палке поломанную вилку, корзину плотную с собой тащи, а нет — так снимай штаны либо рубаху, завязывай в узлы рукава и штанины — и такая получится рыболовецкая снасть, что только забрасывать ее умей. А прозеваешь, не сделаешь вовремя разведку и не примешь меры — к самым глубоким и уловистым ямам и впадинам прибегут в свободный час большие парни с настоящим бреднем, а то и мужики в азарт войдут. Эти все подчистую выгребут, эти умеют... А зато как приятно потом жарить нежных, словно из травы скрученных шурят на вице над теплинкой, разожженной тут же на первом бугорке! Вкус-то какой небывалый — просто объедение! В домашней печи никогда такого вкуса не будет.

Вспоминает об этом Яков Иванович и во рту у него тот самый вкус шуренка, поджаренного на теплинке у самой воды...

Недолго кормят заливные луга. Зато вскоре по песчаным холмикам, вдоль насыпей и по склонам оврагов начинают подниматься сочные оранжевые пestyши. Эти растут долго, пока не распушится в цветок их твердая зеленая головка, растут слой за слоем, как грибы. Позанимаешься с ними полчаса — и про обед забудешь.

Живучая штуковина — пestyш! Но и он не вечен. Прямой его стебелек с колечками жестких чешуек вдруг за одну ночь превращается в пушистую елочку, совершенно зеленую, с длинными разлапистыми сучочками. И теперь он уже никуда не годится, его даже скотина не ест.

Когда Настя Удальцова выучилась на агронома, то, к великому удивлению всей деревни, объявила, что пestyш — это обыкновенный хвощ и для полей он злостный сорняк, с которым надо бороться. Что растет хвощ только на кислой и оттого неурожайной земле и что такую землю надо известковать. Настя же и организовала это

новое дело: мужики возили на поля серую, похожую на толченый мел муку и разбрасывали ее с телег лопатами. Пестышей после этого и вправду поубавилось, но сама агрономка и по сей день не может мимо них пройти, обязательно нащиплет горстку, ест и посмеивается.

А уж когда повсюду поспрет настоящая трава, тогда и кислый щавель раскинет свои мясистые листья с красноголовыми столбиками посередине, вдоль тропок и дорог вырастут сладкие титюшки, а в местах повлажнее, среди кустов — дудки, волосянки, петухи! Сорвешь их, снимешь ленточками твердую кожицу — в руках останется сахарная трубочка, прохладная в любую погоду, вкусная и пряная. Вкуснее и лучше всего, конечно, петухи. Разлапистые они и колючие, но сердцевина в них на удивление нежная и сладкая, что твоя пастила...

«А рыба из омутов на удочки! А грибная пора! Сам себя забываешь, бродя по речкам и чащобам. Каждый куст тебя летом накормит и ночевать пустит. Разве можно деревенскому человеку забыть все это и не любить до последнего дня? — снова спрашивает себя Яков Иванович.— Да вроде бы и Анатолий все это помнит и хранит в душе, потому что любит побродить по окрестностям, по местам детства. Только молчит он об этом. Есть в нем что-то посильнее этой любви, такое, что увело его из деревни и руководит им до сих пор. Значит, сильно, долго и убедительно уговаривал его кто-то уехать из родных мест. Но кто?»

5

Яков Иванович сидел и сидел на крыльце, захваченный воспоминаниями. Солнце пригревало голову, свежий ветерок обдувал лицо, и перед прижмуренными глазами стояли не потемневшие умирающие сугробы, а пестрый луг, полный дурманящих запахов трав и цветов.

Сильные травы растут в здешних приречных лугах. По пояс — это где угодно, а во многих местах — и во весь человеческий рост. Медленно, осторожно ходят люди по таким лугам, потому что сладко пьянит их медово-горький аромат, и неудержимо тянет человека забиться и окунуться в это духмяное царство, слиться с ним и хотя бы на время почувствовать себя сродни этим цветам и травам, сочным и чистым, мощно рвущимся в извечном порыве к влажно-белым облакам, к горячему живительному солнцу.

Вот по этим приречным лугам жарким летним днем и шел Яков Иванович, прикидывая в уме, далеко ли до сенокоса. Заодно и сына хотелось встретить. Ушел в тот день Анатолий в школу в последний раз — получить свидетельство об окончании семилетки. Хотелось похвалить его, поздравить. И не в избе, а здесь вот, на приволье, откуда далеко и много видно, где хорошо думается и каждое слово звучит с большим значением и смыслом. И хотелось подумать вместе с сыном, как ему жить дальше.

Долго бродил в лугах Яков Иванович, оглядывая все пригорки и низины, ошупывая то одну, то другую травку, проверяя, налилась ли она и много ли сил накопит еще. Солнце уже перевалило через зенит. Давно бы пора появиться сыну: не уроки ведь сегодня, а одна торжественная часть. И другой дорогой не мог идти Анатолий, нет от школы к деревне другой дороги.

От жары Яков Иванович спустился к реке, поплескал в лицо и на грудь и, не утираясь, пошел в верху берега, поросшего редким кустарником. Но что это? Неужто прислышалось? Нет, точно, это сыновний голос, хотя и непривычный, ласковый какой-то, с хрипотцой даже. Словно оробел сын отчего-то. Яков Иванович припал к траве и раздвинул нижние ветки кустов.

Внизу, на прогретых солнцем валунах сидели его сын и Настя. На приличном расстоянии сидели они друг от друга, а на лицах непонятные улыбки и щеки полыхают жаром. И глядят то друг на друга, то под ноги, на воду.

Хотел было окликнуть их Яков Иванович, объявиться и подойти, да отчего-то застеснялся, опустил глаза к земле. Да и в самом деле, совсем уж большие ребята, чего им мешать. В колхозе все лето работают, сами себя, считай, кормят, самостоятельные. И разговор у них сейчас, видно, такой, что посторонним слышать не следует. Собрался было Яков Иванович дать потихоньку задний ход, но тут поднялись ребята с камней, протянули друг другу руки.

«Ишь как у них? Договорились о чем-то...» — подумалось Якову Ивановичу, и он, чтобы не выдать себя, затаился.

— А можно поцеловать тебя, Настя? — донесся до него срывающийся голос сына.

— Не надо,— жалобно протянула Настя, а сама и руки опустила.

«Вон у них что!» — повторял про себя Яков Иванович, все быстрее уходя от берега, пригибаясь к траве и по-юношески волнуясь. Теперь уж напрямки двинулся он к дому, на разговор с сыном в лугах рассчитывать больше не приходилось. Но надо же случиться такому, что ждала его в эти минуты новая встреча, да еще какая...

Уж и до гумен было рукой подать, уж и трава близ деревни становилась ниже и реже, когда вышла к нему навстречу Евдокия. Может, тоже хотела дочку встретить, может, просто гуляла. Только задумчивая шла, пасмурная. А когда подошла — упала перед Яковом Ивановичем на колени и зашептала исступленно:

— Возьми меня, Яша-а... Хоть сейчас бери... Вместе нам судьба жить велит, вместе! Яша-а!

И в слезы. Упала лицом в траву, спина ходуном ходит. Не скоро подняла голову, глаза большущие, черные, слезами омытые, горят, как уголья.

— Ведь давно я люблю тебя, ненаглядного... С девок, еще до свадьбы твоей... И ничего-то ты не знал, не ведал, не чувствовал... И с Иваном я только мучилась, а про тебя думала, Яша-а!

Иван Удальцов уезжал на войну вместе с Яковом Ивановичем, на одной телеге. Развела их фронтная судьба, сгинул Иван без вести...

Опешил Яков Иванович. Не сразу пришли слова:

— Встань, Евдокия, — тихо сказал, и она поднялась послушно и поспешно, не сводя с него глаз.— Поздно нам уж об этом думать,— рассудительно продолжал он.— Вон уж дети наши выучились, женихаться начинают. Как им в глаза-то будем глядеть?

По щекам Евдокии текли слезы, но она молчала. А он говорил ей одно и то же и второй, и третий раз, мучаясь и вздыхая. Только теперь дошло до него, отчего Евдокия на собраниях или просто при встрече всегда глядела на него такими жгучими и покорными глазами, почему подкармливала его сына. Долго же она таилась! Но почему-то неприятно ему было видеть ее исплаканные горящие глаза, тяжело было приблизиться к ней, да и перед другом Иваном было так неловко, что Яков Иванович только развел руками, нахмурился и хотел уж было пойти прочь, как вдруг Евдокия дернула его за рукав, и теперь увидел он в ее глазах не одно неисходное бабье горе, но и еще что-то похожее на страстное

желание отомстить. И он замер, понимая, что сейчас что-то произойдет.

— Глядишь? — во весь голос злобно вскрикнула Евдокия. — Лучше бы и глаз у тебя не было, потому что все равно ничего ты не видел и не видишь!

— Ты к чему это, Евдокия? — поразился он.

— А к тому, что один ты ничего не знаешь, бригадир-руководитель и верный до смерти муженек. Про жену свою, красавицу-утопленницу ничего не знаешь! Она без тебя тут брюхо нагуляла! Ты кровь проливал, а она что делала?! Родить без тебя бог знает от кого собиралась... А ты-то, дурак слепой, на руках ее носил, всю жизнь лелеял ее да холил, змею-распутницу!

— Да ты что!... В своем уме?! — не своим голосом вскричал Яков Иванович, чувствуя, как затрясло его всего, и едва удерживаясь, чтобы не ударить Евдокию.

— А ты у старых девушек Кобылиных спроси! Спроси-и! — выкрикнула она и зарыдала.

— Замолкни! — едва выдохнул Яков Иванович, сжимая кулаки. Он шагнул к ней, замахнулся... А она и без удара упала, зарылась лицом в траву. И только спина судорожно вздрагивала. Время от времени она вскидывала голову, вскрикивала коротко, по-кликунески:

— Прости меня!.. Прости, Яша-а!.. От зависти это я! А ведь правда!..

Как оглохший глядел на нее Яков Иванович. И не знал он, что теперь делать. Наконец, приняв решение, пошел, все убыстряя шаг, к избе Кобылиных, не оглядываясь уже на Евдокию.

«Неужто правда? Или обезумела Евдокия без мужика да с горя? Очернить хочет Грушу, чтобы самой на ее место? Не-ет, в такое нельзя поверить... Груша! Груша-а! Что с тобой было? Может, слышишь? Так откликнись, скажи!..»

И вдруг остановился Яков Иванович, и ноги у него подкосились. Вспомнил, как настороженно глядели на него старухи Кобылины, как будто лишнее слово боялись сказать, и озарило его нехорошей догадкой. «Значит, знали они что-то и скрывали от меня все эти годы. Но тогда и вся деревня знала бы, трезвонила бы во все сарафанное радио! Не могла вся деревня сговориться и молчать! Не бывает такого в деревне. Не-ет, наврала Евдокия, оклеветала подругу! Не могла Груша! Не могла...»

Старухи Кобылины сидели в переднем углу своей избы перед божницей, положив на колени иссохшие, почти безжизненные руки. Над их головами теплилась лампада.

Ввалившись в избу сам не свой, Яков Иванович тотчас поостыл. В бога он не верил и не молился, но чужую веру уважал. А тут даже смекнул, что не солгут старухи перед лампадой, на его удачу зажгли.

— Уж как хотите, а докладывайте мне про жену всю правду истинную начистоту... Десять лет вы молчали...— накаляясь, начал он.— А нынче проговорилась передо мной Евдокия... И на вас указала. Говорите,— почти грозно закончил он.

Старухи даже не переглянулись, они только пожевали губами, горестно перекрестились и начали не сразу, издалека:

— Не давал бы ты веры-то, Яков Иванович... Мало ли что люди треплют. Про любую солдатку какой-нибудь слух да ходил, только не про твою Грушу. Время-то какое было, сам знаешь... Не говорили вслух, дак подзревали...

— Вы про дело давайте! Про жену мою! — громко перебил их Яков Иванович и чуть не выругался.

— Да какое же дело-то? — загомонили старухи.— Утонула она... На все божья воля... Значит, так уж на роду... А мы сыночка твоего пестовали...

— Перед богом ответите, если не скажете правды,— пригрозил он.

— Мы к богу ближе! — закричала одна из сестер.— И все скажем, как он нам велит!

— Только не вини ты ее ни в чем! — заголосила другая.

— Не вини, нет на ее душе греха, — наперебой, исто-во принялись уговаривать старухи.— Не грех на ней, а беда. Ссильничали ее, одним нам она про это плакалась... Ну а уж коли Евдокия, дак, значит, и ей, потому что дружил ты с ее мужиком.

— Кто?! — едва выговорил Яков Иванович.

— А тот, кто твоего мерина казнил давным-давно. Тот самый, да еще с сыном... Они измывались над душой и телом безгрешным... Объявились они тут в последний год вроде дезертиров, у нас, старух, последний хлеб унесли, да еще грозились... На лесозаготовках, сказывали, работают. А наших баб, ну и Грушу твою, на эти лесозаготовки гоняли... Натворили эти богоотступ-

ники делов... Взяла их потом милиция, увезла куда-то... Так люди говорили... А про Грушину беду никто ничего и не знал, только больно уж она невеселая ходила. Всю-то войну так она о тебе тосковала, что и сказать нельзя. А тут твое письмо, что придешь скоро насовсем по ранению. Тут-то и прибежала она к нам, и поведала... Убивалась-то как! И не высказать... Нету ее вины... А и жить этак-то, видно, не могла... Что, говорит, я мужу-то скажу, нет ведь мне оправдания, хоть и руки мне ломали окаянные изверги... Ой, безмерное бабье-то горюшко, не чета мужицкому. Пойми это, Яков Иванович, и сердцем ее прости...

Как сел тогда Яков Иванович на лавку, так и просидел у старух Кобылиных до темна. Сидел и молчал.

Больно ударило это запоздавшее известие по Якову Ивановичу. Как тень по земле ходил с того дня, а больше всего клял себя, что мягок был со своими врагами, хотел тихо, спокойно прожить, а их бы надо еще тогда было давить без всякой пощады, когда запугивали его в двадцать девятом, и чище бы земля стала. А он не давил, жалел, а они вот как его «пожалели»...

Поседел он и в себе замкнулся. И отлегло немного от сердца только тогда, когда сына не стало рядом, потому что постоянно напоминал ему сын про Грушину беду и смерть, и мучился Яков Иванович, не зная, известно ли Анатолию все о матери или ничего он не знает. Мучился, а спросить боялся, потому что не знал, как это сделать, и думал даже, что про такое и совсем спрашивать и говорить нельзя.

6

На солнце набежало облако, и сразу от снега, от луж потянуло промозглым холодом. Дохнул ветерок. Яков Иванович поежился. От сердца уже отлегло, дышалось свободнее, хотя и таилось где-то в груди беспокойство. Но все же полегчало, и хорошо. А беспокойство пройдет.

Да и когда он жил без беспокойства? Найдется ли хоть один денек? Нет, не сыщешь такого. И нечего тут сидеть и киснуть, прожитым грезить. К людям надо идти, к делу.

Ноги, однако, подкашивала слабость. Поглядев на солнце, Яков Иванович сообразил, что наступал полдень. «Эво до какого часу прогрезил,— снова упрекнул он себя,— не к добру такие виденья. Надо вызывать сына».

Почта размещалась в том же длинном двухэтажном строении, где находился и клуб. Еще издали приметил Яков Иванович на фанерном щите свежий лист, испи-санный крупными буквами, и разглядел верхние слова: «Тематический вечер».

Эти два слова крепко держались в его памяти. Вот так же почти два года назад шел он весенним вечером в клуб и недоумевал, почему наказали ему непременно прийти, а зачем — не сказали.

Оказалось, в клубе устроили торжественное собрание в честь Дня Победы. Избрали в президиум всех деревенских фронтовиков, а и всего-то их осталось трое. Председатель почему-то указал Якову Ивановичу место рядом с собой. И еще тут сидел незнакомый майор.

Громко и долго говорил этот майор, выйдя к трибуне. И слова у него были душевные и всем понятные, хотя выговор и выдавал в нем человека нездешнего. О многом напомнил майор, и иные бабы уже заутирала глаза уголками платков. Только что-то ни с того ни с сего принялся напирать майор на их деревню, на ее фронтовиков. Помянул, кто и чем награжден, назвал и фамилию Березина. Яков Иванович встрепнулся.

«Что-то путает товарищ военный,— беспокожно подумал он, глядя на майора.— Никаких орденов у меня не имеется. Сказал, правда, мельком командир батальона, что будь его власть, наградил бы он меня, да ведь только сказал, а сам погиб тут же, считай, на глазах. А обещание на груди не носят».

Яков Иванович хотел было уже подняться и объяснить народу ошибку, но майор сам повернулся к нему и торжественно, радостно так воскликнул:

— Награда нашла героя!

«Как по газете читает»,— вроде и не к месту мелькнуло в голове Якова Ивановича. Трудно было поверить, что речь идет именно о нем. Но майор уже стал принародно привинчивать к пиджаку Якова Ивановича орден Красной Звезды. Долго привинчивал, дырочка-то на лацкане не была загодя проделана. А потом, когда хлопать в ладоши в зале перестали, майор коротко доложил, что представление к награждению рядового Березина было в трудной боевой обстановке затеряно, затем нашлось, но после этого долгонько уже разыскивали са-мого Якова Ивановича.

В зале снова принялись хлопать. А председатель настаивал, чтобы рассказал Яков Иванович людям с

трибуны, где и как он отличился. А что рассказывать, если подзабылось все. Да и заметил он, что подлинные фронтовики и заслуженные орденосцы не любят вспоминать вслух былое, словно и не воевали они, не схватывались один на один со смертью. Ну разве в первое время, в застолье, когда сдержаться невозможно да и незачем.

Ну что мог о себе сказать Яков Иванович? Потерялся он на трибуне от всех этих неожиданностей. Хотелось сказать что-то дельное и важное, а сказалось всего несколько слов, да и то с перебоями:

— Спасибо, в общем... Я, конечно, не самый достойный. Лучше меня воевали, погибали. Ну и я воевал, конечно, всего хлебнуть довелось... Руку вот покалечило... Служил, значит, Советскому Союзу и народу, как требовалось... Как все...

Сказал и понял, что больше уж ничего не выговорить. И только когда сел на место, рука сама собой нашарила на пиджаке и погладила тяжелую жаркую звезду, на которой красноармеец крепко сжимал в руках винтовку. А когда поуспокоился, понял, что многое можно бы рассказать. И полезно бы его послушать некоторым. Вот пишут про войну книги, показывают кино, и правильно делают, только не так там все как-то, как было на самом деле, нету в них полной и откровенной правды. Только смог ли бы он рассказать эту правду, чтобы поняли его люди? Вон тут сколько девчонок. Вроде бы и нет ничего смешного на собрании, а у них то и дело улыбки до ушей, по парням глазами стреляют. Да и у парней глаза какие-то неглубокие, несерьезные. Эти уж, наверное, и книг читались, и кино нагляделись, и все им представляется ясным, а на самом-то деле ничегошеньки они не соображают, потому что сами не испытали. Нет, и парни пока его не поймут. Бабы поняли бы, хоть и по-своему, если бы рассказать, каково приходилось на фронте мужикам и как они переживали о своих семьях. Да что от баб проку, одни слезы. И стоит ли беречь давнишние раны... Поняли бы его фронтовики, но им рассказывать незачем — они сами все знают. Знают, за что давался какой орден и кому и в какой период войны. И знают, что много настоящих героев так и лежат в земле без всяких наград.

Нет, не помнил особого геройства за собой Яков Иванович. Если честно говорить, то справедливо считали командиры рядового Березина самым обыкновенным

солдатом. Прикажут что — выполнит, как умеет, а охотником на рисковое дело из строя не выйдет. Втайне он даже радовался, если выпадало на пару дней оказаться где-нибудь подальше от пуль да бомбежек.

Поначалу-то надеялся Яков Иванович, что поможет ему опыт гражданской войны, что знает он немножко о такой штуковине, как военная хитрость. Но эта война оказалась совсем другой, куда мудренее и страшнее. Оказавшись в первый раз под бомбежкой, он землю ногтями скреб, чтобы как-нибудь зарыться, спрятать хотя бы голову. А когда пошли немецкие танки, ему показалось, что он не выдержит.

Нет, не приучен оказался Яков Иванович к такой войне. И не понимал ничего поначалу. Чувствовал только, что прет на нашу армию сила страшная, небывалая, перед которой приходится отступать.

...И в тот день отступал батальон Якова Ивановича. Отступать можно было только вдоль озерного берега, где была хоть и плохонькая, но дорога. С северной стороны это самое озеро до горизонта, с юга — болото, поросшее чахлым соснячком, куда и соваться было неммыслимо: пешком не пройти, не то что технику протаскать. А вдоль берега, по намытому волнами песку, по камням и корягам, где вилась дорога, можно было как-то пробраться. Открытое, считай, место, но выбирать было не из чего.

На пологом холме близ озера еще недавно стояло село, в прах теперь разбитое и сожженное. Даже кладбищенская церковь была наполовину разваленной. Здесь-то и оставил командир батальона горстку добровольцев, чтобы прикрыть отход основных, крепко потрепанных сил. Как оказался Яков Иванович в строю добровольцев — и сейчас бы не объяснил. Видимо, надоело ему отступать. А может, потому, что местность была уж очень похожа на ту, где вырос и жил. И кому же было ее защищать, как не ему.

Батальон ушел, а добровольцы принялись окапываться да маскироваться, кто как умел. Яков Иванович не спешил, пока не увидел, что на углу невысокой кладбищенской ограды из кирпича высится башенка, вроде крохотной часовни. И когда высыпали на холм вражеские мотоциклисты, когда застрочили с двух сторон пулеметы, когда первый немецкий танк пальнул по добровольцам так, что они враз потеряли друг друга из виду, заполз Яков Иванович в эту часовенку, благо ока-

зался у нее лаз наподобие двери, а изнутри на три стороны глядели оконца, похожие на бойницы. Трудно было повернуться здесь с винтовкой, штык с нее даже пришлось снять, зато стрелять было удобно. А немцы достать его здесь могли разве только прямым попаданием снаряда.

И стрелял из часовенки Яков Иванович и видел, что попадал во врагов, хотя подбирались они к нему все ближе. Слышал он, как и танк ворочался где-то поблизости и стрелял, и как его вроде кто-то подорвал. А потом, когда уже начало смеркаться, разглядел: отступают немцы, окапываются на холме, не решаются идти дальше на ночь глядя.

Приказ добровольцам тоже был держаться до темноты. Значит, продержались, решил про себя Яков Иванович. Он выполз, в проломы в кладбищенской стене долго глядел на то место, где окапывались его товарищи, но ничего не разглядел, кроме воронок, взбугренной дымящейся земли и раскромсанных деревьев.

Он все же посидел еще за оградой, зорко глядя в сторону врага, удивляясь тому, что вроде бы и падали немцы убитыми на бугре, а теперь там хоть шаром покати: ни живого, ни мертвого.

И когда он окончательно решил идти и догонять батальон, какая-то небывалая смертельная усталость навалилась на него. Сколько он лежал на сырой от росы кладбищенской траве, не помнит. Помнит только, что, когда приказал все же себе идти, кругом были все те же сумерки, бог знает, вечерние или уже утренние.

Сначала укрывался он, пробираясь к своим, за кладбищенской стеной, а затем петлял меж сосен вдоль озера, но потом решил, что немцы ночью вперед не пойдут, и вышел на дорогу. Он шел, и его не раздражало, что дорога сплошь в грязных рытвинах, что сам он весь умазан и вконец измотан. Он и спал на ходу. И очнулся только от окрика солдат боевого охранения, издали узнавших его.

На отдых ему дали день. Но и в этот день комбат не раз вызывал его и расспрашивал, докапываясь до мелочей.

— Надо тебя к награде представить,— сказал наконец.— Хоть и повезло тебе с этой часовенкой, но приказ ты выполнил и действовал грамотно. И танк там подбитый есть, разведка подтверждает...

— Дак не я ж его... — возразил Яков Иванович.

— А кто? Кого из мертвых награждать? Всех бы надо посмертно. Да им уж все равно. А тебя представлю, чтобы другим пример был.

Но на том же рубеже погиб комбат в тот же день от случайной мины, а Якова Ивановича повезли в тыл с первым ранением...

Он и вспоминать-то давно перестал и те дни, и обещание комбата. И вот на тебе! Орден. Через тридцать лет! Вот уж истинно, как в газете. Видно, успел сделать где-то запись комбат, что надо наградить рядового Березина. Да и мужик он был обстоятельный, из председателей колхозов.

«Можно ли так-то всю правду рассказывать людям? Наверное, можно. Только к чему? Какой же там был героизм? Настоящие-то герои разве так дрались?»

...Ну и хорошо, что не стал рассказывать. А то еще приврал бы чего-нибудь, потому что и помню-то не все как следует. Вот, сказали бы, всю жизнь молчал, а перед смертью расхвастался. Жену не мог уберечь, а туда же, в герои... Да и рассказать-то путем не суметь. Пусть уж так...»

7

...Якова Ивановича вернул к реальности знакомый голос.

— Что, Иванович, прихворнул?— Председатель колхоза уселся рядом на завалинку клуба.

Непривычный какой-то этот новый председатель. Не солидный с виду, что ли. Как засмеется,— а смеяться любит,— мальчишка мальчишкой становится. Да и из себя ростика небольшого, в кости не широк да еще и конопат. И одевается как попало. Вот и сейчас на нем замасленная кепчонка на самые брови надвинута, зеленый плащик распахнут, да вроде и без пуговиц, бьет в глаза белизной воротник рубашки, а галстука нет. На лацкане пиджака из дорогого материала поблескивает институтский значок, а на ногах председателя литые резиновые сапоги. Веселый уж он больно и самоуверенный, все ему нипочем, словно умнее всех и на десять лет вперед видит. И надо же, из себя невидный, а хвалят его, и дела при нем в колхозе в гору двинулись. А в общем и ничего парень, деловой, ходовитый, не зазнаётся...

— Прихватило,— пожаловался ему Яков Ивано-

вич.— Погода, зараза, наверное, влияет. Или уж отжил свое...

Не первый раз уже, глядя на председателя, отметил про себя Яков Иванович, что напоминает он чем-то сына. Такой же хваткий, сообразительный, внутренне уверенный в себе... Или уж такое новое поколение на смену малограмотным старикам пришло? Если все такие из молодых, то вроде и беспокоиться особенно не надо. Однако спросил не без подковырки:

— Послал ли трактора-то за соломой?

— Поехали.

— Сколько?

— Два.

— Штук пять надо бы.

— С чего это ты так решил?— улыбнулся председатель.— Не одной соломой живем. Лесу еще вон сколько надо возить. Линейку готовности требуют...

— Можно бы и без парадов. А к соломе, может, завтра и не подъехать будет.

— Должны еще быть утренники.

— Молодой ты, и здоровья не истратил, погоды не чувствуешь. А я тебе точно говорю, что дождя ждать надо. И вообще в сельском деле всегда на самое худое рассчитывать надо. Из этого хорошие-то хозяева свою тактику строят.

— Все ты верно, Иванович, говоришь, да ведь не разорваться. И рискнуть порой надо. Пойдет твой дождь — и лес не вывезем. А я думаю и лес, и солому притащить. Уверен вот, что получится, и все тут. Предчувствие имею,— то ли оправдывался, то ли смеялся председатель. Непонятно было, принял ли он вообще слова Якова Ивановича всерьез.

— И рисковать надобно с расчетом,— хмуро сказал Яков Иванович, зная, что председателя не переспорить, что у того найдется еще куча доводов и расчетов.— И подводы следом за тракторами послать, чтобы клочья подобрали. Сам вот хотел...

— Отдыхай. Подберем и клочья. Я ведь тоже знаю, что потеряй копейку — и рубля не будет. Поправляйся. А я тут скажу, чтобы тебя и медициной, и культурным обслуживанием, и питанием обеспечили. Придут и все принесут. И мне давай знать, если что... — председатель легонько пожал руку Якова Ивановича, лежащую на колене, потаенно вздохнул и пошел к машине. Через минуту его «уазик», глубоко прорезав талый снег обо-

чины, выскочил на дорогу, рванулся вдоль деревни и пропал из виду.

Яков Иванович покачал головой — председателем ему все же хотелось видеть мужика в годах, в силе и степенного. А через некоторое время и он встал и пошел на почту, мысленно сочиняя телеграмму Анатолию, потому что снова запекло в груди и подступала к горлу противная слабость.

Потом он почти час просидел в столовой, но обеда так и не доел. По дороге к дому отдыхал и стоя, и сидя.

* * *

...Он лежал уже третий день. По утрам приходила Евдокия и молча топила печь. Давно простил ее Яков Иванович, хотя временами, когда на глаза попадалась вещь, напоминавшая о Груше, он все-таки мысленно упрекал Евдокию.

Когда в голове прояснялось и когда на время помогали лекарства, Яков Иванович, как всякий живой, думал о живом. О сыне думал в первую очередь и о всех людях, с которыми прожил жизнь или сталкивался в последнее время. Но больше всего занимали его сын и Настя.

«Давно уж на специалистов выучились, от народа им уважение, а настоящей судьбы ни у него, ни у нее нет. Обоим под тридцать, а до сей поры холостыми маются. Не дело это, а как исправишь? Хотя есть что-то между ними, с детства же было заметно, а что — не поймешь.

Каждое лето приезжает сын в отпуск. Хвалился еще, что в любой дом отдыха, а то и в санаторий мог бы путевку достать, а все же туда не едет, значит, в деревню его что-то тянет. Ну, отца повидать — это само собой. Ну, по лесу погулять. Дак нет же, он и с Настей в эти дни, как жених с невестой, в открытую гуляет. Только и гуляют-то они как-то не по-молодому, а уж больно серьезно: сидят где-нибудь на скамеечке вечером, не таясь, а то и за деревню пойдут. Никто и подозрения не имеет, что есть между ними что-то зазорное. Все знают, что про дела какие-то, про науки да книги идут у них разговоры, а не про любовь да свадьбу. Бывало, Настя без стеснения и на работу наряжала его в горячую пору. А он поулыбается, переоденется и пой-

дет. То копны да стога целый день мечет, то в машинах с механизаторами копаются.

И такое бывало, что и не встречаются, не видят они друг друга дня по три и больше, хоть и живут рядом. А вроде и не ругались. Нет, не настоящая, видно, у них любовь, а просто дружба, как у товарищей по детству...

Однако по глазам, по улыбкам их видно, что думают они друг о дружке, что каждой новой встрече рады, только не соглашаются в чем-то.

Пора бы уж и решить им свои разногласия. Не зря же я подновил заборчик вокруг палисадника, насадил смородины и малины, даже вишни развел. Удобные скамеечки соорудил под старыми яблонями, да еще в таких местах, где никто бы и не разглядел, кто там сидит, гляди хоть с какой стороны. И качели еще надумал поставить, присматривал на них материал... Так бы ладно тут малые внучата паслись, лучше, чем в любом городском садике. Да, видно, слаба моя приманка...»

И так и этак прикидывал Яков Иванович, стараясь мысленно представить, как бы жил сын в деревне. Да за любое дело мог бы взяться тут Анатолий, хоть по механизации, поскольку механик, хоть по строительству. С великой тревогой давно уже замечал Яков Иванович, что каждый человек в деревне стал на учете и к каждому начальство ласковый подход ищет. Шестнадцатилетних, а то и моложе, парнишек и девчонок по имени-отчеству председатель величает, беседы с ними проводит, агитирует, перспективы открывает. И навстречу во всем идти готов: захотелось кому-то мотоцикл с коляской иметь, а в сельмаге нет, сам в райцентре выхлопочет, в деревню привезти даст распоряжение; надумал кто-то учиться — рекомендацию даст и еще стипендию от колхоза платить будет. И многое другое, вплоть до казенных квартир молодоженам. Надо ли так-то их пестовать да баловать? Деревне ведь требуются твердые и преданные люди, без капризов. С любовью и характером ей люди нужны. А у сына характер есть. В городе-то и без него образованных хоть пруд пруди. Городские в городе и полезнее. А пусти их в деревню — ничего тут из них не выйдет, не свои, не от земли. Да, характер у сына есть, а вот насчет любви к земле...

«Вот и получается, что жил, работал, думал я, а о том ли думал-то, о чем было надо? — размышлял Яков

Иванович.— Да и думать-то, пожалуй, по-настоящему не умел. Оттого много, видно, проглядел в этой жизни. Это теперь вот, на заслуженном отдыхе, да когда сердечко прихватило, когда дожил, считай, до краешка, вроде бы дельные мысли начали в голову приходить. Но и с ними я, кажется, опоздал... Не первому мне, поди-ка, приходится так вот перед смертью осознавать свою жизнь...»

8

— Вот, сынок дорогой, прожил твой батька жизнь, а не знает, как сделать, чтобы жилось тебе лучше да счастливее,— вслух проговорил Яков Иванович и очнулся. Очнулся оттого, что на лбу его лежала широкая прохладная ладонь сына. Разговаривал же он с Анатолием мысленно уже не первый день.

— Приехал?!— по-детски обрадовался старик, ухватившись за руку сына, и лицо его осветилось улыбкой. Он засуетился, попытался подняться и не смог. Анатолий подхватил его за плечи, прижал лицом к своей груди.

— Положи меня... Да окна, окна открой... — почти беззвучно прошептал Яков Иванович.— Душно мне...

Анатолий бросился к окнам, с треском распахнул одно, второе... Поток прохлады хлынул в комнату, но легче умирающему не стало. Вскоре он попросил:

— На крыльцо бы меня... Кажись... дожил...

Исхудавшее тело отца показалось удивительно легким. Анатолий бережно вынес его, сдвинул ногами две постоянно стоявшие на крыльце скамейки, крикнул Евдокии, чтобы вынесла матрац и шубу. И Яков Иванович затих на этой постели, только грудь его вздымалась неестественно часто, рывками, да болезненно вытягивалось лицо.

— Посиди со мной,— вдруг требовательно произнес он, хотя и выглядел уже совершенно отрешенным от всего земного.

— Может быть, что надо? Я тут привез... Мандарины...

— Ничего не надо... Только скажи, правильно ли я жил? Не зря ли?— заговорил Яков Иванович замедленно, но все еще отчетливо.

— Почему жил? Да ты еще не один десяток лет...

Весна вон!— Анатолий старался говорить бодро, но голос плохо слушался его.

— Нет, не так я жил... Трусливо... Без пользы... Оттого и тебе неладно...— с усилием продолжал Яков Иванович.— А надо, чтобы после человека другим лучше жилось, чтобы след он такой оставил, обеспечил чтобы...

— Да ты же!.. — по-своему понял Анатолий отца и не мог сразу найти нужных слов.— Да вся твоя жизнь!.. Все ваше поколение... беспаспортное... Вы страну на своих плечах держали и спасли!

— И я так думал,— не сразу отозвался Яков Иванович.— А умираю беспокойно... А надо бы с радостью, словно утомился я за день, работавши, и сладко засыпаю... А я...

— Так уж привык ты только работать и работать! Тебе уж и поболеть стыдно!— возражал Анатолий.

— Не-ет,— прервал Яков Иванович сына не столько голосом, сколько слабым движением век.— Не все я сумел...

Голос его совсем ослаб, и он замер с горестным выражением на лице.

Прошел час, а может, и больше. Анатолий сидел рядом. Нервы были на пределе. Хотелось вскочить и тотчас что-то делать, наисрочнейшее, последнее, крайнее нужное, иначе... Но что? Мысли путались и обрывались, едва зародившись. Что он мог? Он был здесь абсолютно бессилён. И становилось страшно, страшно до того, что тянуло отодвинуться от кровати отца, закрыть лицо... Он еще не видел прихода смерти к человеку. Ни разу! И никогда не пытался это представить. А тут она подошла так близко. И нельзя было вообразить этот мир, свою жизнь без отца.

Последние трудные спазмы сжимали сердце Якова Ивановича, и с самым последним толчком сердца, показавшимся ему рывком к освобождению, Яков Иванович ощутил себя молодым и невесомым. Он летел куда-то стремительно, как птица. Все дальше и выше! И было одно желание: всегда жить вот так радостно и даже еще радостнее, смелее, чище; и рядом с ним тепло улыбались Груша и маленький сын, и еще люди, много людей, поющих согласно что-то торжественное и возвышенное, все громче и громче, до боли в ушах. А потом пение затихло, и все пропало...

Анатолий видел, даже ощущал приближение смерти

к отцу — как она обволакивает и распрямляет его тело, светлым делает изможденное лицо. Он сознавал, что это конец... и надо смириться... Но ему, убитому горем, все еще хотелось сделать что-то, пусть даже невозможное, чтобы спасти отца.

Анатолий вскочил и заметался по крыльцу, растирая ладонями лицо, лоб. Потом снова сел и уставился в одну точку...

Он вздрогнул, когда его тронули за плечо. Перед ним стояла Евдокия.

— Тихо как отошел, царствие ему небесное, — благоговейно проговорила она. — Безгрешная душенька... Ступай, милый, в мою избу. Я медичку позову да старушек. Обмыть надо тело, а сыну при таком быть не положено...

9

Возле свежей могилы председатель и Анатолий стояли рядом, и теперь многие могли бы заметить, что они чем-то схожи. Председатель первым сказал прощальное слово. И еще говорили, скупое, с паузами... Расходиться не торопились, мысленно еще раз прощаясь с Яковом Ивановичем, который останется тут навсегда. И многие поглядывали на Анатолия, будто ждали от него чего-то важного...

И вот утро. Первое сиротское... В избе прохладно и темновато. Воздух, пропитанный запахами невеселого мужского одиночества, застоялся в углах, хотя обе Удальцовы и вымыли после поминок полы и посуду. Отпускные дни у Анатолия кончались, надо было собираться в город, где его ждали работа и товарищи. Но собираться не хотелось.

Анатолий томился, зная, что уезжать все же придется. Он раздраженно распахнул окно. В лицо ему ударил такой чистый и сладкий поток воздуха, что он сначала отшатнулся, но тут же подался вперед. Бодрящий холодок пробежал по телу, разгоняя уставшую, застоявшуюся кровь. И хотя в груди еще громоздилась боль и казалось, что она никогда не пройдет, но уже хотелось двигаться и что-то делать.

Сильное тело Анатолия стремительно вбирало в себя целительную свежесть утра. Нечто новое требовательно рождалось в груди, бурлило, не давая покоя. Хотелось поймать ускользающую мысль и довести ее до конца,

чтобы принять решение. Но эту мысль уже отталкивали и глушили мысли о том, что надо вот заколачивать двери и окна и вообще решительно распорядиться всем отцовским хозяйством.

И то, что он никак не мог принять решения, которое должно было бы переменить всю его жизнь, сбивало Анатолия с толку.

А в палисаднике, как на большой строительной площадке, стоял разноголосый шум. Грузноватые грачи, отливая вороненой сталью перьев, деловито сновали, перетаскивая в клювах суковатые прутья, колдовали над гнездами, в которых будет продолжаться жизнь. В дуплянках шебуршились скворцы, со спорами и азартным писком выкидывая из них старый хлам. В палисаднике справлялось массовое новоселье. А вдоль изгородей и в тени возле стен таяли последние пластины льдистого снега. И еще холодная, но уже живая влага скапливалась в приствольных кругах яблонь и вишен.

«Что же делать?—в который уже раз спрашивал себя Анатолий.—Что?» И мучился, не находя ответа. Он так и стоял, боясь повернуться от окна, потому что сзади был стол, на котором еще вчера стоял гроб с телом. Отец как бы приказывал ему остаться. И Настя звала... И надо было собираться в город.

Раздвоенность и одиночество терзали его. Но и к людям выйти он не мог, вернее, не хотел встретить их сочувственные взгляды и услышать слова, суть которых известна заранее.

«Мне надо уехать. И уехать сегодня. Но сегодня—я не могу»,—твердил он себе и через час, и после. «И почему отец умирал беспокойным? В чем он виноват перед людьми или передо мной? И я беспокоен, доволен собой сейчас. Как же мне поступить? Где самое верное решение?»

В дверь глухо постучали. Анатолий встрепенулся, повернулся к двери. У порога стояла Настя.

— Это я. Зашла... Думаю, как ты тут... — со слабой улыбкой, извиняюще проговорила она.

— Да, нет больше отца... — ответил Анатолий, не сразу почувствовав, что говорит не то. — Не знаю, как дальше... — сдавленно добавил он. Настя понимающе молчала, не сводя с него глаз.

— Ты поплачь, не стесняйся меня... — неуверенно начала она, но Анатолий сердито фыркнул.

— Ну, со мной пойдем. Неможко отвлечешься, может быть...

— Не отвлекусь... А ты куда? Мне бы насчет транспорта узнать. Какие тут будут у вас оказии?

— Можем и это узнать. А мне поле посмотреть надо, под лен. Завтра на правлении отчитываюсь, посевная надвигается...

— Ну и на поле зайдем, если ненадолго,— буркнул Анатолий.

— Да только взглянуть!

До поля можно было дойти за десять минут, но дорогу развезло. Прибитый полозьями лед в колеях хрустел и ломался под ногами.

— Никакой транспорт сейчас до райцентра не дойдет, даже гусеничный трактор в первом разлившемся ручье увязнет,— сказала Настя.

— Да-а, знаю я ваши дороги!— раздраженно бросил Анатолий.

— Почему наши? А ты чей?— удивленно, с обидой в голосе спросила Настя.

Анатолий не ответил.

Миновав узенький перелесок, в котором между молодыми елками снегу было еще много, они вышли на край широкого поля, которое уже дымилось, вбирая в себя солнечное тепло. Вдоль борозд струились игривые ручейки, и первый грач гаркал победно на подсохшем буржке.

— Ну и что ты тут увидишь?— хмуро спросил Анатолий.

— Кое-что вижу. К примеру, мало или лишка влаги, как лучше это поле прокультивировать, какой трактор дать к боронам и сеялкам, и вообще когда в это поле можно будет заехать...

И затем, резко повернувшись, неожиданно спросила:

— А помнишь, как мы вдвоем здесь вот гуляли? И теребили лен вместе. Помнишь?

Анатолий, не зная, что ответить, растерянно смотрел на Настю. Помнить-то он помнил, на какой-то миг это цветущее поле даже предстало перед ним, а на самом краю его — по колени в голубом нежном море — стояла девочка Настя и счастливо улыбалась. А он такой же растерянный, как и сейчас, стоял перед ней и не знал, что сказать, что делать, но готов был стоять вот так целую вечность, чтобы только видеть и это голубое море, и счастливое Настино лицо.

— А помнишь, как мы вместе про лен пели?— продолжала Настя.— Не забыл?— И Настя вдруг запела:

Сегодня мне невесело,
Сегодня я грущу,
Как будто что потеряно,
Как будто что ишу.
Куда меня дороженька
Знакомая ведет?
На полюшко колхозное,
Туда, где лен цветет.

Но пелось Насте плохо. Трудно было понять, пела она, или плакала. Голос ее надтреснуто оборвался, а на ресницах задрожали слезы.

Но в душе Анатолия эта грустная, светлая, хватающая за душу песня-жалоба вдруг зазвучала сама собой: «Ле-он, ле-он, ле-он, кругом цветущий ле-о-он, а тот, который нра-авится, не в ме-ня влюбле-ен!» Зазвучала звонким и чистым девичьим голосом, голосом прежней девочки Насти. И радость, и грусть, и невыразимый упрек звучали сейчас в этом голосе, и еще что-то такое, отчего Анатолию самому захотелось заплакать...

— Ну что ты, Настенька!—поперхнувшись, проговорил Анатолий.— Пойдем...

Он нерешительно взял ее за руку, а потом крепко привлек к себе...

ПРИВЫЧКА

В дверь кабинета начальника строительной механизированной колонны Виктора Викторовича Серебрянского постучали. Легонько, по-свойски постучали. Виктор Викторович глянул на часы—девяти утра еще не было. Значит, его хотел видеть кто-то из небольшого круга подчиненных, которые, по примеру начальника, приходят на службу пораньше. Поэтому Виктор Викторович остался стоять у окна, руки в карманах брюк—своих работников можно было принимать без церемоний.

Но вошла Тамара, новая заведующая плановым отделом. Виктор Викторович выдернул руки из карманов и изобразил покровительственную улыбку, этакую улыбочку бывалого начальника перед лицом девчонки, только что окончившей техникум.

Тамара опустила глаза и слегка закусила губки.

«Доходят сигналы, что строгая, своенравная девица,— коротко подумал Виктор Викторович.— Притрется ли? Надо притирать». Он погасил улыбку и стал привычно озабоченным.

— Ну, что там у нас?— спросил он и снова улыбнулся, теперь уже с усталым видом. Он не хотел показывать Тамаре, как демонстрировал это перед старыми испытанными работниками, что служба надоела ему до отвращения. Он считал, что Тамара должна вынести из кабинета начальника заряд бодрости и желание трудиться еще лучше. Но небольшую личную усталость перед концом года скрывать было незачем и перед ней. Пусть знает, что нелегко дается годовой план, призовые места и премии, и пусть сама увидит, что и ей пора бы побольше загружать себя.

— Двести тысяч не хватает,— сказала Тамара, вздохнула и подала начальнику листок со столбиком цифр.

— Предполагал... — не удивился Виктор Викторович и забарабанил пальцами по толстому стеклу, прикрывающему его стол. Быстро прошелся глазами по цифрам, считая в уме, посоображал что-то про себя.

— Ваши предложения?— он глянул испытующе на молодого плановика. И опять улыбнулся, в полной уверенности, что ничего толкового девчушка еще не скажет.

— Производственники отчитываются, а мы плюсуем,— живо заговорила Тамара, давая понять, что предложить она ничего не может.

— Удивила!— с усмешкой перебил ее Виктор Викторович. И вдруг подмигнул ей.— А может, правильно намекаешь?

— До меня не один квартал так закрывали,— постороже сказала Тамара.— Сами себя и других обманываем.

— Какие слова!— воскликнул Виктор Викторович и осуждающе покачал головой.— Какие обличительные слова!

Тамара вспыхнула и крепче сжала губы. «Она права. Пора бы нам поразнообразнее быть. Но как? Где выход?» — напряженно думал Виктор Викторович и барабанил пальцами. Пальцам наконец стало больно, и от этого он почувствовал неприязнь к этой прямолинейной девчонке. Заговорил он тоном обиженного, издерганного человека.

— Строгие у тебя слова. Как будто и не наш ты работник, а ревизор со стороны. Но ты быстро поймешь и увидишь, что иначе нельзя. Такова судьба строителя. Крутишься, треплешь нервы все двенадцать месяцев, а за неделю до конца года выясняется, что план трещит. Вот... Двести тысяч... Ничего себе хвостик. Из последних сил выбивались, а в итоге... В итоге готовься слушать критику со всех сторон и молчать. Будто и не работал, жилы не рвал. Ты же работаешь, ты же и виноват остаешься. И премия улыбнулась. И мне, и тебе Тамарочка, и всему коллективу.

— Да ты не виновата еще,— смягчившись сказал он лично Тамаре. Он увидел, что лицо ее пошло красными пятнами и что она, возможно, принимает по неопытности все это в свой адрес.— Тебя я не упрекаю. Будем думать. Иди, Тамарочка...

Тамара словно только этого и ждала. Она резко повернулась, выскочила за дверь. Виктор Викторович сразу забыл о ней и о том холодке, который вызвала она только что в его душе. Не стояла еще того Тамара, чтобы о ее персоне и о ее мнении всерьез думал бывалый начальник мехколонны Серебрянский.

Глаза Виктора Викторовича остановились на календаре.

— Пять дней,— с расстановкой проговорил он.— Пять дней и двести тысяч. Ничего реального...

Он нахохлился за столом. Ничего наигранного уже не было на его лице и во всей позе. Задумался начальник. Так прошло минут десять.

— О-хо-хо!— протяжно вздохнул Виктор Викторович. И удивился, что прозвучало это у него так же горестно и жалостливо, как когда-то охал его отец.

Став начальником, Виктор Викторович научился слушать себя как бы со стороны. Он был уверен, что такой личный контроль здорово помогает ему держать себя в нужных рамках. Ничего расслабляющего, лишнего в своем голосе при солидной по числу людей аудитории он уже не позволял. И ни одного лишнего слова. Только деловые, четкие, мобилизующие выводы. А вот так, как разговаривал сейчас с Тамарой, то есть не скрывая, что все ему поднадоело, что работа не всегда чиста, а нередко и неблагодарна — так он разговаривал лишь с доверенными подчиненными, да и то с глазу на глаз. Разговор получался человеческим, доверительным,

и Виктор Викторович не в шутку считал, что за такую манеру подчиненные уважают и любят его. Да так оно, пожалуй, и было. После подобных бесед люди понимали его лучше и работали энергичнее, делая дело так, как хотел Серебрянский. Многим казался начальник и бесхитростным и незаносчивым. Но себя-то бесхитростным Виктор Викторович видеть не хотел. Он даже был твердо убежден, что нельзя быть бесхитростным руководящему работнику, ибо в противном случае получится простота, которая хуже воровства...

А с чего бы вспомнился ему отец? Вот и еще что-то, кроме этого «о-хо-хо», на языке вертится... Да, вот оно: «Эта привычка к труду благородная»... Любимая отцовская фраза. Нравоучительно произносил ее батя. Считал, что у него-то эта привычка есть... Виктор Викторович тихо хохотнул и сразу прикрыл рот ладошкой. Прочь воспоминания! Не до смеху. Да и прав отец. А он, Виктор Викторович, разве не трудится всю жизнь? Он ли не привык к работе? В кровь вьелась эта привычка. О рабочем дне и говорить нечего. Но ведь даже утром и вечером, в кругу семьи или друзей — не идут из головы дела служебные! По ночам снятся эти проценты, реформы, этапы, объекты... Нервишки сдают. На износ работает... У него бы многим надо учиться работе... Помогать бы ему надо...

Однако к дьяволу эту лирику, беллетристику! Главное — дело, а не мечтания. Пусть они будут приятные, восхитительные, чистые, но все же мечтания — это нуль. Даже не нуль, а хуже, отрицательная величина, поскольку отвлекают от дела. Основное — это дело. И самое лучшее дело — это то, которое уже сделано. Так сделай его!

— Тьфу! — ругнулся вслух Виктор Викторович. — Что за утро сегодня? Не лирика, так философия заела. Пора кончать. Всё.

Он положил руку на телефонную трубку, и сразу же его большое мягкое лицо одеревенело, сузились глаза и стали холодными. Наверное, такие глаза бывают у хищника перед прыжком на свою жертву. Он прижал трубку к уху плечом, набирая номер, услышал отклик и приказал телефонистке далекого коммутатора: «Найдите мне председателя. Говорит Серебрянский». Председатель нашелся быстро. «Здорово, Михалыч, здорово, главный ты мой заказчик — партнер по славным строительным делам, — будто радуясь, басил Виктор Викто-

рович.— Я к тебе с хорошими вестями. Титул на предстоящий год видел? То-то. Опять мне в твоём колхозе все силы придется держать. Что? Рад? Еще бы тебе не хлопать в ладошки! Приедет добрый дядя в моем облике и весь колхоз тебе заново отстроит. Ха-ха! И я с тобой вместе радуюсь, старина. Ладушки. Будет тебе и свиноферма, и клуб, и двенадцатиквартирный. Я знаю, что ты денежный. Что? Нынче-то плохо строим? Как плохо? Креста на тебе нет? Нанимай тогда шабашников. Не будешь? Правильно. И мы неплохо работаем. Считаем, что девяносто процентов готовности есть. Что? Да ты будущему, перспективе нашей и своей радуйся! Что ты про недоделки... Ну чего расшумелся-то? Ну иди, жалуйся. И ставь крест на клубе, на свиноферме, на двенадцатиквартирном... А недоделки доделаем. Не было случая, чтобы нас не обязывали их доделать. Да неужели их так много? Врешь!.. Ну, хочешь я сам приеду... Сегодня... А чего откладывать-то, Новый год на носу. Акты на сдачу прихвачу... Не подпишешь? Не телефонный разговор... В общем еду, а ты готовь перечень недоделок. Что? На двести тысяч? Так ведь это нам раз плюнуть! Не плюнуть?.. Я бы на твоём месте, Михалыч, не терял с нами дружбу. Что? Вынужден не терять? То-то. Хорош или плох, но друг. Тем более что другого нету. Еду. Что? Другие дела у тебя? А разве капстроительство — не дело?.. Вот именно, главная боль... Через два часа буду».

Виктор Викторович положил трубку и зажмурился. Надо же, ведь он вот сейчас почти решил такое большое дело, уговорил (изнасиловал, конечно) этого упрямого председателя, а радости нет. Ведь теперь же годовой план, призовое место и премия в кармане! А на душе скребет... Дряблый человек. Вечно с переживаниями, с самобичеванием... А зачем, спрашивается? Зачем эти пустые мўки? Не он первый... Да и не все ли равно, когда в колхозе будут достроены нынешние объекты, завтра или через месяц. В историческом плане это нестоящие внимания пустяки.

Виктор Викторович вызвал шофера и приказал ему готовиться в рейс, в колхоз «Россия». Исполнительность шофера, всегда заправленный «газик» обычно поднимали его настроение. И сегодня что-то колыхнулось такое в душе, теплое и энергичное, когда вошел улыбочивый и ухватистый шофер, в любую минуту готовый везти начальника хоть к черту на кулички. Колыхну-

лось... Но как-то слабее, чем раньше... А в целом, скверно было на душе. И это противное чувство заслоняло собой все.

* * *

«В самом деле, откуда этот неприятный осадок, буд-то с большого похмелья или от изжоги? Старею, что ли?— подумалось Виктору Викторовичу.— Так ведь годы еще не те, чтобы... Еще сорокá нет, тридцать девять... Впрочем, и поизноситься можно на такой работе, будь она неладна. Не зря теперь и у молодых инфаркты... Строитель, конечно... Меняющий облик земли... Украшающий ее... Несущий радость... И самому б надо радоваться, как другие. Построили там что-то: баню, завод, дом — и лица праздничные... Тьфу! Опять мечтания, лирика-беллетристика. С таким настроением вопросы не решают. Да еще Тamarочке старые отчеты не понравились. Всем нравились, а ей... Отчеты эти, конечно, того, с натяжкой... Теперь самой ей придется делать такой отчет... Пусть постигает...»

«Газик» пружинисто мчался по снежной дороге. А дорога, накатистая, на удивление ровная,— искрилась. Даже в колеях сияние. Что за снежинки такие!.. Наваливаются на них тупые резиновые колеса, подминают под себя, давят без пощады. Тут бы и здорового человека в лепешку... А снежинкам хоть бы что. Искрятся, радуются... А ведь, поди, не искрились, погасли бы, если бы размолото их колесами в пыль. И должно бы размолоть... Ан нет! Удивительно.

«Опять поэзия... Привязалась муть...»

Устал, видимо, подрастрепал нервишки начальник мехколонны товарищ Серебрянский. Надо бы капитально отдохнуть. От всего. Катнуть бы к старым друзьям молодости, посидеть с ними за столом, пошляться по улицам знакомым, покупаться, похохотать, вспомнить юность золотую. Как-то там Серега живет, чем он может похвастать, чего достиг? Забыл свою глупую обиду или все терзается, чудак? Моргает теперь или все так и живет вытаращившись? Ха-ха! Сам виноват. Слабак, хоть и мастер спорта, кроссмен, лыжник и еще там кто-то — забыл уже. Девчонок акробатике учит, старшеклассниц, хватает их по-всякому, подбрасывает, на одной руке носит... Интересная работка. Ха-ха! Мне бы не выдержать. Ха.

«А это что за дрянь в голову полезла? Это и поэзии похуже. Тьфу! Надо переключать мозги».

Шибко катится рысистый «газик». Ошалело сияет снег. А на кустах вдоль дороги — что же это? Хрусталь или серебро? Или кружева вологодские? Красота, в целом! Иней. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Вот оказия! До чего прилипчива эта художественная литература. Хотя Пушкин, если вдуматься, очень многое тонко видел и понимал. Людей, главное, понимал, шельмец. Были у него задатки. Он бы, пожалуй, не только стихи писать, а и дело мог делать, руководить. Ой, нет! Из долгов не умел выпутаться. Не тот человек. Но все же! А что этот Серега? Сергунчик. Хорошо с ним было жить, свежо. У тетки Пани жили. Снимали комнатенку. Две железные кочечки, какие сейчас на свалки выбрасывают отовсюду. Два жильца. Виктор Серебрянский — прораб УНР-7 — управления наружных работ. Сергей Тугодумов — учитель физкультуры. Первые парни по городу, первые женихи. Симпатичные, одетые оба прилично — это не отнимешь. Не без денег к тому же, зарабатывали. И выпивкой не увлекались — вот еще что главное. Хотя и других развлечений не лишка была. Не до них было в те дни золотой юности, потому что тянули оба тяжкую лямку студента-заочника. Контрольные, сессии, практика, мало ли мороки! Это ведь не курсы кройки и шитья, а институты, высшая математика, сопромат... Однако выдержали молодые головы... Фанатик был этот Серега. Режим у него. Ха-ха! Хотя он и мне, заочнику Серебрянскому, своим примером много помогал. Подтягивал, организовывал. Это надо признать честно. Но ведь и не до абсурда же доходить! Бывало, еще сплю, а он уже на лыжах набегается, ворвется в комнату — весь морозом пропах, на свитере иней, из-под шапочки пот льется. Ворвется и гаркнет: «Мороз и солнце, день чудесный!» Ему, хоть и вьюга на дворе, все равно день чудесный. Спасения от него не было. Но весело. Радостно, бодро так, по-молодому. По-телячьему... Но все равно хорошо. Интересно бы его повидать, вспомнить... Как-то он теперь...

Такой уж был человек, что ничего в нем не менялось. И довольно долго. Поставил себе задачу и бьет в одно место изо дня в день. Режим, нагрузки... На мастера по лыжам вытянул. Правда, на большие соревнования его не приглашали, но все же. Первый мас-

тер спорта в городе. Это фигура. И довольно привлекательная. С ореолом. Девки его любили. Городское начальство к нему своих детишек приводило. Выправь, просило, им осанку и вообще укрепи, позанимайся с ними. Личных детей ему доверяли, самое дорогое, так сказать. Деньги предлагали за это. Не шутки. Любили его. Все любили. Надо же суметь сделать себя таким идеальным! Пожалуй, он и был идеальным. Пацанва за ним по пятам ходила. Подражала во всем. Даже походке. И вечно-то у него физиономия была с улыбочкой, мужественная такая, открытая... А мускулы! Надо же накачать себе такие шары!

Однако скис парень. А с чего началось? Переборшил. Сам себя испортил. Перетренировался. Он другим здоровье исправлял, а о нем подумать было некому. Заработал расширение сердца. Прощай, спортивная карьера! Здравствуй, околоспортивное существование. Голы, очки, секунды — да не твои. Осталось ему только хилых детишек выправлять. И выправлял ведь. Карточки какие-то, как врач, вел на каждого. Сам графы чертил. Пульсы там, толщину бицепсов, объемы вдоха-выдоха. Добивался сдвигов. Умел. На этом и свою дипломную работу построил. Поддерживали его в институте. А как же! Опыт молодого энтузиаста с периферии. Очень интересно.

Допекла его эта дипломная. Надо же, сколько всяких талантов было в человеке, а не дал ему бог понимания красоты слога. До того плохо писал! Говорит — заслушаешься, а возьмется писать — с души прет: сухомятина, казенщина, через пень колоду. Начнет предложение исправлять, испишет всю страницу, а первую точку уже на другом листе ставит. Черт мозги сломит в таком сочинении. Не поймешь, о чем и сказать хотел.

Пришлось перетаскивать его через это препятствие. Лично Виктор Серебрянский переписал ему всю работу, почти сотню страниц, не шутка. Да не как-нибудь, а набело. Словно мальчик, ликовал этот Серега, когда брал чистые эти странички. Полюбуется, почитает вслух — красота! Тон изложения — серьезный, предложения и абзацы — в меру. Это только поначалу он спорил, каждую страницу и фразу с ним приходилось обсуждать, а потом увидел, что и спорить нечего, лучше во сто крат получается. Да и сроки его поджимали. Доверился Серега целиком и только умолял, чтобы по-

быстрее дело двигалось. Самого Серебрянского захватила такая работа. Самому через год диплом предстояло защищать. Интересно же. И для себя, и вообще. Серега, возможно, новое слово теоретикам и практикам преподносит. Да и помочь другу надо. В общем вник в существо темы не хуже Серегиного. А как вник, так и увидел, что обещания, заявочки, данные в начале работы, были внушительные, а практические результаты, списанные с карточек, и следующие за ними выводы и рекомендации — мелочь и слабятина. Никакого открытия. Что это за итог шестилетнего мучения с хилыми ребятишками! Нет, не озорство и не пакостное желание подвести друга толкали тогда Серебрянского на решительный шаг. Скорее, искреннее стремление помочь Сереге как следует, чтобы не было у него при защите никаких неувязок. Чтобы с блеском прошел диплом.

А что для этого надо было сделать? А просто подправить легонько данные в этих карточках. Небольшие коррективы. И начал. Во вкус вошел быстро. Может, и перегнул палку малость. Получилось в дипломной, что детишки с врожденным пороком сердца в Серегиных руках преображались в спортсменов-разрядников. Сам Серега занимался лишь описанием сделанного, а теперь это описание было выправлено до уровня научного звучания. Тут уж и вывод сам собой напросился: лыжи — целебное средство для всех, у кого порок сердца и еще разные другие хвори.

Вывод писался в последние минуты, когда Серега бегал по комнате и укладывал свой чемодан. На поезд Серега успел. В институте перечитывать свою работу ему тоже было некогда. Все свободные минуты пришлось потратить на то, чтобы найти такую машинистку, которая согласилась бы перепечатать диплом в течение пары дней, оставшихся до защиты.

Вернулся Серега через две недели. С институтским «поплавком», с корочками и без радости на лице. Поздравляют его по сто раз в день, а он только скажет спасибо, сомкнет губы и глядит в сторону, глазами не моргает. Начисто перестали у него глаза моргать. Как замерзли. И с Серебрянским заговорил он только день на пятый.

— Подлог,— говорит,— и позор.

— Да кто же будет проверять каждую дипломную?— честно изумился Серебрянский. (Ему и сейчас смешно об этом вспоминать было.)

— Им и без проверки стало ясно,— говорит Серега.— Намекнули на это. Головами качали.

— Однако диплом выдали?

— Выдали.

Вот и весь разговор. А глаза у него так и оставались замерзшими, словно подменили их. И в чужие глаза он не глядел. Серебрянскому даже нехорошо как-то стало, будто виноват в чем. Ну а если разобраться, то пустяк, даже с юмором.

А скоро и расстаться пришлось с Серегой. Он все в своей школе. А Виктор Викторович пошел на выдвижение в трест, в большой город. И вот уже не два и не три года возглавляет товарищ Серебрянский крупную мехколонну, выполняющую план...

— Не о том думаю,— ругнул себя Виктор Викторович.— Колхоз «Россия» на горизонте. Если сейчас не соберусь, не укреплюсь духом — не уломать будет этого Михайлыча. Зачем тогда и ехать...

Виктор Викторович собрал на лбу морщины, сделался озабоченным, почти злым.

* * *

Михайлыча он уломал. Тот морщился, но подписал все акты. Видимо, успел уже обдумать вопрос, пока Виктор Викторович ехал к нему. Виктор Викторович поначалу почувствовал горячую радость и облегчение, он толкнул Михайлыча, сухого староватого мужика в плечо. Крепко толкнул, под председателем даже стул подскочил. Но не среагировал Михайлыч на искреннее предложение «обмыть» новостройки, и глаза у него, вроде как у Сереги, остановились, перестали моргать на время. Тогда и спросил:

— Когда недоделки-то устранишь?

— В январе всё подчистим,— горячо заверил Виктор Викторович.

— Это хорошо бы,— сказал председатель.

— Да куда тебе сейчас коровники?— удивился Виктор Викторович.— Хороший хозяин их осенью в строй вводит, перед стойловым периодом. Нельзя же сейчас животных гонять по снегу из деревни в деревню! Мороз.

Председатель в ответ только поежился, словно ему самому стало морозно от таких слов. «Обмывка» сданных-принятых объектов не состоялась. Виктор Викторович

вич хотел было купить бутылочку по дороге к дому, чтобы не рушилась добрая традиция, да и раздумал. Настроение было неподходящее. Опять, как с утра, какие-то дрянные думы пошли. Так и подступал к сердцу нелегкий вопрос, отчего это люди при нем словно бы гаснут. Хоть Серега, хоть этот пред. Или вон еще отец, если поглубже в памяти покопаться. Впрочем, отец и без него... Но и с ним... Да сам батя и виноват...

Виктору Викторовичу казалось, что думает он о том, как успеть в оставшиеся дни чисто сделать все отчеты, придется или нет оставлять плановиков и бухгалтеров на сверхурочные, как отнесется к его благополучному отчету трестовское и еще более высокое начальство и как будет выглядеть в объеме премиальный фонд... А на самом деле в нем упорно перерабатывались воспоминания, в которых он то и дело выглядел человеком нечестным, злым и виноватым. Но перерабатывались картины прошлого так, чтобы полностью выгородить и оправдать его, поставить даже в положение пострадавшего. Давно научился Виктор Викторович думать таким вот образом. Это успокаивало и даже выручало иногда. Вызвали как-то его в комитет народного контроля с отчетом за брак в строительных работах, так он там так выступил, так перевернул факты, что оказался во всем прав, хоть к награде представляй. А ведь кто же повинен в браке в первую очередь, как не он сам? По его распоряжениям все делалось. Вроде и чувствовал он краешком души, что надо бы долю вины взять на себя, а не стал. И правильно сделал.

Так вот надо же, какой достался ему батя. Истинно старого закала, самого крестьянского, кондового. По утрам вскакивал батя досветла и сразу злился, что спит еще вся семья. Сердито будил мать и кипятился, как самовар, если она говорила ему, что еще и печь затоплять рано, и пастух не скоро затрубит. Батя матюкался сквозь зубы и вылетал из избы, проклиная сонливую и ленивую семью последними словами. Он лихорадочно искал себе какую-нибудь работу на подворье, в загороде и делал все кидксм-броском, скоро и нехорошо.

— Батько, ну чего ты колья-то мелко забил. Упадёт огород через месяц. Переделывать будешь. Другое-то, умные-то мужики на года огороды ставят, а ты... — урезонивала его мать.

— А вы бока пролеживаете, — шипел отец.

— Да ведь и пословица есть: скоро — хорошо не бывает. Вот дурная голова-то не дает покоя!

Отец бросал недогороженный огород и бежал к дровам, судорожно колол их, складывал в косые поленицы, которые, бывало, падали тут же, при нем.

К завтраку он успевал изнемочь и падал на кровать, в валенках, сняв только старую фуфайку. Накрывался ватным одеялом, вытягивал поверх его длинные, в ревматических болях руки и протяжно стонал. Лишь изредка он приоткрывал глаза, косил ими, чтобы проследить, все ли в доме при деле. Такие же набегу на подворье он устраивал после завтрака, после обеда и только после ужина ложился уже насовсем, сняв и валенки. Когда Витька достаточно подрос, отец непременно брал его с собой на подхват. Если перебирали в подполье картошку, то Витька должен был держать мешок, изнывая от усталости и тоски. Отец и здесь торопился, зацеплял в пригоршни вместе со здоровой картошкой и гнилую, запрятывал все это в мешок. И злился, если Витька говорил, что незачем и перебирать картошку, когда опять гнилая ложится со здоровой. «Не твое дело. Сопли утри!»— кричал отец, однако гнилую картофелину выкидывал. А потом снова все шло по-прежнему.

Витька умудрился и сделал для мешков подставку из досок. Мешок висел на ней, и его можно было не держать. Отец сокрушил подставку сапогом и снова заставил Витьку держать мешок. Так он таскал за собой Витьку каждый божий день. Бывало, что Витька старался, и тогда отец был в восторге, работал еще торопливее, вынуждая спешить и сына. Случалось, что Витька с отчаяния прикидывался больным. Отец отступался от него, но быстро обнаруживал обман и темнел лицом. Тяжело ему было с Витькой.

В редкие минуты просветленного настроения отец хоть и скуп, но философствовал, объяснялся перед Витькой. Даже две строчки стихов декламировал:

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...—

Так-то. Труд кормит. Борьба за жизнь.

Витька, глядя, как шляются по деревне его приятели, носятся на речку, строят удочки, забавляются целый день, до боли и тайных слез страдал, считая себя каторжником с детства. Он ничего не отвечал отцу.

«Кто на охоту ходит да рыбу удит, у того никогда ничего не будет»,— злорадно говорил отец, кивая на пацанов с удочками. А Витька не мог дожидаться своего часа, когда он подвырастет и уедет из этого ненавистного отцовского дома.

— Надо бы поярче, порадостнее пропагандировать труд,— вступал в разговор старший брат Витьки, тоже Серега, молодой офицер-политработник, приезжавший каждое лето в отпуск. Но он редко подавал такие реплики. Больше всего сидел запершись в летней горнице и писал стихи, которые никому не показывал, но о которых в доме знали все. Серега жалел Витьку. Но отца побаивался. И отец побаивался сына-офицера, которого нельзя уже было запереть в подвале и заставлять держать мешок.

Отец научил Витьку крыть крыши дранкой. Двоим они крыли новые скотные дворы и сараи в соседних деревнях. Крыли плохо. В четыре дранки забивали по одному гвоздю. Дело шло быстро, а новая крыша просвечивала на солнце и протекала на другой же год. Почему-то никто на такое качество не обижался. Кровельщики были нарасхват. Но в своей деревне отец никогда подрядов не брал... Так Виктор Серебрянский и пошел по строительной части. Работать привык. Работал много. Бывало, что и с увлечением. Но больше по привычке. Постиг и узнал немало. И не было случая, чтобы в его отчетах о выполнении плана стояла цифра меньше ста процентов. Его ценили.

* * *

— Вот, Тamarочка, двести тысяч к плану. Как раз,— сказал Виктор Викторович своему плановику на другое утро, передавая подписанные акты. Тамара изумленно вскинула на него глаза.

— Что-то вы не такой сегодня, Виктор Викторович,— сказала она негромко, подчеркивая, что не вдруг разрешила себе сделать замечание о том, как выглядит начальник. И еще в ее лице было что-то непонятное, словно волнуется она, хочет что-то сказать и не может.

— Да, замотался я,— ответил Виктор Викторович, благодарный Тамаре за такую заботу.— Все ведь о коллективе печешься, а не о себе,— внушительно сказал он.

— Вот, план в кармане. Премии, наверное, можно на полную катушку. Заготовляйте приказ. А я поеду домой, полежу. Сердце что-то пошаливает. Не заболеть бы на Новый-то год.

Странное что-то происходило с Виктором Викторовичем. Ведь не слышал он никакой боли, и сердце у него не колело. И минуту тому назад он вовсе не помышлял ни о какой болезни. Просто неудобно было на душе, хотелось какой-то разрядки. А вот разжалобили его слова Тамары. И решил поболеть.

— Лечиться, так уж надо серьезно,— сказала Тамара и прикусила язык. Ей послышался в своих словах какой-то особый, второй смысл. Она испугалась, что уловит начальник эту двусмысленность, этот недобрый намек. Она вышла от него, прижимая к груди акты, с тревогой ожидая, что ее сейчас вот вернет Виктор Викторович и спросит, как, мол, понимать... Но Виктор Викторович ничего не уловил, так как и мысли не допускал, что его молоденький плановик может иметь недоброе мнение о нем. Он подумал только, что и впрямь неплохо бы полечиться как следует, забюллетенить бы на месячишко-другой, попасть в хорошую клинику, а потом на курорт. Но пока он решил полежать дома. И уехал.

Ему не раз звонили из конторы и из треста, советовались по годовому отчету. Говорили, что надеются на скорое его выздоровление, а он отвечал, что надеется тоже. И ни разу в этих разговорах не было произнесено убийственное своей точностью слово — приписка. И то, что оно не было сказано, успокаивало Виктора Викторовича. И он скоро вышел на работу.

ФЕДЬКА

Помню, словно это было прошлой зимой...

В заброшенной избе жуткий сумрак. Гудит обледенелая печная труба. Ветер надрывно завывает, ударяясь о голые стропила. В синие квадраты окон, из которых вышиблены вместе со стеклами и рамы, залетает колючая снежная россыпь. Порою слышно, как подрагивают даже стены. И тогда кажется, что это и не изба, а что-то живое, пригвожденное к мерзлой земле и изнемогающее в борьбе с нескончаемой февральской вьюгой.

А мы сидим в избе уже не первый час. Носы у всех хлюпают. Кто-нибудь обязательно кашляет, будто дрова колет, долго и тяжело, до слез. От стужи деревенеют руки, сводит ноги и спину. Но домой никто из нас идти не собирается. Здесь интереснее и хоть до утра можно просидеть, если Федыка тут и в настроении. А он заводит:

— Робя, давай новую песню про всю деревню сочинять. Старая надоела. Начнем с того конца. Вот так:

В том конце, на том посаде,
Есть высокая гора.
Там кататься нам негоже —
Живет Марья краснорожа,—

кто дальше?

По голосу Федыки слышно, что ему самому по душе первый куплет — здорово подцепил Марью. На том краю деревни действительно есть высокая гора, вернее — крутой склон к ручью. Начинается он от загороды Марьи Гусятниковой, здоровущей краснолицей бобылки. Когда мы приволакивались на гору со своими самодельными лыжами и санками, Марья, если была дома, опроретью вылетала на крыльцо.

— Ироды! Хулиганье безбашенное! Весь частокол переломали! — задыхаясь, орала она и неслась на нас по снежной целине. И не дай бог, кто-то замешкается в сугробах — обледенелые валенки как раз в такие моменты норовили выскочить из ремешков, — Марья лупила того по чем попадя. Здорово на нее мы не обижались, помнили, что каждый из нас выломал из ее огорода не один десяток частокولين, а цену частоколинам тоже знали: на себе таскали их каждое лето из выгороды. О том, что существуют специальные лыжные палки с колечками, мы в ту пору и не слыхивали.

— Ну? Кто же придумал? — торопит Федыка.

— Есть у Марьи кочерга! — дурашливо выкрикивает кто-то в темноте, наверняка вспоминая о синяках.

— Ага! — тотчас подхватывает Федыка. — Есть у Марьи кочерга — тут живет Иван Карга.

Воодушевление растет. Кто не знает Ивана Каргина! Мужик страховидный и молчун. За то и Каргой прозвали. У него шесть дочерей-погодков. Прославился Иван еще тем, что ни в какую не хотел и жене не разрешал покупать дочерям обувь. Считал, что и так вырастут, сам рос босым.

— Че про Ивана скажем? — Федыка уже в центре на-

шей ватаги, и в темноте видно, как горят его нетерпеливые глаза.

— Не надо бы их обижать, но в песне должна быть правда,— вслух рассуждает он. И нам всем кажется, что сочинять надо только правду, чтобы нельзя было из песни слова выкинуть. Федька переводит дух и декламирует:

У Ивана все босые —
Тут живут одни косые!

Ребятня валится от хохота на пол. Не фасонится и Федька, тоже скалит белые зубы. Одни косые — это две сестры и брат Опросичевы, соседи Каргиных. Всем им уже за тридцать, все немножко с косынней в глазах от природы и, наверное, оттого они диковаты и холосты, а работники — безответные.

— А дальше как, Федька? — насмевшиеся пацаны дергают его за рукава, ждут новой потехи.

— А дальше так:

У Опросичевых баня,
А за ней — Чижова Таня.
Тане надо Якова,
Дальше — Груня Шмакова...

Ребятня помирает. Особенно оттого, что «Тане надо Якова». Таня Чижова — женщина пожилая и одинокая. В деревне она считается человеком культурным: как же, в городах жила. Но в войну как приехала, так и осталась жить в родительской избушке, притулившейся на задах. Бабы любили Таню за обходительность и душевные разговоры. Она под большим секретом рассказывала всем им, как в молодости влюбилась в начальника по имени Яков и какой этот Яков был красивый, характером добрый и что она вот только с ним и могла бы жить, а больше ни с кем. Яков об этой любви ничего не знал, да и затерялся он где-то в военные годы. Наверное, мечты о Якове — а вдруг он вспомнит о ней и нагрянет в деревню — и были главным в жизни Татьяны Чижовой. О Якове в деревне знали все, но никто над Татьяной не смеялся. Разве только мы, пацаны, да и то за глаза.

...В избе восторженный рев. Даже вьюги не слышно. Однако кое-кто смолкает и словно бы принимается тосковать. Дело ясное — очередь в песне подходит к его дому, а слушать, как потешаются над твоими родителями и над самим тобой вроде бы и не хочется. Но Федька был человеком. Как только такая очередь под-

ходила, он первым предлагал вовсе необходимые, а то и лестные слова. Помню, о нашем доме он мигом сложил такие строчки:

У Степановых крыша нова,
Дальше — Дарьюшка Рожнова.

Не очень складные получались строчки, зато все в них было верно. На нашей избе крыша действительно была перекрыта новой дранкой, и для деревни это было в те послевоенные годы заметным событием.

Ну как было не любить Федыку! Оттого и считался он нашим заводилой и атаманом. В любую минуту, хотя бы и в разгар сочинения песни про всю деревню, Федыка мог круто сменить пластинку, свистнуть в два пальца, кинуться куда-то с призывным криком, и вся наша орава срывалась за ним, зная, что сейчас будет что-то до невозможности бедовое.

Под предводительством Федыки мы опустошали чужие огороды. Наполненные добытым добром карманы и пазухи разгружали где-нибудь под сараем, за поленницей дров. Таких укромных мест у нас была уйма. А те самые огурцы и яблоки из своих загород нас отчего-то не интересовали.

Особенно забавные и дерзкие вылазки Федыка предпринимал в святки. Он еще был маловат для того, чтобы ходить по деревне вместе с признанными обычаем ряженными. Потому действовал по-своему, трудясь ночами напролет. У какой-нибудь избы, хозяйка которой славилась крепким сном, обливал водой крыльцо до тех пор, пока над ступеньками не выростала раскатистая горка. Развешенное в заулках белье набивал соломой из завалин и расставлял вдоль улиц «человечков». Забавы эти были рискованны. За них запросто можно было схлопотать засовом поперек спины. Поэтому Федыка брал с собой всего одного или двух дружков поухватистее, умеющих к тому же и промолчать при случае.

Больше всего досаждал он своему соседу — бригадирю, недавнему фронтовику-разведчику, сохранившему еще военную выправку и гвардейскую лихость. Откроет утром лязью бригадирова жена, а на нее валится соломенное чучело, одетое в мужнее исподнее. А то и вовсе из дому не выбраться: дверь санями приперта.

Целыми днями не стихали в деревне пересуды. Кто смеется, а кто и в обиду ударяется. Мужики грозятся подстеречь хулиганов, оборвать им уши и набить в штаны снегу.

— Задача ясная: пресечь диверсии мелкого противника,— заявил бригадир.— Выполнение задания беру на себя.

До полуночи караулил бригадир деревню в последний день святок, прислушивался, заглядывал во все заулки — тихо кругом. А как глянул на свой двор, так и затрясся. Имелась у него резервная поленница дров, давненько стояла под дворовым навесиком, а в эту ночь взяла и ушла от дома шагов на тридцать, в самые сугробы. Только те поленья и остались, что к земле примерзли намертво.

Федька потом рассказывал, какие словечки выкрикивал в ту минуту бригадир. Разгадал Федька и коварный план бригадира, созревший у него тут же. Поначалу зашел бригадир в дом, помигал у окна огнем, будто спать ложился, а сам разыскал ременный кнут и уселся в сенях возле кошачьего окошечка. А надо сказать, что в избу бригадир попадал с улицы по стремянке — старое крыльцо он развалил еще по осени, а новое поставить не успел. Долго ли, коротко ли, но почудился бригадиру шорох и смешок. Беззвучно шагнул бывший разведчик за порог...

Не любил вспоминать бригадир об этом случае. Шагнуть-то он шагнул, а стремянки как не бывало. Брякнулся бригадир на мерзлую землю у родного порога. Крепко ушибся, но сгоряча бегал по деревне еще часа полтора. Как попадал в избу без стремянки, об этом никто не знает, даже Федька, который к тому моменту уже убрался восвояси и засыпал на печи. Зато утром он не мог отказать себе в удовольствии: еще потемну засел в недалних кустах и с восторгом наблюдал, как добывает бригадир стремянку с крыши собственной бани.

Были у Федьки и такие дела, на которые он ходил в одиночку. Летом укрывался в лесных малинниках, вымазывал лицо глиной, раздевался до трусов и ждал. Когда в малинник набивалось с десятков девок и малых девчонок, Федька взывал дурным голосом и скакал к ним на четвереньках. Визг поднимался неопиcуемый. Девчоночья стая без оглядки неслась к деревне, теряя гребенки, платки и все другое, что держится некрепко. Конечно, страдали при этом и Федькины бока: не так-то просто было лазить голышом по колючим зарослям, полным крапивы, но эффект операции во много раз превосходил эти мелкие издержки. Девчонки боялись показываться в малинниках все лето и распространяли

слухи, что там живут разбойники, дезертиры и сами черти.

Федька, видимо, понимал, что его выходки не должны быть частыми и похожими одна на другую. Поэтому он редко поддерживал наши неоригинальные затеи. Зато песню про всю деревню можно было складывать заново хоть каждую неделю. И они получались одна смешнее другой. О них узнавала вся деревня, и, бывало, бабы потешались, пересказывая корявые, но такие уморительные строчки. Находились шутники, которые тайком просили и подговаривали Федьку сочинить про кого-нибудь похлеще. Федька в таких случаях притворно удивлялся, делая вид, что к песням не имеет никакого отношения. Он был поэтом, начисто отрицавшим свое авторство, и упорно отказывался от известности. Однако новые строчки скоро появлялись. Авторство раскрывалось. Так и прозвали Федьку писателем.

Многие лелеяли злую мечту проучить насмешника. Многие же и любили его. Порой и мужики поглядывали на него с уважением. За Федькой числилось немало дел, которые, по тогдашним нашим понятиям, считались подвигами.

Взбесился в июльскую жару деревенский баран. Разогнал мелюзгу, поддав кое-кому под зад, сорвал веревку с бельем и истолок в пыли простыни Тани Чижовой. А потом залетел в колодец. Там, в ледяной воде и темени, баран поостыл и орал вполне повинным голосом. Деревне он был нужен, да и нельзя было допустить, чтобы пропадала скотина среди бела дня на глазах у людей да еще и поганила колодец. За бараном полез Федька. Цепляясь за подгнившие пазы сруба растопыренными руками и ногами, он потихоньку спустился до самой воды. Бабы, сбежавшиеся к колодцу, заглядывали в темную прорву и обмирали. А Федьке хоть бы что. Он обмотал барана веревкой, а сам тем же манером подался наверх. Вылез и не охнул, только глаза у него были серьезные, когда вычищал он из-под ногтей кровянистую грязь. Теперь вытащить барана было нетрудно. Бабы тянули его с хохотом. Долго дрожал баран всем телом, отлеживаясь тут же у колодца. И характер у него после такого конфуза переменился к лучшему. А Федька делал вид, что и не слышат похвал, будто слазить в колодец ему ничего не стоило.

Уважали мы Федьку еще за справедливость и учились ей у него. Как-то один пацан, желая перещеголять в дер-

зости самого атамана, ночью выкосил в огороде безобидной и беззащитной старухи кусты смородины и на грядки нагадил. Старуха обиделась до слез. Подозрение пало на Федыку, но он не оправдывался, а гордо молчал. Молчали и мы, хотя знали, чьих рук это подлое дело. Именно подлое: мы-то во время своих вылазок ничего в чужих загородах не портили и если рвали огурцы, то не ломая ботвы. И когда вредный пацан пристал к нашей ватаге, гордясь своим поступком, Федыка, словно взрослый, вывел его из круга за ухо и сказал:

— Ты нам не товарищ, пока не посадишь старухе смородину.

Дрянью оказался пацан. Смородину он не посадил, но и к нам подходить боялся. Старуха уже собиралась заявлять в милицию, когда с Федыкой стряслась беда, заслонившая на время все деревенские новости и события.

У риги молотили пшеницу с семенного участка. Невелик был участок, и снопы с него пропускали не через большую тракторную молотилку, а запустили старенькую от конного привода. Федыка погонял лошадей и в обеденный час задержался у риги, чтобы растолковать сбежавшейся ребятне устройство механизма. Невыпругенные кони хрупали овсом, а ребятня лазила, где только можно было пролезть, гладила теплые железяки, жевала сладкую пшеницу. Была тут и шестилетняя дочь бригадира. Из-за нее все и получилось.

А может, и не из-за нее, а из-за мотоцикла, на котором подкатил к риге бригадир. От взревевшего зверем мотора вскинулись кони. Покатилась к ним под копыта сбитая дышлом девчонка. Кто-то в отчаянии завизжал. А Федыка не растерялся. Птицей кинулся он к девчонке, подхватил ее и успел еще вспрыгнуть на жестяной круг, прикрывающий центральную шестерню привода. Но здесь, с ношей на руках, на крутящейся гладкой жести он не устоял. Он покачнулся и осел. И нам показалось, что мы слышим, как хрустят в стальных зубьях шестерен Федыкины кости.

Нас пацанов, хватил столбняк. Но бригадир одним взмахом рук остановил лошадей, поднял на руки Федыку вместе со своей дочерью и бегом отнес их под навес, на чистые мешки. Бледный, он рвал на себе выгоревшую гимнастерку и закручивал на Федыкиных ногах жгуты. Мы долго не могли высвободить из Федыкиных рук оцепеневшую, но совершенно невредимую девчонку,

утирали с его похуевшего лица обильный пот и боялись взглянуть на его ноги.

В тот же день Федьку увезли в районную больницу. Рассказывали, что ему сделали операцию и что ходить он будет. Бригадир чуть не каждый день гонял в больницу на мотоцикле. Видимо, он понимал нас, этот бригадир, потому что, вернувшись из одного такого рейса под хмельком, он уселся посреди нашей осиротевшей ватаги и долго грустил с нами о Федьке.

— Что я его кнутом сторожил, так это пустяки, я бы его не ударил больно,— уверял он.— А что он стремянку уволок, так это даже к лучшему: дал понять, что бригадиру приличное крыльцо надо иметь...— И ударялся в воспоминания.— Да вы что. Мы в такие-то годы разве так озоровали! Далеко вам до нашего. Самый-то хулиганистый из нашего слоя высшее образование получил, прокурором работает... А жаль Федьку. Это на фронте, в бою не обидно инвалидность заработать, а тут... Да... В такие-то годы... А из него бы и не прокурор вышел, а сам народный судья... Да еще и выйдет,— убеждал нас бригадир. И мы верили, что так оно и должно быть.

— Худо только, если Федьку девки обегать будут, безногого-то. Вам об этом непонятно еще, а я думаю. Но уж если станут сторониться, то я, придет время, своей дочери прикажу за него замуж идти... Если с умом вырастет девка. Дуру Федьке ни к чему.

Мы слушали и не смеялись.

Федьку привезли в деревню глубокой осенью. Он учился ходить с палочкой и болезненно улыбался. Говорил мало. Больше сидел у окна с раскрытой тетрадкой и что-то в нее записывал.

— Что пишешь, Федя? — интересовались мы.

— Стихи,— не сразу признался он.

— Про всю деревню?

— Нет. О природе... И так, вообще...

Тот год он в школу не ходил. А мы закончили семилетку и разъехались учиться в города. Года два мы еще встречались с Федькой в каникулы, но как-то мельком. Разными становились мы людьми. Федька грезил стихами и считал, что мы в них ничего не понимаем. Наверное, он был прав, потому что мы действительно не могли оценить его увлечения и даже тайком посмеивались над ним. А потом и Федька исчез из деревни. Да и нас, его сверстников, судьба разбросала в разные края,

приставив каждого к своему делу, которое, если досталось и впрямь твое, пленит человека и заставляет надолго забыть даже друзей детства.

АМЕРИКАНСКИЙ ПИДЖАК

Время было не раннее, но и не обеденное. Как раз такое, когда пунктуальная почтовая кобыла успела отмерить мослатыми ногами двенадцать верст от райцентра, в деревне уже откосили росу, хозяйки истопили печи. В этот час и раздался на улице призывный крик:

— Бабы! Посылка нам пришла! Из Америки! Вот диво-то! Посмотрим, бабы-ы!

Это скликала народ Марья Левина, председатель сельсовета, а попросту — Левиха. Босая, она суетилась на крыльце, потряхивала одной рукой куфтырь, обтянутый мешковиной, а другой шарила по подолу, стараясь собрать складки так, чтобы не было видно прорех.

От ближних домов подошли женщины. Наперегонки мчались ребятишки. Невдали под ивушкой проснулся колхозный счетовод Демьян, прозванный Кимряком за то, что обучался он сапожному ремеслу в Кимрах. Он еще вчера вручил кому-то сапоги для покоса и потому был с утра под хмелем. Кимряк мигом оценил обстановку и двинулся на зов Левихи. Передвигался старик-калека, сидя на потрескавшейся липке, туго пристегнутой к поясу: сначала выкидывал вперед единственную ногу (другую ему отрезали после того как он поранил ее шилом и случилось заражение крови), крепко ставил каблук сапога на землю, потом, упершись позади липки молотком, зажатым в руке, приподнимал вместе с липкой туловище и бросал его на аршин вперед. Получался шаг.

У крыльца собралась редкая толпа. Кимряк с ходу пробился сквозь нее к приступку.

— Давай-ка,— протянул он к посылке длинную в синих жилах руку, а сам уже вытаскивал из-за сыромятного ремня, опоясывающего липку, сточенный углом сапожный ножик. Все примолкли. Кимряк чиркнул лезвием по шву куфтыря, запустил в прорез пятерню. Вместе со взмахом его рук раздался сухой треск рвущихся ниток, брызнули кусочки сургуча. Мешковина упала на притоптанную траву, а в поднятой руке старика развернулся и повис, удивляя невиданной рас-

цветкой, мужской пиджак немалого размера. Разно-голосо ойкнув, женщины загляделись на заморскую одежду. Раздались голоса изумления:

— Гли-ко, клетки-то какие большие да в красную дорожку!

— И поношен каплю, новехонькой!

— А кому прислан-то?

— «От добрых граждан сэшэа в знак помощи населению России излишки вещей» — так в записке сказано,— пояснила Левиха.— Выдадим тому, кто заслужил. Решать будем.

Женщины, как и ребяташки, не проявили большого интереса к заграничной штуквине. Кому ее носить-то? Все мужики и парни на войне, и никто еще не вернулся, а многие и вовсе не придут. Сколько баб-то уже получили казенные конверты... Только Нинка-с-медалью загляделась на белоснежную подкладку пиджака. И губы ее сами собой прошептали: «Вот бы выпороть да на кофту перешить!»

Люди разошлись. У каждого хватало своих забот. Левиха еще немного постояла на крыльце сельсовета, разговаривая сама с собой: «Решать будем. Вон Колька Семенов и на обед не едет, все на клеверище погибает. А тоже у парня брюхо голое».

Колька Семенов — семнадцатилетний, но уже налившийся силой парень — в самом деле гонял в это время по полю пару лошадей, запряженных в конные грабли. Ему нравилось собирать в высокие шуршащие валы сухой, похожий на колючую проволоку клевер. Колька был безответным и единственным в деревне человеком, выполнявшим любую мужскую работу.

Минул обеденный час. Женщины с ребяташками спешили на покосы. Без песен, без громкого говора шли люди. Еще мало радостей было в деревне в это первое послевоенное лето.

Вымерла улица. Только куры рылись в пыльных ямках возле изгородей. Изредка дребезжала телега и глухо топали копыта лошади, управляемой каким-нибудь пацаном, едва достигшим школьного возраста. Демьян Кимряк одиноко сидел в тени под окнами огромного пятистенка — колхозного правления, курил доморощенную махру и думал о пиджаке.

— Отличная вещь. Главное — заграничная! В ней не только фасон или красота, но и качество. Не то, что наш брат шьет. Было времечко — важные господа такой по-

крой уважали... Владелец шляпной фабрики, как сейчас помню, Петр Петрович Сморгонский... любил, шельма, крупную клетку на пиджаке. Борта чтобы были круглые, с застежкой на одну пуговицу, плечики чтобы высокие... Имел я с ним дело.

Кимряк с молодости был предприимчивым человеком, но — неудачником. В годы нэпа приехал в Москву, на последние гроши купил пару самоваров, посуду и завел свое дело под вывеской «Чайная. Демьян Гнедов и К°». Указание на компаньонов было сделано с единственной целью — придать предприятию солидность. Трудился один, с великим старанием. Грел самовары, заваривал чай, бегал в лавки за сахаром, баранками и сухарями, мыл посуду. И вроде бы на лад дело пошло. Уже и балычок желтел на витринке, и ветчина, и икорка черная. Завел в залу музыку. А потом как-то оказалось, что выручки не хватает на уплату долгов и процентов. Может, так и не получилось бы, если бы хозяин заведения сам пореже заглядывал в рюмку вместе с именитыми и неименитыми гостями. Но любил Кимряк потолковать о жизни с интересными людьми. А они всегда были. К нему в чайную даже писатель один захаживал. «Ты, говорит, Демьян,— пример удали и размаха русского, ни в каких франциях и парижках такого человека не найти, надо будет твой образ в романе изобразить». В общем прогорел Кимряк. Оказался неплатежеспособным должником. Сам продавал барахло с молотка, и остался у него от чайной только узорчатый самоварчик. Он его берег и посейчас грел три раза на дню сухими еловыми шишками.

...Солнце из раскаленно-белого стало красным, как начищенный к пасхе медный поднос. Оно заметно теряло высоту.

— Подоприте, бабы, граблями солнышко-то, а не то оно сейчас за лесок падет, не подогрести вам луговину будет,— так на правах взрослого пошутил Колька Семенов, проезжая мимо женщин, поспешно ставивших копны. А сам запылил к деревне на своих граблях. Он свое дело сделал, нового наряда вроде не было.

Возле правления его окликнул Кимряк.

— Постой, парень, маленько. Не хочешь ли заморский фрак носить? Ты один ему по фигуре подходишь. Будешь в нем как жентельмен.

— Чево?— удивился Колька. Он подумал, что пришли новости по международному положению и оста-

новился. О пиджаке из Америки он еще не знал. Но когда Кимряк ввел его в курс, расписывая пиджак в самом смешном виде, Колька дернул вожжи.

— Провались он, этот фрак, еще девки засмеют,— и погнал лошадей к дому.

Вечером Левиха пришла к Семеновым и сообщила о решении премировать Кольку пиджаком. Но Колькина мать, Наталья, уже знала, что сказать:

— Уж не надо нам пиджака, Марья Евстафьевна. Обойдется Колька-то. А вот меньшие — оборвались. Уж ты учти, как привезут материал да распределять будете. Вон они, дьяволята, носятся. И на заплатах-то сплошные дыры.— И показала на ребяташек, которые вдруг застеснялись, шумно кинулись на летнюю половину избы, попадали там на соломенные постельники, разложенные по полу, и тут же притворились спящими.

* * *

Пассажирский поезд проходил мимо деревни в шесть утра. Верстах в пяти он останавливался на разъезде. И бабы, не сговариваясь, каждое утро после покосной росы собирались на дороге у прогона. Они стояли, тяжело опираясь о косовища. Говорили о всякой всячине, а сами без утайки вглядывались: не покажется ли на повороте дороги человек в военной форме. Ждали и те, кому мужья и сыновья писали, что скоро придут, и те, к кому с войны уже никто не вернется.

Так было и на другой день после прибытия посылки из Америки. Но пустынна и в этот день была дорога. И, повздыхав, женщины разошлись. А как раз в этот час к деревне подходил солдат, старший брат Кольки Семенова — Алексей.

...Пока мать собирала на стол, чтобы покормить Кольку после росы, он вышел в загороду полакомиться горохом. Его встревожили чужие голоса. Раздвинув руно, Колька увидел, что на заднем заборе, сделанном из жердей, сидит длинный солдат с одной ногой, костыли в загороду перебрасывает. А помогает ему черная девка в красном платье. Колька сперва-то и не узнал брата.

Не вдруг вошел Алексей в избу. Разгоревшимися глазами оглядел загороду и задворки и неловко зашагал по узкой борозде меж грядок, задевая буйную огуречную ботву. Но, выскочив на луговину, махнул

такими шажищами, что Колька остолбенел и отстал.

— Только не плачь, мама,— дрогнувшим голосом проговорил Алексей, подходя к крыльцу, куда мать потянуло выйти внезапно заболевшее сердце.

Мать не заплакала. Крепко сжала губы и глядела сухими глазами на костыли. Чернявая девушка внесла в горницу чемодан и тощий солдатский вещмешок.

— А вы кем будете? — участливо и с тайной тревогой спросила ее мать.

— Это наша сестрица! — бодро отрекомендовал ее Алексей.— Марго из Армении. Меня из госпиталя сопровождает.

К обеду в доме Семеновых было полно народу. Бабы охали и плакали, тайком взглядывая на то, как хитро закручена штанина вокруг обрубленной ноги Алексея. Спрашивали, не встречал ли Алексей на фронте их мужей и сыновей. Тут же пересказывались истории о том, что был солдат не один год без вести пропавшим, а вдруг объявлялся живым и здоровым. Алексей уверял, что такое случается, и нередко.

Из вещмешка была извлечена бутылка невиданного в деревне кавказского коньяка, которым друзья снабдили Алексея в дорогу. Он чокался с Кимряком, азартно толкуя ему о достижениях протезной техники. Чувствовалось, что у инвалидов устанавливается своя особая солидарность.

Алексей снова и снова принимался рассказывать, как его, командира пулеметного взвода, ранило сначала во время атаки, потом мина накрыла вместе с двумя санитарями, несшими его в медсанбат; санитаров, поскольку они шли в полный рост, убило, а он, получивший еще порцию осколков, неизвестно сколько времени лежал без сознания и очнулся уже в дальнем тыловом госпитале. Уверял, что один осколок мины у него и сейчас сидит в боку, а второй — в скуле. Будто бы две боевые медали у него пропали: то ли их сорвало с гимнастерки взрывом, то ли потерялись они в дни долгих мытарств по госпиталям...

Кимряку принесли гармонь, и он старательно чеканил слова под свою музыку. «Если завтра война — так мы пели вчера, а сегодня война наступила»... Мать подавала на стол скудную закуску и отворачивалась, чтобы не выдать слез. Алексей уже не раз кричал ей. «Не плачь, мама!» И она не хотела плакать. Ей все вспоминались его письма. «Я стал такой легонький и

сильный, что на одной руке дважды на турнике подтягиваюсь» — это из командирского училища, — и матери со страхом думалось, что сына там плохо кормят, если он так исхудал. «Пуля пробила в двух местах мою шинель, а у меня оказалась всего царапина на пальце» — это уже с фронта. И мать не спала по ночам, в тревоге, что обманывает ее сын, что, наверное, не царапина у него, а страшная рана. И вот: «Я теперь инвалид. Левую ногу у меня отняли выше колена... Скоро приеду». Приехал не скоро. Три операции было.

— Хоть такой-то вернулся, и то счастье, — успокаивала себя мать.

В избу влетела Левиха и тотчас представилась фронтовику. За столом ей нашлось почетное место и чистая стопка. Пели. Алексей велел Марго достать из мешка тетрадь, которая сплошь была исписана песнями. Их в деревне не знали. И он старательно выводил один, дирижируя себе обеими руками:

Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Потом Алексей попросил спеть Марго. Она не отнекивалась и не стеснялась. Поднялась за столом и, открыв рот в широкой улыбке, запела что-то свое, знойное и бесконечное, как поток жаркого солнца, заливающего деревню в этот июльский полдень. Никто не понял ее песни, однако в ладоши похлопали. Алексей вскочил, пошатываясь на единственной ноге, щелкнул пальцами и заорал: «Асса-а! Bravo!»

— Она отсюда прямо в Москву, в консерваторию, — ошарашил он односельчан незнакомым словом.

Плясали. Левиха первая. Она была нездешняя, эвакуированная, остановилась в деревне в первый год войны с одним узлом тряпок. И припевки у нее были свои.

То ли, то ли я не бес,
То ли не сотонка,
От Великих Лук бежала,
Дрыгала котомка.

Нинка-с-медалью тоже пела неслыханное до войны.

Полюбила лейтенанта,
А потом политрука,
И все выше, выше, выше,—
Добралась до пастуха.

Нинка-с-медалью тоже была на войне. Добровольно записалась в медсестры, но через год вернулась беременная и теперь воспитывала сынишку, которого и сама называла фронтовиком. Была у нее какая-то боевая

награда, но она перестала о ней вспоминать, после того как к имени ее прибавили словцо — «с медалью». Под медалью, конечно, подразумевался ребенок.

Марго в тот же вечер, к тайной радости Натальи Семеновой, уехала поездом в Москву. Левиха тут же побежала в сельсовет, и с согласия всей деревни американский пиджак был отдан Алексею.

* * *

На другое утро Наталья не пошла на покос. Ходила за старшим сыном, следила за каждым его жестом, угодить норовила. Ночь-то напролет проплакала мать, глядя на спящего сына-калеку. «Что за жизнь теперь у него будет? Ох, испортили ему жизнь эта распроклятая война, злые вороги!» — думала она и не могла представить себе будущее Алексея. А к утру кончились слезы. Да и он плакать не велел... Еще раз рассмотрела каждую вещицу, привезенную сыном, каждую одежку. «Поберегу его первые дни, послежу, все выведу, что у него на душе,— решила она.— Не отпущу его пока ни на шаг».

И все же не уследила мать. Пока убирала со стола после завтрака — пропали оба старшие сына. Метнулась Наталья на летнюю половину избы, потом в кладовку, на чердак заглянула — нет их нигде. Выбежала на крыльцо, покрикала.

— Тут мы,— донесся голос Алексея из загороды.— Воздухом дышим, хозяйство осматриваем.

— Что-то неладное затеяли,— встревожилась она. Но сыновья уже шли к дому. Только зачем у Кольки заступ? И глаза отводят от матери.

— А и хорошо же дома! Погода чудная! — воскликнул Алексей, и Наталья, обрадовавшись вместе с ним, забыла о своей тревоге. Да и где ей было догадаться, что закопали вот сейчас сыновья в укромном месте тайно привезенный Алексеем трофейный пистолет. У Алексея будто гора с плеч свалилась, а Колька посерьезнел — впервые доверили ему такую тайну. И оба они чувствовали, что тайна еще крепче сблизила их.

К обеду и вовсе успокоилась мать. Такой уж Алексей был простодушный и веселый, будто и не пережил страшных ран и операций. Приободрилась, повеселела мать, и, когда по деревне прокричали, что приехал городской докладчик и надо всем собираться, она с легким сердцем отпустила Алексея одного.

Народ привычно сошелся к сельсовету. Алексей и Кимряк уселись на нижней ступеньке крыльца. Лектора — очкастого старичка — слушали с полным вниманием. Но мало кто понимал все, что хотел он сказать. Уж больно отчаянно картавил старичок и не в меру напирал на нерусские слова. Однако главное уловили все: международная обстановка сложная и работать в колхозе надо еще лучше. Услышав что-то недоброе про Америку, Алексей почувствовал себя неуютно в пиджаке. Надо же было в него вырядиться!

После лекции Кимряк зазвал Алексея к себе. Угощались самогонкой и рассуждали.

— Господа заморские бряцают оружием, — говорил Кимряк. — Эти Черчилль и Трумэн, как два сапога — пара. Одним словом, империализм. Как ты на это смотришь?

— А так я смотрю, что теперь невозможно на нас нападать и никому нас не победить, — горячо говорил Алексей.

— А я так думаю. Лучше миром жить. Лектор верно сказал, что время работает на нас, — возражал Кимряк.

— Никто и не спорит, — соглашался Алексей. — Вот она, война-то. — И вздымал костыли, хмурился

Кимряк пытался рассуждать о торговле, кивая на пиджак и показывая тонкое знание предмета. Но Алексей перебивал.

— Ни о чем не хочу думать! — кричал он. — Дома я, жив, и точка! Имею право, — и тянулся за рюмкой. Но чем больше он пил, тем мрачнее становилось его лицо. И песни пел с надрывом, почти с рыданием.

— Выстоим! — неожиданно вскрикивал он.

— Конечно, — поддерживал Кимряк. — И лектор на то нацеливал. Работайте, мол, лучше. А кому работать? И разве плохо работает деревня?

И принимался подпевать Алексею.

* * *

Наталья Семеновна плохо спала ночами. Все думала об Алексее. Какой парень-то рос! Высокий да ладный, а пуще того — умный и уважительный. Не жалко его было и в десятилетке учить. Это он еще мальчишкой смастерил модель самолета, которая летала сквозь весь прогон, а бывало, и до овинов. Он первым во всем округе собрал радиоприемник, и перед войной в их доме пищали наушники. Теперь антенну давно обо-

рвало ветром, и один конец ее валялся на крыше, а другой сиротливо свисал с березы.

Хороший был парень. А теперь что? Курит. Песни поет всякие. Вина все ему надо... Женить бы его, да кто пойдет за такого-то? Если только Нинка-с-медалью... А настроение у сына хуже некуда. Долго ли до беды, до худой дорожки? О работе, кажись, и не думает. Да и как с ним заговоришь о работе, с калеккой-то. Опять же хоть и не велика, а пенсия ему идет...

Думала Наталья и о муже Семене, который тоже прошел всю войну и теперь где-то в Германии все еще дослуживает. Пишет: к осени дома должен быть. Скорей бы уж. Он, Семен-то, живо взял бы в руки Алексея, не посмотрел бы на его офицерский чин...

Плохо спала ночами Наталья Семеновна. Сын вернулся, а забот и горя только прибавилось...

По деревне вестили на собрание. Председателем колхоза всю войну была льноводка Лиза Чеботарева. Как могла, командовала артелью. И не могла дожидаться, когда ее заменят.

Люди сходились к сельсовету. Левиха и Чеботарева стояли на крыльце. Разговор повела Лиза:

— Вот и мужики к нам возвращаются,— звонко начала она.— Пора им за мирное дело браться. У меня уж все сердце изболелось обо льне. Сами знаете, как я люблю его, голубоглазого. А мне—то в райисполком скачи, то в банк, то на отчет, то на совещание. Давайте мужика председателем ставить.

— Что ты, Лиза,— заговорили бабы.— Какие мужики! Алексей— разве хозяин?

— Что вы, люди! Где ему! — заволновалась Наталья. Но у Чеботаревой все уже было обдуманно.

— Тогда давайте счетовода путевого назначать,— спокойно продолжала она.— Чтобы не все мне в конторе да в райцентре гибнуть, в дорогах прохлаждаться, а было бы время и ко льну руки приложить.

Страсти не разгорелись. Только Кимряк, который еще числился счетоводом, зашумел:

— Ишь ты! Без уполномоченного нельзя такие вопросы решать.

Его не послушали. Проголосовали оставить Лизу председателем, пока получше мужики не подойдут, а Семенова Алексея— записали в протокол— «просить на должность счетовода и чтобы еще в райцентр ездил».

Алексей встрепенулся, когда мать подошла будить его, словно давно ждал прикосновения ее руки.

— Вчера, сынок, счетоводом тебя назначили. Уж ты ступай на работу-то, привыкай, раз люди на тебя надежду имеют,— ласково убеждала мать.

А Лиза уже ждала своего нового помощника, которому и дело сразу нашлось.

— В сельсовет звонили. Надо в банк срочно ехать с печатью, долг эмтээсу погасить да заодно насчет молотилки на уборочную договориться. Без нее нам не совладать,— растолковывала Лиза Алексею.

И Алексей поехал. Ему хотелось работать. И было по-новому хорошо на душе.

Лошадь трусила по пыльной дороге и не нуждалась в понукании. Алексей загляделся на родные, до кустика знакомые места. Те же болотистые низинки, корявый ольшаник да неистребимый ивняк.

Обратно возвращался без задержки. Деньги перечислил, и МТС обещала прислать молотилку. Но чувство исполненного долга, обрадовавшее сначала, оказалось недолгим. Заныли раны дергающей болью, в такт тележной тряске, напоминала о себе культяпка. Алексей старался и не мог подавить возникающую жалость к себе. Ногу не прирастишь. И нет ее, а часто побаливает. Вот и сейчас будто бы судорогой пальцы сводит... Алексей огрел кнутом задремавшую лошадь. Та рванулась и десяток шагов пробежала галопом, потом перешла на рысь и вот уже опять едва переставляет ноги.

Белые кудлатые облака, словно кипы чистого госпитального белья, вздымались в голубой выси. Они не в силах были закрыть раскаленное солнце. С Алексея лил пот, соленый, как тогда в окопах, когда надо было таскать на себе пулемет с запасом лент. Где-то на западе громыхнуло. Он вздрогнул. Картины войны до того ярко стояли в сознании, что удар грома показался ему орудейным выстрелом. По спине пробежал нервный холодок. Алексей ухватился руками за края телеги. Надо было поторапливаться: надвигалась гроза.

Почти прозрачные кучевые облака крупнели и синели. Вот уже полнеба закрыли они. Солнце вдруг скрылось, и сразу грозно заколыхались рваные края тучи. Налетел ветер, сначала теплый, но тут же свежей, свежей. В какие-то секунды высох пот на лице и груди.

И вот уже кругом свистит, стелется к колее запыленная придорожная трава, отчаянно клонятся кусты. Взвилась тучей пыль, перемешанная с оборванными листьями.

Алексей отчаянно дергал вожжи, раскручивал над головой кнут. Конь, раздувая бока, тяжело рысил и всхрапывал. Вот уже и деревня видна. Осталось миновать церквушку на угоре, скатиться под уклон, переехать речушку, а там еловая выгорода — и дом в ста шагах. Но все быстрее надвигается туча, все отвеснее бьют в дрожащую землю ломаные стрелы молний, громче и суше треск раздираемого ими неба. Лошадь с размаху кидается в неглубокую речку, вспыхивающую под первыми каплями дождя, тяжело вытаскивает ноги из песка, перемешанного с илом, и в изнеможении останавливается перед подъемом на другой берег.

— Вперед!—кричит Алексей и бьет ее, стараясь концом кнута угодить ей под пах. Лошадь прыгает. Высоко подскакивает тележный передок. И, не удержавшись, Алексей летит к воде. Потемнело в глазах, острой болью отозвалась культипка. А сверху хлещет ливень...

Ему на мгновение захотелось не шевелиться, вытянуть ногу и лежать вот так: пусть все идет к чертям. Но в следующий момент он уже сидел и, скрипя зубами, обшаривал взглядом берег. Из-за ивняка лошади не было видно. Только с кустов свешивался костыль, черный резиновый колпачок на конце разбрызгивал капли дождя.

Ползком Алексей двинулся вверх. Сантиметр за сантиметром одолевал он осклизлый подъем. Дотянулся до кустов, поймал их цепкими пальцами и встал. Прыгнул на островок травы, устоял и, улучив момент равновесия, ухватился за костыль... Через минуту он уже был на верхней гривке обрыва. Лошадь стояла в десяти шагах на луговине. С ее крупа текли грязные струйки. Доковыляв до подводы, Алексей обнаружил, что пиджак промок до нитки, а чернильные буквы на колхозных бумагах расплзлись так, что нельзя было ничего разобрать.

Теперь было все равно: переждать дождь или ехать. Все небо заволокло. Нелегко давался первый трудовень...

* * *

Попорченные документы мало расстроили Лизу. Теперь она, дождавшись в конторе Алексея, с утра пересказывала ему все дневные заботы и, облегченно вздохнув, уходила в поле. Она-то лучше всех знала, что со

льном все время надо быть рядом. При такой-то жаре долго ли ему сгореть на корню.

Когда лен теребят — работают не оравой, как это бывает на прополке. Теребят лен врозь. Кто когда уповод выберет, тогда и бежит к отведенной ему полосе. Другое дело, что норму на трудодень все равно выполнять надо.

Рядом с Лизой на своей полоске стараются два хлопца Семеновых — Гешка и Вовка. Видит она — братья что-то не поладили. Гешка постарше, три зимы в школу бегал, не пускает Вовку на свою полосу, хочет самостоятельно отличиться. Может, и до нормы дотянет, а велика по нему норма-то: семь соток на трудодень. Вишь, кричит на Вовку, что тот-де все время на полосе столбом стоит, а потом бригадир обмерит площадь и разделит ее на двоих. Не выработка будет, а смех, матери рассказать стыдно. Прочь поплелся Вовка, чуть не ревет. Рано бы ему в поле-то. Седьмой годок ему только.

Лиза вышла к дороге, окликнула Вовку. А тот застеснялся, покраснел, глаза в землю.

— Пойдем, Вовушка, я тебе полоску укажу, пойдем, хороший парень.

Лиза отмеривает с самого края поля пять шагов и завязывает узелком прядку стеблей. Потом, раздвигая перед собой стенку льна, идет шагов двадцать вперед, вдоль поля. За ней остается светлая дорожка. И там завязывает узелок. Оглянулась Лиза и улыбнулась: прошла по льну, а не примяла ни одного стебелька.

— Вот, дотеребишь досюда, и будет твоя норма.

— Семь соток? — спрашивает Вовка.

— Семь, — отвечает Лиза, — дотеребишь — трудодень начислим.

А сама отворачивается от Вовки. Сердце ее больно сжимается, но перед увлажнившимися глазами все равно стоит шупленькая Вовкина фигурка: рукава на локтях драные, штаны на коленках — тоже. Шапки да обутки и вовсе нет. Напечет ему головушку, да и ноги в цыпках, сорняком исколоты. Ох, неспроста мать его горевала недавно, что не во что парней одеть, хоть в школу не пускай. Надо будет в сельсовете из фонда всеобуча что-нибудь им выкроить.

Теребит Лиза лен. Привычно вяжет аккуратные снопики. Глянет вправо: Гешка работает не разгибается, только локти подпрыгивают. Глянет влево: Вовка копошится, сидя сноп вяжет, видно, поясница разболелась. Ох ты, лен, наш хлебушко!

Американский пиджак после грозы просох быстро, но съезжился и потерял свой форсистый вид. Однако носить его было можно. Да и надеть, кроме-то, у Алексея нечего. Все довоенное Колька поистаскал. А с войны Алексей принес только пару белья да пару бывшего в употреблении солдатского «хебе», ну еще потертую шинель и сапог на левую ногу. Вот и все трофеи.

Через месяц ребятишкам в школу. Видел Алексей, как мать по ночам раскладывает на столе всякие тряпки, вертит их так и этак, старается выбрать лоскуты попрочнее, выгадать из них что-нибудь. На инвалидную пенсию братишек не оденешь. А на трудодни достанется ли что? План хлебосдачи колхозу прислали такой, что раза в два больше, чем в военные годы. Страдал от всего этого Алексей. Но, получив по почте пенсию, шел в сельмаг и щедро закупал папиросы, брал пару поллитровок. Вечером отправлялся к Кимряку и, не замечая, что тот в обиде на него за отнятую должность, рассказывал ему длинные фронтовые истории. Кольке, составившему было им компанию, быстро надоели эти рассказы и лихие выпивки, и он уходил к девкам.

От МТС в колхоз прислали зоотехника — неказистую девчонку Тосю, которая остановилась квартировать по соседству с Кимряком. Как-то погожим вечером, когда инвалиды восседали на крыльце, она подошла послушать фронтовика. Алексей в этот раз старался вовсю. Но Тосю заели комары: не помогла и березовая веточка. Она тихо ушла, а Алексей сразу осекся и умолк.

По деревне же пошел разговор о новой паре: оба ученые, оба на должностях, а что он на костылях, так теперь и такие женихи под ногами не валяются. Не умолчала и мать.

— Жениться бы тебе надо, сын. Будет хоть к кому голову приклонить. Девка тихая, почесть ничего не делает, коров только в тетрабочку переписывает, а получку хорошую кажинный месяц получает. В колхозе столько не заработаешь. Вам бы и хватило с твоей пенсией.

Алексей, слушая ее, громко фыркал под умывальником и свирепо командовал Вовке:

— Лей на шею! Не бойся, что в уши попадет!

Матери он ничего не ответил. Поехал в тот день в город, вернулся мертвецки пьяным. Ночью бредил, отдавал команды, словно в атаку ходил, ругался и стонал.

Утром он с трудом поднял больную голову. И поразился тишине в доме. Вслушиваясь, уловил приглушенные всхлипывания. И вдруг крик матери, дикий, неестественный:

— Гос-по-ди-и! За что? Ведь и война-то кончилась!

Алексея подбросило. Он в чем был поскакал к постели матери, но дорогу ему загородил Колька. Недобро глянув на брата сухими глазами, он глухо выкрикнул:

— Ты все пьешь! А батьку убили!

* * *

Страшная весть, которой уже никто не ожидал, черным крылом повисла над деревней. Семен Семенов, председатель колхоза, ушел на фронт в первый месяц войны. Писал, что воевал под Москвой и на Волге, форсировал Днепр, брал Берлин. Ни слова не было в его письмах о фронтовых тяготах и опасности, о ранениях и контузиях. Его ждала вся деревня. Но где-то в беспокойной Европе злая пуля недобитого врага сразила Семена на третьем месяце мира.

Теперь многие с ожиданием глядели на Алексея. Ничего, что ноги нет. И на одной шибко скачет. И голова на плечах не пустая, зря, что ли, его десять лет учили. Выпивает, это верно. Но ведь должен образумиться.

Скорбная тишина стояла в доме Семеновых. Сгорбилась и постарела мать. Колька остервенело работал в колхозе. Тяжелые морщины перерезали лоб Алексея. По-иному зазвучали в его душе строчки давно заученной поэмы: «Ты наш старший брат — наш второй отец...»

Алексей ехал в райцентр, и ему никто не мешал думать... Да, он станет отцом братишкам. К черту вино и табак! Он скомкал в кармане початую пачку папирос и швырнул ее в придорожную канаву.

— Нет, я не должен быть в деревне вторым Кимряком! — заключил он. Культипка на этот раз у него не болела, и высокий душевный настрой не оставлял фронтовика до самого райцентра...

Правление обсуждало вопрос о пастбищах. Ближние выгоны скотина как бритвой выбрила. А на дальние — не прогнать ее, все изгороди сгнили, не отстоять хлеба от большой потравы. Алексей лихорадочно думал. Заготовлять жерди и колья — долго, да и не по силам это сейчас деревне. Опять же — огород городить не каждая баба может.

До войны у колхоза были пастбища за рекой, но со-

рокаметровый мост через нее рухнул от ветхости. Наводить новый — труднее, чем изгороди ставить.

— Есть выход! — решительно заявил правленцам Алексей. — Надо делать паром. Мы с Колькой в три дня его соорудим.

И как ни сомневались правленцы, что-де паромом стадо на тот берег полдня придется перевозить да полдня обратно, Алексей так горячо защищал свою идею, что Лиза согласилась.

— Попробуем, — решила она. — Попыток — не убыток. Может, и получится. В крайнем случае коров на ночевку оставим, а доярки к ним плавать будут.

Уже на другой день Колька без передыха рубил елки и таскал на себе бревна к реке, а Алексей вымеривал и подпиливал их. Управились за два дня. На славу получился плот. Широкий, заостренный спереди, он казался братьям чуть ли не кораблем. Втемнях они вывели его на быстринку, прокатились по течению. Выбрали заводь поспокойнее и закрепили плот кольями, вогнав их глубоко в песчаное дно. С удовольствием искупались и домой шли довольные собой.

Утром Алексей самолично начислил Кольке за плот три трудодня. И тут же в правление влетела обозленная пастушиха Агафья.

— Где ваш плот-от? — с порога заругалась она. — Целу утрину ищем, одни щепки на берегу нашли. Коровы голодные! Мошенники!

Алексей побледнел. Сразу вспомнился ливень, хлеставший всю ночь. Ясно, что плот унесло паводком, искать его теперь — глупое дело. А строить другой — и заикаться нельзя.

Мучась от стыда, Алексей решил во что бы то ни стало найти выход. «Нет безвыходных положений», — повторял он про себя одно из армейских правил. И придумал.

Немало пришлось поубеждать председательшу, что вдоль прогонов, на месте старых изгородей, надо рыть канавы, да такие, чтобы корове их не перепрыгнуть. Лиза долго и недоверчиво глядела в ясные, виноватые, но искренние и горячие глаза Алексея.

— Ну ладно, — наконец сдалась она. — Канавы водой не унесет. Только кто их копать-то будет?

— Все будут. Я первый. Каждому дадим задание.

— Да как ты копать-то будешь? Ведь земля — не пух, на заступ надо ногой нажимать. А у тебя одна нога-то. На чем стоять будешь?

— Выстоим!— готовый на любое самопожертвование крикнул Алексей.

— Ты лучше о расценках подумай. За сколько метров трудодень начислять.

— Высчитаю. На себе проверю!

В какой-то горячке Алексей долго чертил профили канавы, стараясь найти самый надежный и малотрудоемкий вариант. Высчитывал ширину и глубину, думал, на какую сторону выбрасывать грунт.

Утром, прижимая к костылю загодя наточенный заступ, Алексей шагал в прогон. Выбрал место и, крикнув, всадил лопату в засохшую землю. Ленту дерна удалось снять довольно быстро. Дальше пошло хуже. Как ни приспособливался он копать, и стоя, и сидя, но лопата выгребала из ямы до смешного маленькие кусочки глины. Взмокла гимнастерка, мелкой дрожью билось от непривычного напряжения колено. Алексей понял, что ему не откопать яму в глубину по задуманному профилю. Но и отступать он не мог. Страшно ругаясь, он прыгал вокруг бесформенной ямки, высоко поднимал руки и снова вонзал заступ в неподатливую землю. Он не замечал, что проезжавший мимо Колька уже давненько смотрит на него. Колька понял все. Он спрыгнул с телеги и тихонько отобрал у брата заступ. Тот бешено вскинул на него глаза.

— Подожди. Я до дна докопаю, а там ты и сам ходко пойдешь,— успокоил его Колька.

Алексей отдохнул, пока младший брат споро бросал крупные комья, вгрызаясь вглубь. Вскоре канава двухметровой длины была готова. Алексей тяжело спрыгнул в нее. Теперь копать было легче: долбить почти отвесную стенку перед собой и выбрасывать землю наверх. Можно было и на стенки опереться. Это очень помогало.

За день он прогнал канаву на двенадцать метров и решил, что такой и должна быть норма для всех. Домой добрал еле-еле. Наутро с лопатами в прогон пошли женщины. Колька, работая в сторонке, выполнил свою норму еще до завтрака и уехал в поле. Алексей сидел дома. Все его тело было разбито и нестерпимо болело. Не мог поднять руки. Глянув в зеркало, не узнал себя: под глазом лиловела огромная опухоль. Он послал Гешку в правление сказать Лизе, что на работу не выйдет: из скулы полез на волю осколок мины.

Опухоль быстро превращалась в багровый нарыв. Алексей рычал от боли, метаясь по пустой избе. Прико-

вылял Кимряк. Посочувствовал, помолчал и вдруг потащил Алексея к себе домой. В закопченной комнате, среди обрезков кожи и войлока, старик готовил операцию. Прокалил в огне длинное шило, поставил перед Алексеем осколок толстого зеркала.

— Начинай.

Морщась и охая, Алексей прокалывал нарыв. Кимряк наблюдал с неподдельным интересом, поминутно давал советы. Осколок вскоре упал на стол — маленький, с острыми углами, страшноватый кусочек светлого немецкого чугуна. По щеке Алексея сочилась сукровица. Бледный, он сидел, прислонив запрокинутую голову к стене, и кусал губы. И тут Кимряк вымахнул из-под лавки бутылку самогона.

— Давай для поправки!

— Оставь,— отмахнулся Алексей.— Не до этого.

Кимряк не успел удивиться, как под окнами раздался панический крик.

— Ээй! Кто в избах! Корова в новую яму завалилась. Выходите тащить, не то подохнет!

Кричала опять пастушиха Агафья. Глянув в окно, Алексей увидел, как в прогон сыпанула ватага ребятишек, за ними скорым шагом и с воем, словно на пожар, следовали женщины. Алексей и сам рванулся было к дверям, но не хватило сил. Его жгло какое-то нестерпимо обидное чувство, досада и злость перерастали в отчаяние. Он коротко взвыл и сразу смолк, уставясь на Кимряка глазами, полными страдания. А тот уже стоял перед ним с полным стаканом.

— Давай,— прохрипел Алексей.— Все к чертям собачьим!

Хмель сразу оглушил его. Алексей потом со стыдом вспоминал, как он плакал, как вместе с Кимряком пел жалостные сиротские песни, как они обнимались и клялись в дружбе. Все это он старался забыть, но никак не шли из памяти слова старика: «В деревне надо жить спокойней, а ты смятен душой и неровен. Не жилец ты здесь. Уедешь, оставишь меня одного».

В тот вечер Алексей притащился домой уже темной ночью и без американского пиджака. Он подарил его Кимряку. Заметно поскупевшая за последнее время Наталья молча встретила Алексея.

Корову из канавы удалось вытащить. Но в деревне почти в открытую говорили, что на Алексея больше надеяться не стоит.

Поспевали хлеба... В эти-то дни и кончилась сразу во многих домах мука. Выручило бы молоко, да не в каждом дворе корова. Больше надеялись на картошку. Как-то за обедом, когда уже совсем не было хлеба, Колька сказал для бодрости новую частушку:

Все картошка да картошка,
Да картожны колобки.
Довела меня картошка,
Что не держатся портки!

Шутка рассмешила. Но с нее сыт не будешь.

Мать пошла по деревне. Она сердилась на Кимряка за пиджак и требовательно постучала к нему. Кимряк, исхудавший и черный, сидел в переднем углу под образами. Хлебом в доме не пахло.

— Заплати хоть за пиджак-то,— осуждающе заговорила мать.— А то получается, что нищий у нищего портянку украл.

— Нечем платить. А его можешь забирать со всеми клетками,— отвернулся от нее Кимряк.— И без него помру.

Мать сняла с гвоздя пиджак и критически осмотрела его. Подкладки у пиджака не было.

— Куда подкладку-то дел?

— Это у Нинки-с-медалью спрашивай, ежели отдаст,— осклабился Кимряк.— Я, чай, холостяк и женский интерес уважаю.

— Бес ты старой, как ты земля носит!— заругалась Наталья. Она отнесла пиджак домой и намеревалась тут же постыдить Алексея за подкладку, но сына не было, хотя во дворе темнело. До полуночи ждала мать Алексея и не дождалась. Давно уже сладко похрапывали ребятишки, изредка метался на постели и в бреду покрикивал на лошадей Колька. Все это было привычно.

В полночь мать спустилась в подвал. И о хлебе она исстрадалась, и о сыне старшем. Недобрые предчувствия теснили ее душу. Она нащупала на полочке огарок тонкой свечки и зажгла его, поставив перед собой на завалинку. Развернула чистую тряпицу, которой была обернута древняя книга в деревянных обложках.

...В тот горький день, когда пришла похоронная на мужа, Наталья, уже много лет не ходившая в церковь и не крестившая лба, отыскала в поеденной мышами бумажной рухляди Псалтырь. Открыла его дрожащей

рукой на война Семена и всю ночь читала с жаром и слезами малопонятные строчки, стараясь найти и, как кажется, находя в них сокровенный смысл. Это облегчало душу. Утром она доверительно рассказывала об этом соседкам, приходившим разделить горе.

— Словно и похоронной не верю теперь,— проникновенно шептала она.

— И не верь. Бог лучше нас знает.— И соседки просили Наталью открыть святую книгу на их воинов.

И вот Наталья снова открыла книгу.

— Господи,— истово выговаривала она вовсе не то, что было в книге.— Вразуми ты моего старшего. Весь-то он издергался. Отведи ты от него думы черные, наставь на путь истинный.

Долго читала замысловатые, по-доброму назидательные фразы из книги, застывала в глубоком смиренном поклоне. И вот загремело где-то вверху и раздался внятный голос. Глянула Наталья: перед ней сам Иисус благословляет ее троеперстием. А кругом сияние невиданное и музыка сладкая. Пала Наталья лицом на холодную землю, потому что считала недостойной себя зреть лицо божие, да и страх великий ее охватил. Пала и услышала явственно: «Терпи, раба божия, не возропщи душой. А за кротость твою будет хлеб детям твоим, и старший сын выйдет на путь праведный».

Снова загремело, зашелестело вверху. И словно кто-то крикнул издали: «В ларь загляни! В ларь!»

Все стихло. Не веря себе, Наталья долго не могла пошевелиться. Но потух огарок, из окошечка потянуло холодком. Наталья разогнула спину, с трудом встала и поднялась наверх. Долго стояла перед ларем, страшась разочарования. Наконец подняла крышку и опустила руку в крайний сусек. На дне его была горка муки.

* * *

Утром в доме Семеновых запахло хлебом. Мать пекла лепешки. В избу заглянула набожная старуха Авдотья Кошкина, и Наталья, все еще находящаяся в горячем возбуждении, тут же поведала ей о ночном видении. Авдотья упала перед ней на колени.

— Благослови! Святая ты, Натальюшка!

Наталья благословила. Гостья, крестясь и кланяясь, выпросила кусочек лепешки, поцеловала его и бережно завернула в тряпку, словно просвиру. А через несколько минут в избу залетела Левиха.

— Наталья!— с порога зашумела она.— Говорят, тебе муки бог послал. Что печешь-то?— И, не спрашивая разрешения, схватила пару горячих еще лепешек.— Точно, ржаные, нет, пшеничные,— радостно лопотала она, жуя и обжигаясь. Проглотив вторую лепешку, Левиха столь же поспешно и суматошно бросилась вон.

Через полчаса у кладовой, где хранились семена для озимого сева, Левиха самолично таскала на весы тяжелые мешки. И вот по деревне понесся ее крик:

— В кладовой недостача! Пуд семян пропал. А у Семеновых лепешки пекут, сама пробовала!

Скоро к дому Семеновых Левиха подступала уже вместе с Лизой.

— Может, выменяли где?— с тайной надеждой спрашивала у Натальи Лиза.

— Что вы, это бог послал, виденье мне было!— растерянно объясняла Наталья.

— Бог по колхозным кладовым, что ли, ходит?— ехидничала Левиха.

И тут не выдержал Алексей. Одним прыжком подскочил он к председательшам и замахнулся костылем.

— Вон!— заорал он не своим голосом.— Башку разmozжу!

Левиха опрометью кинулась в дверь. За ней тихо вышла Лиза. А возле крыльца их уже поджидал всклокоченный Кимряк.

— Я воровал! — выкрикнул он.— Судите меня!

— Зачем же ты?— с укором спросила Лиза.

— Ребятишек стало жалко ихних! Защитника-фронтovика! Да и сам... Судите!— отчаянно размахивал руками старик.

Но виноват был не один Кимряк.

...Алексей в одно время с матерью тоже искал по деревне хлеба. Сперва заглянул к Лизе. Председательша ужинала, на столе стояли картофельные коlobки.

— Али на войне-то лучше кормили?— пошутила она.

— Ко всему привык,— грустно улыбнулся в ответ Алексей.— Но там один, сам за себя, а тут — семья.

Договорились, что как только в колхозной кассе появятся деньги, Алексей возьмет аванс до пенсии, съездит за хлебом в город.

— Поди к Тосе, у нее получка каждый месяц,— посоветовала Лиза.

В доме Тоси огня не было, но Алексей услышал приглушенные голоса в огороде и толкнул калитку. Она от-

ворилась беззвучно. Алексей двинулся в глубь двора и в пяти шагах от себя, под березой, разглядел американский пиджак. Пиджак был накинут на Тосины плечи, и широкие Колькины ладони лежали на них. Раздался давно забытый Алексеем звук поцелуя.

В два прыжка выскочил он с подворья и понесся вдоль улицы. Нестерпимо колото в груди. Обида на брата? Нет. Скорее на самого себя. Трудно дышать. Остановился и утер со лба внезапно выступивший пот. Грузно обвис на костылях, зажмурился.

— Может, зайдете, Алексей Семенович?— услышал он голос Нинки-с-медалью. Она высунулась из окна и улыбалась.— Чего стоять-то долго? Люди увидят.

Алексей не сразу сообразил, о чем она беспокоится, скрипнул зубами и поковылял прочь. Пришел к Кимряку, попросил самогона.

— Нету, брат,— развел руками тот.— Голодуха.

Долго молчали.

— Тоже есть-то нечего?— полюбопытствовал Кимряк.

— Нечего.

— Могу выручить на денек-другой.

Алексей подался к нему всем телом.

— Не себе, ребятишкам.

— Вот-вот, и я то же говорю,— спокойно ответил Кимряк, отстегивая липку, в которой Алексей, глазам своим не веря, увидел увесистый мешочек с зерном.

— Где добыл?

— Не твое дело. Бери... За подкладку американского пиджака. Подкладку-то я, грешным делом, пропил.

Ночью инвалиды на домашних жерновах намололи муки, и Кимряк же надоумил Алексея тайком высыпать ее в ларь.

* * *

В сельсовете сидели обе председательши. Лиза уговаривала Левиху и не давала ей звонить в милицию.

— Кого под суд-то отдашь, подумай.

Левиха еще долго кричала, но все тише, тише и вдруг со слезами разоткровенничалась:

— А ты думаешь, я не воровала? Ох, всего было, как триста верст от немца бежала,—вспоминала она, вытирая поблекшие глаза.— Давай уж мы их постыдим на собрании да взыщем потом.

— Вот это правильно!— сразу согласилась Лиза.—

Да скажем бабам, чтобы не разносили слухи до других деревень. Поймут бабы-то.

Обе председательши еще долго сидели в сельсовете, не зажигая лампы. Разошлись домой с печалью на душе.

Ничего не знали об этом разговоре Лизы и Левихи в доме Семеновых. Да и не стало бы легче, если и узнали бы. С Натальей стряслась беда: она замолчала, словно никогда и не умела говорить, и еще у нее стала крупно дрожать голова.

— Что с тобой, мама! — кричал Алексей, терзаясь новыми, незнакомыми ему и, казалось, совсем невыносимыми муками. Но с лица матери не сходила маска горького удивления. И лишь глаза ее горели неистово, выдавая напряженную работу духа. Но и глаза порой казались сумасшедшими.

Молчал и Колька, хмуро поглядывая на брата. Он не упрекал его вслух: и так много крику было в доме за последние дни.

Наталья молчала. Она не осознавала, что с ней произошло что-то неладное. Но странное безразличие охватило ее ко всему, кроме детей, кроме Алексея. И она думала, думала... Она твердо верила, что и не надо ни о чем говорить, пока не придет ей на ум единственное решение — как быть с Алексеем.

«И до чего же не везет ему, господи, — то ли молилась, то ли рассуждала она. — А что дальше-то будет при его сердце горячем, израненном? Какие ждут его испытания? Ведь что ни сделает он шаг по деревне, то и боль. Да одна хуже другой. Господи! И ведь не от глупости, не от злого умысла все, а от доброты души».

«А ведь как у него все ладно получалось, когда он до войны-то не дома жил, учился? — с удивлением вспоминала Наталья. — И пошел бы он по культурной жизни городской не в последнем ряду, кабы не война эта. К ученью у него голова способная. Да и сейчас не ушли еще годы его. А учиться можно и безногому. Отправить, что ли, его? Только как он будет там по чужим углам, без матери? Все сердце выболит... А здесь насовсем пропадает. Может, и забыл бы он там за учебой обиды деревенские. Может, и жену найдет добрую. Но не думает он об этом своей головой».

И еще, еще думала Наталья, сложив на коленях иссохшие руки и ничего не видя перед собой. Просидела она так день и ночь. А к утру зашевелились ее губы и она встала, принялась растоплять печь.

Но не видел этого Алексей. Не было его в эту ночь дома. Еще в сумерках вышел он к загородке, добрал до заднего забора, привалился грудью к жердям.

«Все кончено,— думал он.— Не гожусь никуда. А с позором заслуженным как в глаза глядеть людям? Полный крах потерпел отставной лейтенант. На мирном фронте. Не сумел — ну и расплачивайся».

Горячие волны приливали к голове Алексея, наполняли его злой решимостью.

Мышцы его одеревенели, и он долго ковылял в тот угол загородки, где был схоронен пистолет.

Вот оно, тайное место. Но почему нет сил заставить себя наклониться? Слабак! Умел опозориться — умей и смыть позор, не будь обузой. И пальцы Алексея заскребли по луговине, отыскивая тот квадратик дерна, который еще не успел прирасти к земле намертво.

— Не дури! — раздался над ним приглушенный голос Кольки. Алексей рывком выпрямился, бешено глянул на брата. Слов не было.

— Не ищи,— тихо сказал Колька.— Я перепрятал.

— Ты что! — заорал Алексей. Он схватил брата за рубашку, рванул на себя, слыша, как затрещала ткань. И не устоял. Колька тяжело упал на него, обнимая руками, прижал лицо брата к сырой траве, загнул его дергающиеся руки за спину.

— Поостынь,— дрожащим от напряжения голосом говорил Колька, торжествуя победу.— Не отпущу, пока не поклянешься, что ничего над собой не сделаешь, что одумался. Всю ночь буду держать. Не вырвешься.

Алексей и сам понял, что не вырваться. Но молчал.

— Пусти,— наконец прохрипел он.

— Давай слово.

— Черт с тобой. Ладно.

Колька поднял брата и все еще придерживал его за руки. Алексей отдышался и рывком высвободил руки.

— Дубина! — сказал он.— Собрался с силой.

Он поковылял к дому и сел на старое бревнышко у поленницы. Колька примостился рядом. Долго курили.

— Эгоист ты,— ругнулся Колька, затапывая окурок.— Только о себе жалобно думаешь. Мать измучил. Ну стрельнулся бы ты и чего бы доказал? Еще бы всем тошнее стало. Офицер!

— Перестань,— попросил Алексей. И Колька замолк.— Мне бы надо дело, с которым я справлюсь...

— Так ведь справлялся счетоводом! Работай.

— Не то. Менять жизнь надо. А куда я годеи?

— Чудак! Ты же один во всем сельсовете в радио понимаешь. Вот и дело. Поезжай в город. Там какие-то радиоузлы есть. Примут.

* * *

Лето было на исходе. В деревне намолотили свежего зерна. Повеселевшие хозяйки метали из печей румяные подовики. В заулках плавал аромат испеченного хлеба. Но деревню занимало другое — уезжал Алексей.

Теперь он не показывался на улице. И должность свою уступил Кимряку. Но вечерами они продолжали встречаться.

— Опозорились мы, верно, — рассуждал Кимряк. — Но это можно пережить. Не мы первые... Совесть меня не терзает. На жизнь я гляжу по-стариковски и многое вижу. — Кимряк был доволен, что у него есть внимательный слушатель, и философствовал. — Вот и ты, Алексей, человек хороший. Но горяч по молодости и своего призвания не понимаешь. Главная закавыка — не ко двору ты здесь. Ты уж разные города видел, в Европу заглядывал, аттестат зрелости имеешь. И как же ты не поймешь, что другая тебе судьба написана! Здесь ты чужой и мало полезный, как твой пиджак американский. Пиджак скоро истлеет — дрянь материал, жулик его делал. А ты хоть и покрепче его, но не ту дратву в руки берешь, не с того краю голенище тачать начинаешь. Тебе бы с такой молодежью жить, где всякие теории, стихи, учеба. Ведь и такие люди для жизни нужны. Поищи-ка себе место да поезжай. Фронтвику везде содействие будет.

Скрутив новую сигарку и увидев, что она получилась удачной, Кимряк ударился в новые рассуждения.

— Ты вот мнил себя спасителем для деревни. А она и не погибала. Она сама себя спасет, если что. А ты чуть спотыкнулся, так был бы у тебя пистолет, так бы его сразу к виску и приставил. А и всего-то беды: корова в канаву упала — так они каждый год где-нибудь вязнут или заваливаются; хлеба на неделю не хватило — а в старое время месяцами зубы на полке держали и многие даже мерли с голоду... Вот ваш Колька подрастет — готовый деятель колхозного движения будет. Он тутошний, а ты — нет, хоть вы и родные братья... И что еще хорошо: невозможно у нас честному

человеку пропасть. Вот мне бы давно пора сгинуть, не коптить неба, а я жив и нередко весел. И ты бы мог пропасть, а не пропадешь. Никак тебе не пропасть, вытащат тебя за уши, на ноги поставят. Конечно, если и сам к этому стремление имеешь. Это все оттого, что власть у нас своя. Все понимает. Лизка — золото не оцененное. Левиха хоть и дура взбалмошная, но тоже внутри душу имеет. А в городах, само собой, не дурнее их люди у власти поставлены.

Алексей слушал его и тихо радовался. Уезжать он решил твердо и теперь выбирал только место, куда ехать. Остановился он наконец на самом близком от деревни большом городе — на Ленинграде. Мать уже починала вечерами его немудреное барахлишко и вела тихие беседы.

— Ты уж там не горячись. Не ровен час — под какой трамвай угодишь, там ведь, поди, много трамваев-то, — как ребенку наговаривала она. — Да деньги-то береги. Разве нам сахарку пришьлешь. Давно уж у нас не было сахару-то.

Беседа тянулась долго, и Алексей с любовью глядел на сухонькие, но еще проворные руки матери.

— А еще я расскажу тебе из старого, — продолжала напевно мать. — Раньше-то старший сын почесть из кажинной семьи уходил в Питер в мальчики. Разные ремесла там постигали. А потом и младших братьев за собой тянули и тех в люди выводили. Зато уж как приедут в деревню на праздник на тройке с бубенцами, гостинцев все навезут. Хорошие были обычаи.

Мать подбила под пиджак новую подкладку. Но, прощаясь на разъезде, Алексей отдал заокеанский подарок Кольке.

— Он один на всю деревню прислан. И ты имеешь на него больше прав, чем я, — уверял Алексей брата. — Да и везет тебе в нем на любовь.

* * *

Вернулся он неожиданно скоро, недели через две. Но его было не узнать. Все те же застиранные солдатские галифе и гимнастерка сидели на нем не по-деревенски лихо. Он еще больше исхудал, но весь светился радостным азартом. Рассказывал, что попробовал наудачу и сразу поступил в институт, все экзамены выдержал на радиофакультет. Теперь приехал, чтобы посушить картошки на первый студенческий семестр.

И снова Алексея провожал Колька. Мать стояла на крыльце, и слезы ее не были тяжкими. Братья прошли загородку. Алексей вскочил на изгородь, еще раз оглянулся. И вдруг захохотал.

Рядом с грядкой гороха стояло пугало, одетое в неузнаваемо расползшийся американский пиджак. Алексей соскочил с изгороди и подошел ближе к пугалу.

— Это я еще раз в нем под дождь угодил,— усмехнулся Колька.— Бумага — бумага и есть.

— А воротник-то еще крепенький! — смеялся Алексей, поддевая пиджак костылем.

— Это оттого, что мать в него дерюжку домотканую вшивала,— пояснил Колька.— А то бы и воротнику хана.

Фигуры братьев недолго маячили на проселке. Налетел ветер, закрыл дорогу пылью. В огороде обиженно зашелестел дозревший горох. И пугало протянуло обтрепанные рукава в ту сторону, куда ушли русские обладатели американского пиджака. Но порыв был слабым, и рукава безжизненно повисли.

А на задворках правления, все еще глядя вслед братьям, сморкался и растирал по щекам слезы одинокий Кимряк. Что-то непонятное приключилось с ним в последнее время. Пить перестал, взялся за счетоводные дела... Но вдруг он встрепенулся и поспешил к сельсовету. Над деревней несся призывный крик Левихи:

— Бабы! В сельпо чертову кожу привезли. Да и много! Всем хватит!

Левиха не повторяла своего зова. Но и он, единственный, пробудил в бабьих душах надежду. И на мгновение была заглушена мрачная музыка надвигающейся на деревню долгой и неласковой осени.

КУРНИК

Самый маленький и неприхотливый, заслуживший в нашем Аэрофлоте почетное звание ветерана труда и долгожителя пассажирский самолет «Аннушка» совершал обычный рейс.

Бабке Марье, тоже ветерану труда, летевшей в Вологду повидать дочь и понянчить внуков, самолет не в диковинку: каждый год последнее время по два раза летает. Путешествовать она привыкла, и это ей даже нравится, не как иным ее деревенским товаркам, которые и паровоза за свою жизнь не видывали, а слышав гул с небес, только крестятся.

В поезде, конечно, бабке много удобнее. Там как сядешь на нижнюю лавку возле окна — обязательно уступали бабке это место добрые люди, — как поглядишь на этих людей ласково, так и не удержишься от душевного разговора. Да и зачем себя удерживать, если слова льются ручейком, а на сердце становится покойно и радостно.

Обо всем-то поведает бабка попутчикам, до последних новостей и подробностей: и про пьяницу зятя — штурмана Геннадия, который увез дочушку Нину в город Мурманск да и мает ее там, мает. А в городе том морозно-студено и океан Ледовитый в окошко дышит. И про сноху Глафиру-разбойницу, что подцепила в городе Череповецком ее безответного сына Василия, самого лучшего на стройках плотника. И про маленького внука вологодского Ванечку, нареченного так в честь и в память о дедушке.

— Геннадий-то, штурман-то, как уйдет в моря на полгода, так и кукуй жена одинокой кукушечкой, гляди в окошечко. А приплывет — тоже не легче. Слезет на берег-то, дак перво-наперво магазины да рестораны обштурмует, а потом уж и за Нинушку примется, ни днем ни ночью покоя. Вот ведь какой трясоголовый! Как он только в море-то не заблудится! — выкладывала бабка Марья. — А через месяц, глядишь, и снова на своем корабле куда-то уплыл. Одни птицы-чайки, поди, и знают, где он валандается... А у Глафиры кажинный день по вечерам только и дела, что глафирить. Истинный бог, оглашенная! А внука-то Ванечку родители уж не знаю каким и словом зовут: мун-дир-кин вроде. А никакой он не мун-дир-кин, а умница. На ноги давно ли встал, ходить выучился, а уж с батьком, он майор милицейский, на нивчю в шашки чуть не выигрывает. Эти в Вологде-то хорошо живут, хорошо.

— Вундеркинд, наверное, мать, — говорили ей. — Это ребенок раннего развития, с большими способностями.

— Может, и эдак. Я спросить-то боялась, чтобы за дуру темную не посчитали, — охотно соглашалась бабка. — А так-то он толковенькой. Привезу варенья банку трехлитровую, а он в один присест и ополовинит, и не замарается. Соображает головенка-то, сразу видать.

— Штурмовать — это понятно, а глафирить? — спрашивали у нее.

— А чего непонятного-то? Денежки на духи да на

деревянные туфли, из других стран привезенные, у мужа выманивать. Целовать и за волосы драть в одно и то же время. А то хвостом крутнуть да и на репетицию. И сиди муж после плотницкой-то тяжелой работы без ужина. Я бы ему чего и сготовила, дак газу городского боюсь, не умею. Даки он сам, милые, сам. И меня, старуху, чаем напоит с моим же вареньем. Вот жизнь-то какая пошла нонечи. Не приведи господь! Я уж улаживаю меж ими, улаживаю, да куды там! Не с моим умом, видно, надо. Остарела вся. А раньше-то я бы зараз их приструнила. По единой бы половничке ходили.

Бабке не терпится поговорить и в самолете. А как поговоришь, если вокруг гром небесный да будто и в своем нутре гудит? Да и сам-то самолет мотается-тычется, как пьяный мужик, потрескивает и побрякивает, словно телега на кочковатой дороге, того и гляди развалится. А не будь такого неустройства — лучше некуда бы в самолете разговаривать. Пассажиры посажены рядком, спиной к стеночкам, не отойдешь, не больно и отвернешься, потому что все брезентовыми ляжками за пояс к сиденью пристегнуты. Сиди и толкуй рядок в рядок, лицо в лицо. По плечу можно похлопать соседа. Но — ничегошеньки не слышно! Вот и в этот раз сам бы бог велел бабке разговориться со стариком, что напротив. А ничего не попишешь: сиди, рот закрывши, да думай про него по-своему.

Дед тоже разглядывал бабку, но никакого желания познакомиться не выказывал. Да и не мог он разговаривать, молчать приказал себе всю дорогу, потому что летел он по особо важному делу, которое может и сорваться. Нагрянула летом к нему целая экспедиция. Парни и девки, и все как один в одинаковых синеньких порточках в обтяжку, в джинсах по-ихнему. Вертят задницами, а в головах у них любопытное и полезное дело: собирать да записывать разную народную мудрость: пословицы, прибаутки там, частушки. Он кочевряжиться перед заезжей молодежкой не стал, приспела она к хоршему его настроению.

Ну и напел он им! До ста считали-записывали, а потом и дальше, пока не пошли у него частушки с картинками. Тут ему сказали стоп, посоветовали отдохнуть, поуспокоиться, чтобы другие незаписанные на память пришли. Да куда там! В пляс он пустился, подхвативши одну девицу, показал им, что такое старинная деревенская кадриль.

— Как же это-то нам записать? — запричитала-застонала экспедиция.— Нет у нас такой аппаратуры! Приезжайте, дедушка, к нам в Вологду, прямо в Дом народного творчества и покажите все главным нашим художественным руководителям!

Вот чем мог бы похвастать дед. У бабки душа бы занялась от этакого. Не поверила бы, старая калоша!

И еще можно бы рассказать, что уехала экспедиция, насулив ему всего, да и как в воду канула. Ждал он ждал — ни звука. Ну и решился сам написать, прямо в Дом народного творчества. А оттуда через неделю бац — сорок рублей командировочных денег и строгое предписание выезжать. Разве можно от такого уклониться? Тут и мысли никакой посторонней не должно возникать. Самолетом надо лететь экстренно. Вот и вылетел. Но рассказывать обо всем этом никак нельзя, сглазить и повредить делу можно. А ну как не пойдут ноги в пляс! А ведь он написал, что самые старинные коленца и выходку вспомнил, каких уж не помнит никто, не видел и не изобразит...

А бабка думает по-своему:

«Ходовитый, видно, старичок-то, шустрый еще. А может, и шепутной. Как садились в самолет-то, дак обогнал, чуть в снег не столкнул, видно, уж больно место занять торопился. Или летит впервой, дак зашалел. Или сроду такой несуразной и воспитания не имеет, если уважения к людям не соблюдает...

Опередил, заскакал козлом перед железной-то лентой, а на ступеньку валенком не попадает. Новые валенки-то, неподшитые. Был бы каблук-то подшит, дак не оскальзывалась бы нога. Подсаживать пришлось старого путаника. А как подсаживала — ахнула, чуть руки не опустила. Углядела, хоть и с полуслепу, что на спине-то у него, на новехонькой телогрейке из синего материалу, частыми строчками простроченному, большие желтые буквы идут, дугой напечатанные! И время-то было малое, а успела прочитать. Только что и за слово такое, понеси леший, непонятное: «Мин-монтаж-спец-строй». На что тут можно думать? Кто и пошто так старичка пометил? Видно же, что не арестант он с тузом на спине, такого вольно бы не отпустили. Уж не из начальников ли он, как бы военных? Да и слог-то «спец» о чем говорит? Надо полагать, немалый специалист этот старичок по какому-то делу. И еще «строй». Знать, по строительству людям указывает. А уж что

означают «мин» да «мон» — один бес знает... А может, тут и миной пахнет. От таких и подальше отойдешь — не ошибешься. Муженек-покойник в войну-то возле мин служил, рассказывал. Не приведи господь...»

Бабка отметила, что рукавицы у деда самые деревенские, из старого полшубка или тулупа. Этакие и она не раз шивала. И шапка на старичке не новая, хоть и теплая. Но бабке подумалось, что ничего удивительного тут нет. «Не таскает руководящий старичок по командировкам хорошие вещи, значит, бережет. А в таких-то, как на нем, по зиме да по работе даже удобнее. С головой, видно, старичок, экономной».

«А ведь личность-то его будто признаю! — вдруг поразилась бабка Марья и даже перекрестилась, чтобы ушло недоброе наваждение, а оно не пропадало. — Неужто это Егорко из Замошья в собственном виде?! Не может того быть! Не дай бог такого попутчика. С девок помню его, мазурика. Нельзя ему признаваться, отворочусь-ко лучше, будто и не я...»

Бабка повернулась к иллюминатору, словно на землю ей поглядеть захотелось, хотя давно заметила, что аккуратное круглое оконце затянуто куржаком. И вдруг она охнула, уцепилась руками за сиденье. И было отчего.

Самолет вдруг начал косо заваливаться набок и окунулся в белую мякину облаков. Мотор ревел уже по-новому, с нехорошим подвыванием, будто жаловался, что надорвался до смерти.

Встрепенулся задремавший было старик, и бабка, забыв про самолет, еще больше осердилась и затосковала. За что ей такое наказание на старости лет? Ведь точно, сидел перед ней замошский Егорко, старый плут и знакомый.

«У одного его такие малюсенькие да хитрющие голубенькие глазки, сызмальства помню, — не зная, что ей теперь и делать, горестно раздумывала бабка. — Он! На одежду нечего глядеть, этого Егорки на все хватит. Беда, если не остепенился он к седым волосам...»

«Аннушка» между тем упрямо шла вниз. По своему желудку чувствовала это бабка. Всегда при посадках так бывало: замрет что-то внутри, засосет, будто есть захотелось донельзя, и подташнивает. По ее приметам, садиться «Аннушке» было рано, но теперь это почти не беспокоило ее, потому что заметила: старичок в диковинной телогрейке глядит прямо ей в лицо и вроде подмигивает — значит, признал, бесстыжий...

Самолет неожиданно гулко ударился колесами о землю, подскочил, сразу убавил прыти и неровно, как подшибленный петух, побежал; но скоро остановился, дрожа и завывая все пронзительнее, развернулся на месте, покачался еще немного из стороны в сторону и присел, опустив растопыренные крылья. Стало тихо. Привычного разноголосого шума вологодского аэропорта не доносилось снаружи. Привязанные к сиденьям пассажиры вытянули шеи к кабине пилотов, откуда не вдруг вышел, пригибаясь, высокий черноволосый летчик. Весь его вид говорил о нешуточном раздражении.

— Батюшко, неужто прилетели?— осведомилась бабка. Черноволосый и бровью не повел.

— Милой, да Вологда ли это? Мне ведь...

И снова ни звука, ни взгляда.

— Биряково это, мамаша,— бодро сообщил другой пилот, низенький, круглолицый и конопатый, выглядывая из кабины.

— Как так? По какому праву билетов? — загоношился дед. Забыв о привязных ремнях, он хотел даже вскочить, но только взмахнул руками и неловко плюхнулся на место. Обвел всех недоуменным взглядом.

«Как кобель на цепи,— с удовольствием отметила бабка.— Ни ступить, ни молвить сроду не умеет, а туда же... Нашел право билетов...»

— Через час доставим всех по назначению,— успокаивал конопатый.— Вологда пока не принимает.

— Да примет ли сегодня-то, христовый? — взмолилась бабка.— Чего уж там такого стрястись-то могло? Меня ить встречать сулились.

— Через час, повторяю, примет. Туча сейчас над Вологдой. От нас ее туда несет. Видите, куда поземка? — Конопатый протянул руку к распахнутому проему двери, за которым и в самом деле вилась поземка, хотя трудно было определить, в сторону Вологды дует ветер или наоборот.

— Вот бы добро-то! А то я тилиграмму уж дала... Бруснички везу...

— Отстегните ремни. Вещи оставьте на борту. И все — на аэровокзал. Чайку там попьете, согреетесь. А ну, за мной, по тропочке, по одному! — скомандовал конопатый, спрыгнул на снег как был, без шапки, и побежал к недалекому синему домику.

Бабка не оплошала, сошла первой. И по тропке трусила изо всех сил, так хотелось ей быть подальше от

старика, который, верь не верь, а точно был Егоркой из Замошья.

Однако в комнате для пассажиров бабка, распарившись от чая, забыла про осторожность, полушалок шерстяной размотала и осталась в одном ситцевом платочке горошинами. И Егорко, явившись после всех и с огромным рюкзаком за плечами, теперь уж совсем в упор уставился на нее. Глядел и глядел, грея ладони о стакан с чаем, и ничего опасного в его глазах бабка заметить не могла, но душа у нее ныла и трепетала.

И не к добру. Старичок вдруг подался к ней и вскричал так, будто вот-вот из лесу вышел, где наблудился и натерпелся страху.

— Марья?! Это ты?!

«Вконец признал, паразит! Как не признать: еще в парнях не один год прохождению не давал. Всю жизнь никуда от него, от дьявола, не денешься. А раз пристал — не отвяжется. Лучше уж начать с ним по-хорошему...»

— Я, Егорушко, здравствуй. Не могла толку дать на холоду-то, ты это ай нет.

— Как живешь-то?

«Надолго не отстанет, пустые глаза. Ну, теперь-то я уж ему не поддамся. Не те года!»

— А не хуже других! — с вызовом ответила бабка. — Ягод вот ноне насобираала ведер десять, дак везу...

— И я хорошо, — не дослушал дед. — Давай жить вместе!

— Поди-кось, старбень сивая! Шамкаешь, беззубый, а мелешь, — возмутилась и обиделась бабка.

— А что? Один-то зуб цел. А выпью — дак ого-го!

— Вот охальник-то, вот бес-то! Был боталом с молодости, им и помрешь.

— Ха! Я свою-то могилу старой заткнул, а сам живу и буду жить!

— Был мазуриком, им и остался. На пятнадцать суток тебя за такие слова.

— А я на месяц лечу.

— В холодную, поди-ка? — поддела бабка, помня его похождения в молодости.

— Во-первых, по наиважнейшему делу, по вызову большого учреждения, во-вторых, к сыну. Он у меня всем монтажникам начальник. Во какого сына я выродил! А ты, поди, и слыхом не слыхала, кто такой есть

монтажник,— и дед показал на рукав телогрейки, где красовалась эмблема со словом «Минмонтажспецстрой».

— А мой-то зять в Вологде, в милиции майор. Поимей в виду.

— Ишь, какая шишка! С меня, этта, и полковник допрос сымал. А вот внучка у меня дак в самом аэропорту служит. Вот я и летаю туда и обратно задаром хоть десять раз в году. Она мне все это устраивает. В быстрых полетах, как внучка и наука говорят, люди не стареют, а наоборот. Вот и летаю. А у тебя майор...

— Мели, Емеля! Так тебя и пустили бесплатно! Ты, поди, и самолет-то в первый раз увидел. Заметила я, как тебя трясло на посадке-то. Чистая лихорадка. Запасные штаны, поди-ка, взял.

— Чево?! — чрезвычайно изумился старик.— Да я еще до войны не раз летал. Бухгалтером, было дело, служил в Вытегре. Вызывают с отчетом в Петрозаводск. Ехать не на чем, пешком не дойдешь, а тут как раз попутный самолет. Ну и полетел по знакомству.

— И как долетели? — вмешалась в разговор красивая, но похоже довольно нервная дама. Да и остальные не без интереса следили за перепалкой стариков, то и дело посмеиваясь.

— Наполовину! — в сердцах громковато ответил дед.— Поначалу-то все как на картинке. Сверху солнышко, внизу Онего-озеро, сплошь снегом покрытое. Бело кругом, как в городской поликлинике. Лечу и радуюсь, хоть песни пой. И так я духом вознесся, что спасибо летчику захотелось сказать. А самолет-то был двухместный, летчик спереди сидит в своей кабине, а я в своей. И головы у нас наружу. Дотянулся я до летчика, хлопнул его по плечу и кричу: «Хорошо везешь!» Он оборачивается и мне: «Чего надо?» Я сызнава, чтобы похвалить: «Везешь, говорю, больно добро!» А он плюнул и, вижу, разворот делает, на лед, гляжу, на снижение пошел. Сели честь честью, а он оборачивается и в ругань: «Что, мать-перемать? Не выдержал?!» Я ему снова: «Везешь, милок, больно ловко, всю бы жизнь так катался. Как в летчики поступить?» А он совсем из себя вышел, ухватил меня лапичей-то за воротник — и на снег. «Сиди,— говорит,— тут или пешком дуй, ежели в аэроплане вести себя не умеешь». И улетел.

— Безобразие! — возмутилась красивая дама.— И как же вы живы остались? Ведь там Север! Зима!

— Ну, огляделся я и вижу, что один-одинешенек и

как раз посередке Онего-озера. Взял курс и потопал напрямую. Три дня и три ночи. Без еды и без воды. Где дак и белые медведи рядом шли, а где — волки. Еле живого меня подобрала. Однако бумаги с отчетом сохранил.

Дама нервно покачала головой. Призадумались и другие пассажиры. Одна бабка глядела на деда недоверчиво. Сказать бы людям и самому вруну деду, что он из деревни-то, наверно, всю жизнь никуда не выезжал, что и на войну-то его, слыхала она, по какой-то неизвестной причине не взяли, но бабке вовремя пришло в голову больше с дедом не связываться.

Летчики тоже слушали, пряча улыбки, потом поглядели подозрительно на дедов рюкзак и скрылись за дверью с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Оттуда скоро донесся хриплый голос ожившей рации, и вышедший низенький пилот весело scomандовал:

— Кончай закусывать! Полетели!

Все облегченно вздохнули и засуетились. Бабка замешкалась с полушалком. Дед, кряхтя, взваливал на спину рюкзак. Дама спешно подкрашивала губы.

— Эко, Фома неверующий,— не удержалась бабка.— Мешок свой побоялся в самолете оставить, ровно летчики тебя обокрадут.

— А ты думаешь, это мешок? — глянул на нее дед.

— А чего же?

— Парашют.

Не успевшие выйти пассажиры приостановились.

— Я себе достал,— пояснил дед,— потому как внучка в аэропорту.

— Да пошто он тебе?

— Спрыгну на ём, ежели что. Погода-то, самолет-то — видала?

— Да что такое? Вроде как всегда, по-зимнему...

— Шалишь. И погода нелетная, и самолет трещит. Тут бедой пахнет. И горючего может не хватить, потому как посадку делали, лишку истратили.

— Свят, свят, свят! — закрестилась бабка.— А чего же другим-то не дали эти штуки? Мы-то как же?

— Кто как... У меня внучка. А у тебя зять в милиции.

Пассажиры заволновались. Красивая дама наотрез отказалась идти в самолет. Пожилой мужчина, не проронивший до этого ни слова, заругался и обозвал ее «детским садом». Молодой парень помчался к самолету, видимо, объясняться с пилотами.

Конопатый пилот, прибежав от самолета, уже без

улыбки торопил всех следовать за ним. Дед выступил вперед и заявил:

— Я дак готов.

— Пошли, товарищи,— еще раз пригласил летчик и первым припустил к самолету. За ним двинулся дед. За его рукав уцепилась бабка. Пошли и другие. Однако красивая дама не сдвинулась с места.

— А как же они сами-то, летчики-то? Мне сказывали, что приказ им есть без этих штук летать, чтобы уж всем одна участь,— допытывалась бабка у деда.

— Как бы не так! У них эти штуки, может, автоматические. Может, в сапогах. Нажмут кнопку — и готово. Видала, какие голенища-то у ихних сапог толстые? В такие хоть черта можно упрятать, не то что парашют,— авторитетно разъяснял дед. Пассажиры столпились возле самолета, ступить на трап никто не решался.

— Где еще один человек? — выкрикнул конопатый.

— Там женщина одна, из культурных. Не желает без парашюта,— доложил дед.

Подвывал пронизывающий ветер. К ногам ластилась холодная поземка. Пассажиры согревались кто как, пока конопатый пилот с великими увещеваниями не привел красивую пассажирку. И тут, в проеме посадочной двери, появился черноволосый пилот-молчун.

— Приготовить вещи на досмотр! — сурово распорядился он. Всем стало еще холоднее и тревожнее.

— Клюковка, брусничка... — залепетала бабка, вытаскивая свои мешочки.

— Рюкзак сюда! — отмахнувшись от нее, скомандовал деду черноволосый.

Скрюченными от мороза пальцами дед долго распутывал одеревеневшие веревочки и расстегивал пряжки. Наконец пасть рюкзака раскрылась. Все подвинулись ближе и ахнули. В глаза пассажиров и летчиков ударила голубизна шелка.

— Парашют! — выдохнула толпа.

Черноволосый запустил в рюкзак здоровенную пятерню, выволок голубой ком и встряхнул его. Перед пассажирами затрепетала на ветру пара шелкового мужского белья. Все отступили на шаг и замерли в ожидании, что же теперь будет.

— Ты... старый! Что наплел? — подскочил к деду конопатый.— Хочешь, чтобы тебя еще раз высадили?

— Я ничего не делаю! — возмутился дед.— Что тут такого? Рубаха и кальсоны. Из такого материала вам

парашюты шьют. Вас все больше, хорошего белья все меньше. А мне такое позарез, потому как по вызову больших руководителей! — победно закончил дед.

На него поглядели кто с улыбкой, кто с упреком: тоже, мол, шутник нашелся. Но уже задрожали от неудержимого хохота губы девиц, вслух гоготнул парень, громко выругался мужчина, отвернулся, сохраняя солидность, конопатый летчик. Только чернявый молчун оставался хмурым, продолжая выгребать из рюкзака стариковские вещи.

— А это... что? — вдруг громко спросил он, хмурясь и показывая на предмет, завернутый в мятую газету.

— Мина! — охнула бабка.

— Это курник, товарищ летчик. Пирог такой с новомодной рыбой-потаскухой внутри. — Дед развернул газету и показал всем пшеничный пирог с поджаристой корочкой, из которого торчали хвосты рыбы путассу.

Все дружно улыбнулись, а бабка и тут не удержалась от обличительных слов.

— Сам ты курник! Был и остался! Что у тебя за нутро за такое распротивно-вредное! Только бы добрых людей смущать да оманывать! Вот я зятю-то майору скажу! Ужо он тебе! Заводите на него, товарищи из авиации, подсудное дело, первая в свидетели пойду. Бо-ольшой срок он за свою жизнь заработал.

Пришлось деду объясняться. Насмеявшись, пассажиры, а за ними и оба пилота согласились, что деда, поскольку у него важное дело, пустить в самолет можно. Если он, конечно, не выкинет еще какой-нибудь номер.

Претензий к деду не высказала только красивая дама, наоборот, она горячо защищала его. Одна бабка Марья стояла на своем, но в конце концов смягчилась.

— Могила его исправит, окаянного. Ишь, краденую фуфайку на себя напялил и хвастает! У него и дружки все были наподобие, и дети, поди, такие же, — убежденно закончила она и первой полезла в самолет.

Ничуть не оконфуженный дед только носом пофыркивал и поглядывал в иллюминатор, думая о своем. Мотор гудел исправно и деловито, настраивая на мысли о скорых встречах в Вологде.

И бабка Марья чувствовала себя удовлетворенной. А как же? Хоть и в самолете летела, а наговорила до дыта, отвела душу.

Через час «Аннушка» благополучно приземлилась в месте назначения.

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

ПОВЕСТЬ

1

Зося Березкин впервые задумался на семнадцатом году. Жизнь повернула, иначе не стал бы, потому что думать он еще толком не умел, а оттого и не любил. У него получалось так: что захотел — то и сделал. Рассуждать было вроде незачем. Зосе бывало радостно, бывало и грустно. Бывал он и злым. Вот и все. Правда, изредка ему казалось, что он думает. Но это случалось в тоскливые минуты, когда в груди ныло и смутно мечталось о лучшем, неясном пока, непонятном.

А чаще всего Зосю одолевало беспричинное и буйное веселье молодости. Соседи сначала говорили — озорство, потом хулиганство...

Не материнские, не отцовские руки были первым его воспоминанием на этой земле. Первым впечатком в памяти остался город, и он, Зося, в этом городе. Город представлялся непостижимым: бесконечно громоздились в нем домищи, и все разные — иной от земли выложен из белого камня, а выше, где окна, чернели бревна или посверкивал крашеный тес. И деревья вдоль улиц — шумливые, пыльные, забирающие солнце.

Дома, деревья, телеграфные столбы, огороды, скамеечки — все это казалось Зосе сплетенным в единую прочную конструкцию.

Лишь много лет спустя Зося узнал, что непостижимый этот город — крохотный городишко, районный центр. К тому времени родной дом уже не был успокаивающе уютным, где прежде так сладко спалось после беготни. Иронически стал воспринимать Зося свое жилище. С виду-то дом — грузный, внушительный. А пазы меж бревен замазаны серой глиной, похожей на ил. Случалось, глина отваливалась, обнажая трухлые щели. В доме вечно гуляли сквозняки. Прохожие глядели на

углы с выщербленными торцами, на облупившиеся наличники, подбитые куделей, на залатанную чем попало крышу, поросшую сырым зеленым мхом, и, отводя глаза, вздыхали. Зосе становилось стыдно за свой дом, и он злился на сердобольных прохожих, которые и самого Зосю норовили обойти стороной, тоже со вздохом. Видно, уж очень неухоженным и подозрительным казался мальчишка: глядит волчонком, ноги и руки в цыпках, одежонка драная.

Настоящего хозяина в доме не было. Зося не помнил отца, хотя знал, что он где-то есть, и часто пытался представить, какой он. Мать, постоянно простуженная и сердитая, раз десять на дню поминала отца недобрыми словами. Из-за этой ругани и сквозняков не любил Зося сидеть дома. На улице было раздольно. Тут он забывал и беглого отца, и унылое лицо матери.

В реке Матренихе, небыстрой и неглубокой, разделяющей город на две части и уходящей далеко в луга к деревушкам, водились пескари и черные раки. Бывало, Зося тем и кормился весь день, что пек на теплине рыбешку, голубиные и галочки яйца. Если попадалась ему рачиха с икрой, он, не вылезая из воды, отгибал у нее хвост и скусывал кисловатый шматок. И только после этого швырял рачиху на берег, где ее подбирала мелкая ребятня, нанятая Зосей носить улов и штаны, пока бродит он под берегами и голыми руками щупает в норах налимят и раков.

В школе и на своей улице Зося считался первым озорником и кудесником, то есть выдумщиком. Не боялся он ничего. Сам, без подсказки и без особой грусти, понял, что заступиться за него некому и надеяться ему не на кого, кроме как на себя. Оттого поведением отличался на редкость независимым и сам себя считал человеком самостоятельным.

А размышлять Зося еще не умел. Оттого и не заметил, как очень скоро перестал он распоряжаться собой, и его судьбу стали определять разные случайные люди и обстоятельства. А может, и не такие случайные, потому кто знает, что в жизни предопределено, а что случайно.

Когда директор городской разнопромартели Кабихин расширял производство, Зосю как раз надумали исключить из седьмого класса. «За нетерпимое и систематическое пренебрежение правилами». В этот момент какая-то комиссия решила, что лучшее место для Зоси — раз-

нопромартель. Его привели туда и оформили учеником шорника.

Работать в одном цехе с мужиками Зосе нравилось. Он посерьезнел и удивительно быстро выучился шить не только уздечки или шлеи, а даже и мудреные хомуты.

Через считанные недели, став самостоятельным рабочим, он получил уже не ученические гроши, а настоящую получку. Зосе показалось, что денег ему выдали чересчур много. Но интересоваться, не произошло ли ошибки, он не стал. Зажал деньги в кулак, засунул в карман да так и шел до самого дома, с кулаком в кармане. Матери отдал все до копейки и отвернулся, скрывая гордость. Мать пересчитала, разглаживая помятые бумажки, и застыла, губы у нее подрагивали.

— Мало, что ли? — грубо спросил Зося, удивленный, что мать не радуется. По лицу матери покатались слезы. А слез Зося не выносил.— Побольше твоего заработал,— почти мстительно сказал он.

Мать взвыла в голос. Зося хлопнул дверью и мрачно двинулся по улице. Он не думал о том, что обидел мать. Он привык разговаривать с ней коротко, недружелюбно,— Зося не задумывался. Не любил он нежностей и раньше. Теперь же он решил, что она должна считать его за мужика, за кормильца, и, пожалуй, лучше кормить, потому что она, больничная прачка, едва зарабатывала на хлеб, а денег теперь прибавилось.

Зося долго бродил по вечернему городу, исполненный уважения к себе и почему-то раздраженный общим к нему невниманием. Он презрительно разглядывал редких прохожих и злобно отфутболивал попадавшие под ноги камни. Никто не понимал, как переменялась его жизнь.

Вернулся поздно. Мать сидела за столом, в праздничном платье. Рядом с ней горбатая старушка Анна, соседка через два дома. На столе стыла непочатая глазунья с кусками ветчины, стояла бутылка кагора. Мать попыталась улыбнуться сыну.

— Вот... Сегодня вроде праздника... И гостья... — заговорила она.— Такое событие... отметим.

Но голос ее звучал неуверенно, словно она боялась, что сын не одобрит. Зося это уловил.

— А вино пошто? — буркнул он, усаживаясь за стол и отворачиваясь от гостьи. Не любил он эту старуху, которая то шептала что-то истово про себя, то благостно втолковывала матери одно и то же чуть не каждый

день: «Терпи. Бог все видит. Он-то справедлив...» Лицемерной и вредной считал Зося старуху. Сам он не верил ни в черта, ни в бога и предполагал, что горбунья успокаивает мать не без корысти.

Мать выразительно глянула на гостью. Та поджала губы, будто ее оскорбили, перекрестилась на передний угол, где темнела забытая икона в пыльных бумажных цветах, и поплыла к дверям.

— Ну и ладно, коли не хочешь вина,— сказала мать и взяла со стола бутылку.

Прошло меньше года, а Зося уже стал в артели передовиком. Ловкими оказались его руки. По случаю большого праздника ему настрого велели прийти на торжественное собрание и артельный банкет. Зося оробел поначалу, но победила подступающая гордость. С начальством за одним столом сидеть — это не каждый день случается. А у него вообще впервые.

Собрались в конторе, которая стала просторнее, когда вынесли из нее кое-какие шкафы и железные ящики. Начались речи. Зося сидел прямо, не проронил ни слова, хотя и отвлекали его расставленные на столах и большей частью незнакомые ему закуски. В речах все казалось ему необыкновенно значительным. Сердце его делало сбой в ожидании: вот-вот скажут и о нем, о товарище Березкине. О нем заговорили. И Зося бросило в счастливый жар. Соседи хлопали его по спине, что-то шептали доброе. А он, весь красный, уставился в пол, и никакая сила не могла бы сейчас поднять его голову. Хотелось, чтобы поскорее кончили о нем говорить. Лучше бы наедине пережить эту минуту. Про него кончили, стали хвалить других, и скоро Зосе показалось, что других хвалят больше, а о нем все уже забыли. Он поднял голову, глядел прямо в глаза ораторов, но его не замечали.

Когда подняли первый тост, Зося похолодел. Казалось, строгие бухгалтерши, сидевшие напротив, только и ждут, когда он выпьет, чтобы принародно осудить его. Он уже почти примирился с тем, что не его признали самым первым передовиком, и затаил мечту — к следующему празднику обязательно всех обогнать. И скоро, укрепившись в этой решимости и оставив стопку, он уже спокойно глядел на застолье, все примечал и даже почувствовал свое превосходство над этими людьми, которые едят и пьют и ничего не знают о его верной мечте, о том, что скоро будут завидовать ему.

Повеселиться и Зося любил. Только не этак. Видывал он пьяные компании и при этом всегда вспоминал отца: мать не раз недобро говорила о нем. Настораживался Зося, когда видел пьяных, и всегда уходил от греха подальше... А тут еще Кабихин встал, покачивается.

— Дорог-гие вы мои! Вы мне, к-как дети, я вам — отец. Кто скажет, что плох директор Кабихин? Никто не скажет, что плохой директор Кабихин! Да я за вас — во! — И обводил руками столы, то ли приветствуя людей, то ли разыскивая полную стопку.

— Верно!.. Не как другие!.. — в несколько голосов отозвалось застолье, хотя Зося заметил, что кое у кого потемнели глаза, вздрогнули, напряглись руки.

— Кто скажет! — бушевал счастливый директор.

Кабихин пояснил знаками, чтобы люди продолжали застолье, и, цепляясь за стенки, поковылял в коридор. Зося тенью скользнул за ним, хотя и не знал еще, зачем. Его наполняла отчаянная решимость. Кабихин ощупью выбрался на крыльцо, привалился к перилам, затих и вдруг отчетливо храпанул. «Готов», — злорадно отметил Зося и, оценивая обстановку, обошел вокруг Кабихина кошачьим шагом. Тут его осенило. Он мигом приволок новенькую конскую сбрую и принялся легонько накладывать ее на тучное директорское тело. Кабихин не реагировал, и Зося вовсе осмелел. Сыромятные ремни так затянул узлами, что и трезвый не вдруг бы развязал. Намеревался и взнуздать Кабихина, уже и удила примеривал к его просторным щекам, но зашумели в коридоре — народ пожелал на воздух.

Зося пустился домой, раздумывая, видели его за таким веселым делом или нет. Дома с ходу бухнулся в постель. Казалось — совершил он отважный и правильный поступок. Однако спалось ему плохо: что-то беспокойное затолкалось в голове. Крепко забылся только к утру.

На ноги вскочил, как всегда, в семь утра. Плеснул в лицо холодной водой и разом вспомнил вчерашнее. Руки опустились. Тревожно заломило грудь. Идти в артель не было сил. Он еще не понимал: то ли стыдился, то ли просто трусил. Настроение неясно менялось. И Зося то хохотал как припадочный, удивляя и пугая мать, то прижимал ладони к горящим щекам и зажмуривался, чтобы не видеть ничего вокруг, забыть все. Не осмелился он идти в артель и на второй день, и на третий.

Дошли слухи: кто восхищался его выходкой, кто

костил его последними словами. Мать плакала и кричала на Зою, пока не зашла в кашле. Насчет матери все было понятно. Но когда Зоя узнал, что Кабихина с позором сняли с работы, ему стало тяжело. И тут Зоя задумался. Впервые в жизни.

— Что мне Кабихин сделал? — спросил он себя. Нелегко было задаваться таким вопросом, а отвечать на него — еще трудней. Но деться было некуда. И он ответил честно.— Ничего худого он мне не сделал. Ударником величал. Специальность дал... Заработок... За человека считал...

Мысли обрывались. Честные ответы терзали Зою, начинало жечь в груди и хотелось немедленно что-то сделать, прогнать это жжение. Бессилие злило, и Зоя тихо скулил, стискивая подрагивающие челюсти. Мелькали горькие обрывки: «Все люди как люди... Добро понимают... А я? Я кто?.. Почему такой?.. Как жить-то?»

И вдруг сверкнула догадка, сразу погасившая боль и наполнившая его торжеством. «Если все хорошие — тогда и отец ангел. Отец, которого я не видел. Минуточку... Ангел не бросил бы больную мать со мной в придачу!» Мысль принялась раскручиваться: «И другие не лучше. С виду только добренькие. Прикидываются... Кабихин — первый. Это-то уж точно. Отец артели, понимаешь ли. Правильно я его уделал. У него такой же Зоя в деревне брошен. И другие не проведут. Не дамся...»

Зоя почувствовал в таком повороте полную свою правоту. «И нечего нюни распускать, жалеть... Тебя покамест никто не жалел. И не пожалеет», — холодно подумал он. Рождалась привычная уверенность и радость, хотя и была она какой-то непонятно тяжелой. Зоя потянулся до хруста в грудной клетке и вдруг залихватски выкрикнул частушку:

Задушевный мой товарищ,
Нам с тобою весело.
Мы гуляли, не пропали —
Горевать-то нечего.

2

От безделья дни тянулись долго. Мать вздыхала и опасливо плакала, а Зоя расхаживал по дому фертом. Он был уверен, что работа ему найдется, и скоро. А он еще поглядит — идти ли по первому приглашению. Он сначала еще разузнает, что за люди на новом месте. Однако дни шли, а Зою никто никуда не звал. В бодрое

настроение стали вклиниваться мрачные и злобные провалы. Он то строил гордые планы будущего, то ронял голову на подоконник и пустыми глазами глядел на улицу.

Порой Зосе казалось, что он знает — кто, зачем и куда идет. Он представлял себе чужие цели и презирал людей.

— Здравствуй, бабушка,— благостно поклонился он горбатой соседке Анне. Та обернулась к нему, глянула недоверчиво и сказала ласково:

— Здорово живешь, паренек.

— У-у, зануда двуличная! — заорал Зося и скорчил мерзкую рожу. Старушка с досадой плюнула и быстрее обычного двинулась прочь. Но еще долго, наверное, стучал в ее уши лошадиный гогот Зоси.

— Дядька, иди-ка сюда,— с самым серьезным видом подманил он следующего прохожего. Тот заинтересованно подошел, вытягивая шею.

— Оглянись-ко! — деловито приказал Зося и метко бросил послушному дядьке на шляпу кусок глины.— Теперь дальше иди.

Прохожий вскипел, а этого Зося и добивался. Он хотел и корчился в окне от удовольствия.

Злость прорывалась, и Зося не хотел ее сдерживать.

Его бранили, грозили милицией, а самые отважные замахивались на него. Тогда Зося комом вываливался из окна, хватал что попало: полено — так полено, булыжник — булыжник,— и прохожий в панике удирал, изредка и с отвращением оглядываясь.

Зося наверняка не полез бы в настоящую драку. Надеялся взять на испуг. И брал, и радовался, что не ошибался, и считал: стало быть, он прав. Где-то в глубине души шевелилось сомнение: люди просто не хотят связываться с ним. Утешало только то, что не он трусил и убегал, а они.

Теперь мать, вспоминая отца, теми же словами честила и сына. А Зосе было либо до буйства весело, либо казалось, что хоть и в тюрьму — так наплевать.

Но Зосю вызвали не в милицию, а в райком комсомола.

— Чудеса! — недоумевал он, разглядывая повестку.— Пошто это я им, со значками, пригодился? Идти или нет?

Он пошел, победило любопытство. Шел и почему-то волновался. Только ухмылка оставалась прежней.

В райкоме с ним разговаривали недолго. Сказали, что есть место в другой артели и что бездельничать и валять дурака в его возрасте уже неприлично. Спокойно сказали. И Зося не обиделся. В душе он был согласен с такими словами и ответил, что попробовать на новом месте согласен. Тогда из угла кабинета поднялся неказистый человек, которого Зося и не заметил поначалу, и сказал без особого выражения:

— Вот и ладно. Пошли, молодой человек.

И пошел, не оглядываясь.

До чего же все оказалось просто. И неинтересно! Зося настраивался, что его будут стыдить великой заботой о молодежи и большими задачами, которые она решает, а под конец примутся либо грозить колонией, либо вербовать по путевке. Тут бы он сказал пару ласковых, отделал бы почище, чем иного прохожего. Но ничего такого не получилось. А он готовился...

«Ловко разыграли... Наблюшнулись, гляди-ко... умеют...» — с завистью и уважением подумал он. Даже неловко стало — заботятся о нем райкомовские девчонки, словно он глупенький.

Зосины ноги сами шли за незнакомым человеком, одетым в стираную спецовку.

— Поглядим! — вырвалось у Зоси, ему показалось смешным, что спецовка местами рваненькая. Сказать-то он хотел, что посмотрим, мол, что за работу предлагают и что за человек его ведет. Но не высказалось до конца.

— Что — посмотрим? — спросил человек в спецовке, оглянувшись, и пошел рядом.

— Ну, дело ваше, — бодро ответил Зося, чувствуя, как уходит смятение и наполняется он непонятным доверием к этому человеку.

— Посмотри, — почти безразлично сказал тот и окончательно покори́л Зося, потому что не читал он моралей и не глядел свысока, а был обыкновенный и, кажется, усталый рабочий.

Миновав несколько улиц, они вышли к черному приземистому строению.

— «Скобяная мастерская», — прочел Зося вывеску.

— Я тут мастером, — без всякой гордости сказал Зосин провожатый и начал показывать ему разные детали, поясняя, как из них собираются всякие замки. И Зося забыл обо всем. Он умолял, чтобы мастер сейчас же все рассказал ему и позволил собрать замок. Но тот лишь коротко посмеивался. Зосина прыть ему нрави-

лась. Усмешки мастера чуть не разозлили Зося. Он злыми глазами впился в его лицо, но чем дольше глядел, тем симпатичней казался ему мастер, словно это был не чужой человек, а давнишний товарищ или старший брат. И Зося облегченно засмеялся, теперь уже над собой и чтобы приятно было мастеру.

— У нас рабочий день давно кончился,— сказал мастер.— Давай-ка завтра, к восьми утра. Тогда и начнем.

Утром он вскочил рано, бодрый, полный надежд. Только теперь он небрежно сообщил матери, что снова принят на работу и ему пора. Мать приутихла и глянула на сына так, словно умоляла его быть теперь поумнее, поосторожнее.

Влажноватая прохлада утра будоражила и делала тело невесомым. Так и хотелось вскинуться и бежать, подпрыгивая высоко и дурашливо. Но Зося выдерживал марку серьезного мастерового, знающего цену себе и всем прочим. Мимо школы прошел с самым независимым видом, даже на окна не взглянул.

К мастерской пришел раньше срока, но люди там уже были, что удивило и раздосадовало Зося. Он-то рассчитывал прийти первым, чтобы показать себя. «А тут и без меня старателей навалом»,— разочарованно подумал он.

Он разглядел, что в мастерских копошатся два старичка, и немного успокоился. «У них уже руки дрожат. Эти не обскачут»,— решил он и, не здороваясь, спросил, где тут мастер по замкам.

— Здесь один мастер,— ответили ему.— Иван Иванович Пашин. Он скоро будет. А ты кто таков?

— Пашин? — переспросил Зося, не устаивая стариков рассказом о себе, и развеселился.— У него жена не Прасковья? — брякнул он неожиданно.

Зося тут же понял, что хватил через край, и даже неудобно почувствовал себя, вспомнив старого мастера, но виду не показал, изо всех сил продолжал держаться независимо. К нему вплотную подошел темнолицый старичок, поглядел неодобрительно, сказал:

— Длинен у тебя язык, паря. Как бы на него не наступили.

— Покажи мне эту ногу! — презрительно бросил Зося, заводясь на свой лад.

Старичок совсем уж осуждающе покачал головой.

— Ты не из блатных ли? Или у тебя язык без контакта с мозгой?

У Зоси тотчас родился убийственный ответ, но он нашел в себе силы промолчать, демонстративно отвернувшись, нагоняя на лицо скуку. Он ждал мастера и хотел увидеть его только вчерашним: понимающе улыбочивым.

И вот он. Поздоровался с Зосей за руку, заговорил с вчерашней улыбочкой:

— Угадал ты. Жена у меня и верно Прасковья. Только ничего смешного, брат, в этом нет. Хотя смейся, если можешь. Смех, говорят, как витамин.

— Да я... — хотел было искренне оправдаться Зося, злясь на ябедников-стариков. Но Пашин не слушал его.

— Вижу, что ты. И верю, что именно ты Кабихина с должности спихнул. Его, может, и следовало. А меня-то уж пожалей, меня еще не за что...

Пашин говорил все с той же улыбочкой, и Зося не слышал в его словах никакой издевки. Веселых людей и умелую подковырку, хотя бы и в свой адрес, он уже мог оценить, и без обиды.

— Да я... Иван Иванович...

— Вот твое рабочее место,— не обращая на слова Зоси никакого внимания, с нотками торжественности заговорил мастер, показывая на длинный стол, к которому были привинчены тяжелые железные тиски.— Будешь делать замки. На замках у нас два старичка. Пенсионеры. В любое время уйти могут. Свое отработали, дай бог всем так. Теперь надежда только на тебя. Освоишь дело — зарабатывать будешь неплохо.

Зося почти не слышал последних слов Пашина; он взялся за инструменты.

Три дня подобревшие старички учили его вырубать и выпиливать по шаблонам замочные детали. И поминутно хвалили за то, что ничего не валится у Зоси из рук. К концу третьего дня старички, потихоньку посоветовавшись, важно пожали руки Пашину и Зосе, поклонились вывеске и пошли в город, торжественные и чинные.

— Они на маленькую сбросились. Сейчас зарядят,— шепнул Зося, и Пашин посмеялся вместе с ним.

— Хорошие деда,— сказал Пашин и вздохнул, принимаясь за свои дела. А Зосе хотелось поскорее сделать замок своими руками от начала и до конца, без подсказок и надзора. Он и сделал его. Замок получился не хуже дедовских. Домой Зося шел спокойный и усталый. На душе было хорошо, мирно.

Через несколько дней Пашин доверил Зосе всю замочную мастерскую и лишь изредка заглядывал к нему. А Зосю не надо было ни подгонять, ни докучать контролем. Работать ему нравилось, и невозможно было делать дело не на совесть. Скоро ему дали хороший разряд, и заработок стал выходить больше, чем когда он был передовым шорником. Зося один выполнял все заказы горожан на замки и ключи, успевал делать их и для магазина. И даже свободные минуты выпадали. Это, наверное, его и погубило.

Простые замки надоели. Пришла идея смастерить замок с двумя дужками и двумя же ключами, непохожими один на другой. Кому был нужен такой замок — Зося не знал, не думал. Конструкторские размышления захватили его. Он заперся в мастерской и, чувствуя страх от такого своеволия, упрямо решил не открывать двери, пока не добьется своего.

Заказчики, что потеряли свои ключи и не представляли жизни без новых, ругались и стонали у порога мастерской, успевая бегать жаловаться в контору артели. А Зося слышал их голоса и вроде бы не слышал. Он занимался своим делом до той минуты, пока через запасной ход не прорвался к нему директор. Зося мало знал его. После случая с Кабихиным он избегал начальства. Слышал только, что этот директор зол и вреден, и оттого испугался. Директор молча взял Зосю за руку, оттащил от верстака и вывел во двор тем же ходом.

— Иди! По собственному желанию. Расчет почтой вышлем,— проговорил он вежливо. Зося хохотнул ему в лицо и тут же чуть не заплакал от досады.

— Это тебе за Кабихина,— прошипел директор и захлопнул дверь.

Зося, успевший прихватить почти готовый замок с двумя дужками, поплелся домой, разглядывая злополучную самоделку, словно видел ее впервые. Хотелось швырнуть ее в крапиву, и жаль было редкой штуковины, да еще сделанной собственными руками.

И снова Зося страдал, злился и ждал лучшего. Исхудал и лицом потемнел. Пробовал торчать в окне, как бы напоминая о себе горожанам, но они проходили мимо равнодушно, а прежние забавы теперь казались Зосе скучными и недостойными его, замочного умельца. Он начал ходить по городу, чтобы разузнать какую-нибудь работу, но ничего не получалось. С отчаяния он стал за-

ходить в разные артели, но везде ему припоминали Кабихина, затворничество в замочной мастерской, расспрашивали подробности, смеялись и отвечали, что свободных мест нет. Пришлось объявить соседям, что он берет в починку валенки и ботинки. Желающие рискнуть сразу нашлись. И мало-помалу Зося стал мелким шабашником. От нужды — да и интересно было — выучился он чинить всякую железную рухлядь, даже самовары лудить. Зарабатывал неплохо, но нагрянула к нему комиссия, пригрозила оштрафовать, а сжалившись — написала его к третьей артели надомником.

Артель почему-то затребовала Зося в цех. Там его усадили рядом со старыми сапожниками и заставили подбивать подметки к ношеной обуви. Этого Зосе было мало. Глядя на руки старых мастеров, он до мелких подробностей запомнил, как шьются хоть офицерские сапоги для милиции, хоть дамские сапожки.

Возиться со стоптанными башмаками и валенками, от которых воняло портянками и самим чертом, было скучно, хотя Зося не отличался брезгливостью. Следить за руками сапожников — тоже надоело, он уже с закрытыми глазами представлял всю технологию. И Зося стал заглядывать к часовщику, сидевшему в соседней комнате, а скоро по своей воле нанялся к нему на подхват. Часовое дело он досконально не изучил, потому что пришел директор, сделал Зосе выговор за безделье и отправил обратно в надомники, чтобы не объедал товарищей по цеху.

Теперь Зося вел мастерскую на дому уже на законных основаниях. Он никому не мозолил глаза, и его не отвлекали. Работать в одиночку было тоскливо — скулы сводило. Но и деваться некуда, и Зося горбился на самодельной липке. Правда, стали приходиться в голову всякие мысли. Но мысли эти Зосе некому было высказать, не подворачивалось подходящего человека. А мысли были нешутейные, Зося чувствовал, их на шляпу прохожему не кинешь, как глины кусок...

Хлеб доставался теперь нелегко: половину выручки забирала артель, каждому клиенту приходилось выписывать ненавистные квитанции, оставлять себе копии и думать о выполнении плана, чтобы рассчитывать на копеечную премию. И копилось неясное зло. На всех.

Вечером, когда Зосе было особенно тоскливо и одиноко, к нему пришел Пашин, принес дырявые валенки. Он оглядел Зосину шорню и сказал сочувственно:

— Руки у тебя золотые, а слава неважная. Плохо это.

— Плевал я на все,— с ходу огрызнулся Зося.

— Нет, брат, без людей не проживешь. Кого ценят люди — тот и человек. Народ, брат, не ошибается.

— Да пошли они все подальше...

— И я значит? — с усмешкой спросил Пашин. Зося осекся, нахмурился.

— Не знаю, Иван Иваныч. Тоже небось себя любишь.

— Начудил ты,— спокойно продолжал Пашин.— Долго будут помнить. Ну, ты молодой, непропавший. Тебе бы к большому делу надо, которое поновей, посимпатичней. Негоже в наше время молодому парню валенки подшивать.

— Везде один мед пролит,— взъерепенился Зося.— Большое дело — ха! Где больше людей — там и гадости больше. Это точно, я думал. Выкручусь! Обойдусь. Пусть болтают про меня, а я не ворую, я работаю! Хоть бы и валенки.

— Ты бы с добром о людях думал, а не с сердцем... Ясней бы жизнь шла. И товарищи у тебя были бы.

— А тебе-то что за горе? Приставили тебя? Чего вы все мне покою не даете? На дом пришел читать! — еще больше озлился Зося, слабо сознавая свою неправоту и оттого свирепея еще больше.

— Дурак ты, — необидно сказал Пашин. Но Зосю уже понесло.

— Забирай свои опорки! И отвали! — заорал он.

В комнате на минуту установилась тишина. Зося чувствовал, что Пашин советует что-то доброе и надо бы пустить мысли по этой дорожке. Но советы Пашина казались ему в то же время какими-то сладенькими, смаживающими на показную доброту горбатой соседки, и оттого в нем закипал протест. К тому же соглашаться с Пашиным — значит окончательно признать, что жил дураком. Но убедительных слов для спора не было у Зоси.

— Набьешь ты себе шишек,— с досадой сказал Пашин. Он завернул в газету свои валенки и ушел.

Зося швырнул в угол чьи-то опорки... «Нахамил мужику! Этому-то за что? — проклинал он себя. И спрашивал, останавливаясь: — А может, правда, все одинаковые? Может, и Пашин — как тот Кабихин, только толкнуть поглубже?..» Ему казалось, что сейчас же,

немедля надо что-то решить, придумать важное, чтобы все стало ясно. Но в голове бурлила тягостная путаница. «Хоть давься,— беспомощно прошептал он.— Нет! Надо уехать из города, а то заклюют». Он обрадовался этой мысли. Решение пришло. Его надо было исполнить. Стоило.

Зося широким шагом двинулся по главной улице к тому месту, где забор пестрел плакатами о вербовке. Читал их недолго. Далекое место, казавшиеся поначалу столь заманчивыми, теперь пугали. Его остановил плакат, приглашавший на курсы трактористов за казенный счет. Курсы были районные, рядом с городом. «Вот она, специальность поновей, и дело большое, и от матери недалеко»,— шептал он, вроде продолжая спорить с Пашиним, хотя Пашин советовал ему как раз это.

Через три дня Зося уехал на курсы.

3

Телеграмму Зосе вручили на торжественном собрании, посвященном окончанию курсов. Он удивился — впервые в жизни телеграмма была адресована лично ему. И подумал, что, наверное, кто-нибудь из знакомых поздравляет его с окончанием. Может быть, даже Пашин.

Он прочел кургузые слова, и удостоверение тракториста выпало из его рук. Кумачовые лозунги, развешанные в зале, почернели. «Приезжай. Умерла мать. Похороны завтра»,— беззвучно повторял он. Соседи заглядывали в казенный бланк и тихо отшатывались.

Побледневший, он ринулся из зала. Чуть не забыл прихватить из общежития свои вещички. Выбежал на большак, издали голоса каждой машине.

Ведь и не любил он вроде бы мать. И всерьез ее не принимал. И разговаривал с ней грубо. Можно сказать — вовсе не разговаривал! Не советовался. И не слушал. А не стало ее — и затрепетала в Зосе боль. Эта боль была непривычна, от нее хотелось избавиться. Но она росла и пугала Зосю, мучила... Да сам и виноват, не берег матушку. Пробыл на курсах четыре месяца и ни разу не спросил — как она там. А ведь она — мать. Она то уж точно, без притворства, как другие, желала ему только добра. Она его выпестовала, на последние гроши одевала. Из-за него она и в могилу сошла...

Зося терзался и не знал, куда деть свои длинные руки, которые то обхватывали голову, то дергали на груди замасленный ватник, то бессильно падали. Он не замечал тряски, он торопил шофера и все старался разглядеть за прыгающими впереди холмами очертания родного городка.

И все же грузовик вкатился на городские улицы удивительно скоро. Зося бегом помчался к дому. Ноги подкашивались. Пораженный, он замер возле крыльца, рядом с которым косо стояла длинная крышка гроба, сколоченная из желтоватых досок. Чья-то рука вывела на ней химическими чернилами неровный крест. Крест этот окончательно сразил Зосю. Всклипывая, он вбежал в дом, грохнулся на колени рядом с гробом, боясь притронуться к восковым, синеватым рукам матери. Он не помнил, чтобы когда-нибудь притрагивался к этим рукам, когда они были еще живыми, делали работу, обмывали и обшивали его, готовили ему пищу. Зося осознал это, порывисто припал к рукам матери и затрясся в рыданиях.

Горбатая старушка перестала читать Псалтырь и воззрилась на Зосю. Подошла к нему близко, заговорила истово что-то утешающее. Зося не разбирал ее слов, но благостный, человечный тон ее голоса западал в душу. Он успокаивал, хотя грудь оставалась переполненной незнакомой болью, которая теснила сердце и распирала неподатливые заостренные ребра.

— Теперь уж не вернешь, а царствие небесное... — наговаривала старушка.

«Царствие небесное... ни при чем, а что не вернешь — это верно, — думал Зося и стал соображать дальше: — Плачь не плачь, а не вернешь. Не поможешь». Думалось холодно и отчетливо, даже сердито, что теперь надо делать всякие неприятные похоронные дела, а люди будут глядеть и шептаться — много ли плакал Зося, богато ли украшен гроб... Зося думал и становился почти самим собой. Усталым, будто постаревшим, но уже собой. Это придавало ему сил.

Ему осталось только купить вина на поминки. Купил на последние рубли. Уединившись в своей шорне, он приложился к бутылке, считая, что имеет на это полное право, и проспал на лавке до утра похорон.

Когда он проснулся, в доме снова шушукались старушки. Зосе подумалось, что они делают свое дело почти с удовольствием. Это было ему страшно и непонятно.

На всякий случай он озлился. «У-у, курицы, ведьмы незваные!» — чуть не вслух прошипел Зося. Но под окном просигналила больничная машина. Надо было спешить. Шофер помог Зосе вынести гроб с телом...

Шофер сигналил за оградой. Представительница уже сидела рядом с ним. Старушки перекрестились и заспешили к машине. Подолгу оглядываясь на могилу, Зося дергающейся походкой шел за ними.

На поминках старушки чувствовали себя хозяйками. Зося упросил зайти и представительницу. Выпили не чокаясь. Помолчали. Зося налил по второй. Представительница поглядела на часы, извинилась, сохраняя на лице казенно-скорбную маску, и ушла. Зося повесил голову. Старушки запричитали, принялись перебирать живых и мертвых товаров. Зося зажал уши.

Он не пьянел. Следил за собой и удивлялся, что в нем сейчас жили словно бы два человека. У одного слезы накали, и ему было жаль самого себя, а другой шептал, что произошло то, что и должно, что умирают все, а матери, пожалуй, и лучше лежать на кладбище, чем мучиться в прачечной, а дома кашлять и ругаться. Все помрут: и эти старушки (они вон как спокойно, даже с удовольствием рассуждают о своей близкой смерти!), и брезгливая представительница помрет, и сам Зося тоже помрет,— шептал ему этот человек, удивительно умный и холодный. И его, умного, приходилось осаживать, чтобы не болтал лишнего, а то он мог, пожалуй, убедить Зосю, что и горя никакого нет, а просто жизнь идет заведенным порядком, который никак не изменить. А первого человека приходилось с трудом удерживать от слез.

Старухи затагнули похожее на молитву. Зося зыркнул на них, вышел на крыльцо. Сжал гудящую голову. Мыслей больше не было. И непонятно было, то ли остановилось время, то ли неслось еще стремительнее.

— Ой ты, сиротиночка! — услышал он рядом пьяный старушечий голос. И не оглянулся.

— Не жалел матку-то, вертопрах. И глазыньки ей не закрыл,— проскрипела горбунья.

Он пошел в дом. Неубранный стол с закусками и недопитым вином снова всколыхнул в нем боль. Он с отворачиванием собрал объедки в газету, бутылки сунул в шкаф. И поскорее захлопнул дверцы, потому что из шкафа на него с укором глянул сиротский застиранный халат матери.

Пустой дом казался заброшенным сараем. Зося бесцельно бродил по комнатам, но в каждом углу натякался на вещи матери и пятился от них. Надо было что-то делать. Но что?

Одиночество и боль пластали безжалостно. Обидно было, что никто, кроме погребальных старух, не пришел к нему в эти горькие дни.

В Зосе вновь закипело негодование.

— Хватит. Будь мужиком! — вслух приказал себе Зося и сдернул простыню, которой старухи завесили зеркало. Надо было оглядеться, привести себя в порядок. Из зеркала на Зосю глядел длинный сутулый парень с продолговатым серым лицом, усыпанным синеватыми пупырышками, с тяжеловатым носом и толстыми влажными губами. Серые глаза навькат были водянисты и воспалены. Пепельные волосы редки. Плечи узкие, широкие ладони свисали до колен. Зося вздохнул и отвернулся. Ничего нового в зеркале он не увидел и еще раз подумал, что и с такой внешностью жить ему будет нелегко и вряд ли может он рассчитывать на удачу, не говоря уже о такой несбыточной и неясной штукавине, как счастье.

Через два дня Зося, нарушив договор с Сельхозтехникой, завербовался на стройку в большой город. Сходил на могилу матери, постоял там почти бесчувственно.

На дверях дома уже висел замок с двойной дужкой, тот самый. И не было сил снять ладонь с дверной скобы. Тяжело было идти по двору. Ноги не слушались, словно знали, что идти им предстоит ой как далеко, а дорога неторная.

Зосю ждала новая жизнь. А жил ли он до этого дня? Пожалуй, и не жил, а так — существовал, рос, как птенец или тополь, или как глупый черный рак. Точно, как рак. Сидел в норе, а потом снова выползал, лупил глаза.

Жизнь шла сама собой, текла, как речка Матрениха, и вырастал в ней, набивая шишки и изредка глупо радуясь, рачишко по имени Зося. Бывало, и клешнями махал, дурачок. А что толку. Думать надо было, вот что!

Такие унылые мысли текли в Зосиной голове. Вот он уже стоит возле угла дома, ухватившись за выщербленный торец. И с него трудно снять руку. Вот и калитка. Ее надо замотать проволокой, намертво.

Последний раз глянул на подворье. И сладко защемило душу. Милым и самым уютным показался родной дом, который надо было покидать надолго, а может, и

навсегда. Дорогим и самым красивым стало крыльцо, хотя видно, какое оно косое и щелястое. Зовуще глядели на него давно не мытые окна.

До вокзала дошел, ни разу не оглянувшись на дом, из которого сквозняки выдували последнее хозяйское тепло.

4

Земляки вновь увидели Зося только через несколько лет. Была ранняя весна. Зося торопливо шагал по непросохшей еще дороге, издали пытаясь разглядеть свой дом. На Зосиной голове лихо сидела шляпа с высоко загнутыми полями, спину его обтягивала синяя нейлоновая куртка с желтыми молниями, на ногах красовались заграничные туфли.

Однако шагал Зося тверже, чем прежде, слегка подавшись вперед грудью и вытянув шею, зорко замечая все, что происходит вокруг. И взгляд у него был уже не просто веселый и злой, а усмешливо-нагловатый, ускользающий. Было похоже — он теперь точно знает, что ему делать на этой земле.

Возле дома Зося сорвался с шага на бег. Скользнул глазами по фасаду. Вспрыгнул на крыльцо. И улыбнулся. Взялся руками за замок с двойной дужкой, потряс его легонько, словно потрепал любимую собачонку. И построжел лицом, занося ногу за порог.

Через полчаса в доме распахнулось окно, и в нем показался Зося. Стоял, руки в карманах, на улицу и на прохожих глядел с изучающим прищуром. Не здоровался ни с кем. И его вроде не замечали. Или не узнавали.

Еще через полчаса Зося медленно прогуливался вдоль улицы, посверкивая глазами, словно фотографировал все подряд. А улица эта так и осталась крайней. И ничего на ней не изменилось. Тот же гладко обкатанный булыжник проезжей части, те же голые неровные тропки вместо тротуаров. Дома, правда, стали немножко не те: одни повыпрямились и хвастались свежей краской, другие еще больше почернели и прижались к земле. И только на самой окраине, в кочковатом лугу, где испокон паслись городские гуси, что-то копали и вроде строили. Зося пошел туда, молча подивился размаху работ и узнал, что тут строится ММС — машинно-мелиоративная станция и что сюда требуется много людей,

а механизаторов, как он, с руками рвут. Он порадовался, что работу долго искать не придется, и к дому пошел быстрее.

У калитки закурил, остановился, по-хозяйски расставив ноги и уперев руки в бока. Теперь соседи его признали, подступили с расспросами. Зося рассуждал солидно, но от прямых ответов уклонялся. Соседи быстро смекнули, что Зося уже не тот, и раскланивались с ним почтительно, как с человеком бывалым. Они в один голос рассказывали, что по улице каждый день шастают люди со строительства ММС, ищут себе жилье и что Зосе вся статья пустить побольше жильцов в свой пятистенок. Зося слушал с интересом, но не сказал ни да, ни нет. Однако скопившуюся в доме черную пыль убрал.

Первым снимать угол отчего-то пришел не строитель, а миллионер Зосиных лет. Отказать ему Зося не решился, да и любопытно было, как это жить в одном доме с милицией. К тому же парень приглянулся ему: плотный, курносый, вроде свой человек. И серьезный. «Иметь под рукой милиционера — это совсем не плохо, — размышлял Зося, довольный собой. — Очень он может пригодиться. Мало ли... А тут свой блюститель, щит и меч!»

Милиционер привез на «козлике» холостяцкие пожитки и ради новоселья выставил бутылку. Зося от удивления замахал ручищами — до того ему стало радостно и смешно. Милиционер слегка покраснел. А Зося ликовал. В своем доме он разрешал себе быть самим собой.

— Я-то думал — милиция в рот не берет! — притворно удивлялся он и гоготал, стараясь, чтобы это выходило необходимо.

— Ты о себе расскажи, — спросил милиционер, брезгливо разглядывая Зосины стаканы подозрительной чистоты. — Меня зовут Василием. Служил на границе, а теперь вот — в органах. — И многозначительно глянул на Зося.

— А чего мне трепаться? — охотно заговорил Зося, раздумывая, какой тон лучше взять в разговоре. — Нечего мне докладывать. Батяка мой — беглый. Искарриот. Матушку — работа и хворь в гроб загнали. А я — весь тут.

— Чего в большом городе не прижился? — не принимая шуток, спросил Василий.

— А не приглянулось. Там ведь как? В общаге коек — что гвоздей в старом каблуке. А на койках — холо-

стяжки и разведенные молодцы. И мало кто выпить не любит. С получки начинается сбрасывание и вбрасывание во всех зонах. Захочешь отойти, а тебя на силовой прием берут, травмируют. Такая острая борьба идет с неделю. А потом стукоток по всем этажам — это холостяки свои зубы на полки бросают. И так до аванса. Вот и не приглянулось мне... Себя забыть можно и зачем живешь — тоже. У нас там один так избаловался, что и на работу перестал выходить. Проспится, нашкалит по скверам пустых бутылок, сдаст — вот и опохмелка. И снова на бок. Бывало, на червонец зараз сдавал, если пораньше на промысел выходил. Его уж и из общаги исключили. А он все равно проникал.

— Понесло тебя, — сказал Василий. — Ты о себе давай. Зачем петли-то кидаешь? Где работал, в какой организации?

— В унээре.

— А точнее?

— Точнее так, — и Зося запел в голос: — То пойдет до горбани гармошка, то обратно вернется совсем, матерятся басы под окошком во дворе унээр номер семь.

— Даешь! — милиционер без одобрения разглядывал Зося с ног до головы.

— Нет, а неужели и милиция пьет?

— Плохо ты притворяешься, — проницательно заявил Василий. — Сидишь вот перед бутылкой, а пьешь осторожно, хотя по лицу и по ухваткам видно, что употреблять умеешь, и весьма. Так что я с тобой первый и последний раз вот так, за столом. А милиция, что ж... Что мы, не люди? Помучаешься с... некоторыми... Нервное напряжение, потребность в разрядке...

Василий встал и со скучным лицом отвернулся от Зоси.

— Давай злись... Припомнишь, когда я к вам попаду... — все еще веселился Зося. Вел он себя так, словно и не предполагал, что юмор для кого-то обиден и непонятен. Милиционер начал запоясываться в свою португую, явно собираясь уходить. Зосяно веселье быстро шло на убыль. Он засуетился.

— Слушай, Вася, у тебя есть шмара? — спросил он вкрадчиво, заглядывая в глаза насупившегося постояльца. Зося уже встревожился, что с милиционером с самого начала получается так неладно. От привода в райотдел застрахованным он себя не считал. Но даже не в том дело. Не хотелось оставаться одному.

— Не понимаю, — деревянным голосом и не сразу ответил Василий, хотя вполне понял Зося.

— Ну, зазноба, сударушка или невеста, любимая, что ли?

— Зачем тебе это?

— Какой у нее размер ноги? И подъем, высокий, низкий?

— Ты чего, обалдел?

— Да не качай ты права! Я ей сапожки сошью. Самые модные. Хоть с вензелями, хоть с помпончиками. На молниях...

— Ты что, серьезно? — Василий, совершенно сбитый с толку, остановился у порога.

— А ты погляди! — крикнул Зося. Он схватил жильца за руку и потащил его в дальнюю комнату, заваленную черт-те чем. Был тут полный ящик самодельных березовых колодок, кучки разноцветных кусков хрома, всевозможные опорки, гвозди в баночках и россыпью... Утыканные шильями косяки единственного окна блестели, словно были покрыты черным лаком. С шильев свисали мотки дратвы. А посредине комнатушки красовалась липка, обтянутая по верху треснувшей кожей.

— Дела! — поразился Василий. — Ты, значит, и на это мастер? Без патента?

— Какой патент? Я же сколько здесь не жил! Давно бросил это ремесло. Но твоей — сошью. По блату, хе-хе. Чтобы кожа вот эта не пропадала. Материальчик! Ну и чтобы зазноба твоя по магазинам не бегала, продавщицам не кланялась.

Василий покачал головой, подумал. Он не сказал ничего определенного, но крякнул, похоже, одобрительно. И лицо у него сделалось поприветливее. Он ушел, а наутро вполголоса, словно заговорщики они с Зосей, выложил все нужные сапожные сведения. А Зося успокоился и повеселел.

— Нет, со здешним народом можно жить, — вслух рассуждал он, посмеиваясь.

И Зося запел, выкраивая голенища, необыкновенно бодрую, но не вполне печатную песню, привезенную из общаги большого города.

Через пару дней усердной работы Зося наводил последний лоск на каблуки алых сапожек дефицитного

тридцать шестого с половиной размера с высоким подъемом. И напевал все ту же песню, довольный собой и работой. Отношения с милицией налаживались, как он думал, наилучшие. В это-то время и заглянула к нему в окно незнакомая физиономия. Она утвердилась в окне, словно портрет в рамке, и уставилась на Зося. От полноты настроения Зося показал ей язык. Физиономия и бровью не повела. Тогда Зося прицелился в нее сапогом, как маузером, и бабахнул. Физиономия слегка отшатнулась и надула щеки, которые стали синеватыми с радужным оттенком, какой бывает на новых жестяных трубах к самоварам. Щеки колыхнулись и выдали басом вопрос:

— Изосим Березкин?

— Я! — гаркнул Зося, вскочил и отдал честь.

— Мне тебя и надо.

— Иди бери.

— Может, через окно? — физиономия изобразила улыбку, стараясь, видимо, попасть в тон веселому домовладельцу.

— Быстрее будет! — одобрил Зося, готовый к потехе, и тут же заторопился с вопросами, которые вылетали сами собой. — А ты кто такой? Отчего у тебя рожа синяя?

— Чубенко я, директор вон той ММС, — в два приема сказали щеки и кивнули в сторону стройки. — А лицо у меня такое от густого волоса и хорошего бритья. Понял?

— Понял. Хохол ты, значит. Директор, — вслух оценивал гостя Зося. — А я бывший тракторист УНР номер семь — управления наружных работ, то есть треста...

— Знаю, — сказал Чубенко. — Хорошо, что наружных. Ты мне нужен.

Зося завелся. На мгновение ему подумалось, что с директором надо бы покультурнее, что еще, может, придется работать у этого директора. Но мозг тут, по старой памяти, запротестовал против обычного здравого смысла, тем более что директор и сам вроде на дурь напрашивается. А это — пожалуйста и в любом количестве.

— Давай руку! — бухнул за окном бас.

— На! — Зося с ликованием высунул на улицу свою черную, блестящую от дратвы лапу.

— Я тебя сейчас самого... со всеми потрохами... как цыпленка выволоку! — угрожающе рычал бас.

— Не кажи гоп, дядя! — Зося уперся, но тут же и приутих, почувствовав непомерную силу и тяжесть тела противника.

Боролись они долго. Зося тоже побагровел и поси-
нел, как щеки за окном. Со страхом думалось, что вот-вот лопнут жилы, потому что натянулись они до последнего предела, до пугающей острой боли. Но вот над подоконником показалась круглая смоляная голова. За ней — широкие, как подушки, плечи. Дальше пошло легче. Блеснул значок-поплавок на пиджаке... Отпустив дрожащую Зосину руку, Чубенко закинул на подоконник толстую ногу в резиновом сапоге и перевалился всем телом в Зосину шорню. Встал, оттолкнувшись ладонями от подоконника, загородил все окно.

— Рабочий класс всегда верх возьмет, — срывающимся голосом проговорил Зося.

— Само собой, — согласился гость. И констатировал совершенно спокойно: — Ты и сапожник, значит.

— Обувщик, — поправил его Зося. — Сапожников теперь нет. Одни обувщики. И тех мало.

— Богато живешь, — иронически заметил Чубенко.

— Последний хрен без соли доедаю, — брякнул Зося и залился.

— На бульдозере больше зарабатываешь, — сказал Чубенко. Зося тотчас оборвал смех.

— Это конечно, — согласился он, будто речь шла не о нем. И добавил уже без особого веселья: — Хотя бульдозер не к себе гребет, а от себя, глупая машина.

— Будешь у меня работать. А я пока буду у тебя жить, — решил Чубенко и пошел по комнатам, словно пробовал на прочность стонущие под его ногами половицы.

— Раз я проспори́л насчет окна — значит, все, твой, — с наигранным вздохом проговорил Зося. Сапожки сразу наскучили. Он бросил их, не глядя, и задумался.

Чубенко все еще ходил по дому, а Зося прислушивался к его шагам и думал. С такими жильцами придется вести себя умно. Не жильцы, а мечта, клад. Не какие-нибудь запивохи, сбежавшие от жен, а солидные люди, руководители, сила, власть. Дурак будет Зося, если не попользуется этой силой, которая теперь постоянно под руками. Веселая намечается жизнь...

Чубенко вернулся к Зосе, усадил его на липку и положил ему на плечо тяжелую руку.

— Слушай,— сказал он.— Ты слышал ли, что за штукавина такая — мелиорация земель? А? То-то. А я по своей линии институт закончил и прислан сюда создавать ММС. И будете вы, механизаторы-мелиораторы, улучшать земли в своем районе. Задача вкратце такая: негодные кустики убрать, кочки — сровнять, низины осушить до оптимального, где надо — вспахать с полной дозой удобрений, чтобы каждый гектар дал хлеба и картошки, и трав вдвое больше, чем сейчас. Благороднее дела, Зосим, нам с тобой не найти. Вот давай вместе и поработаем. Но мы еще в пеленках. У меня и конторы нет — строю. И техники мало. И людей. И производственные корпуса только-только заложены. А с нас уже требуют план. А план, брат, дело святое. Трудно сейчас, это я тебе честно скажу — трудно. Помощников у меня раз, два — и обчелся. Вот и призываю я тебя, дорогой мой домохозяин, иди ко мне. Жду я от тебя помощи и вполне сознательного труда.

Чубенко перевел дух. Зося блаженно зажмурился и... захлопал в ладошки, изображая аплодисменты.

— Мелиоратор, мели,— ласково сказал он директору, как ребенку.

Глаза у Чубенко вытаращились, нижняя губа брезгливо опустилась. Зося вскочил, схватил его за руку, умоляюще глянул в посеревшее лицо.

— Ты что, шуток не понимаешь... директор! Да я же... да что там! Когда ты мне... так... по-людски... дак и я по-человечески, да. А! что говорить! Да не обижайся, ну!

— Ой и увертлив ты! Жучок ты, вижу, порядочный. Ха-ха. Но спуску от меня не жди. Да и трудно хохла провести. Ха-ха. Не удастся, помни...

Зося чутко следил за переменами в лице директора и вдруг понял, что в большом незнакомом городе он не мог так вот от всей души озорничать и веселиться, отчего его всегда смутно тянуло домой.

Зося решил, что жильцов ему хватит, и больше никого не пускал. Трое холостяков стали жить под одной

крышей, но никто из них и не думал заботиться о ветхом пятистенке.

— Под снос пустим. А на этом месте поставим пятиэтажный, со всеми удобствами, — не в шутку планировал Чубенко.

— А мне квартиру в центре обещают, — сообщал Василий. Зосе тоже на дом было наплевать. Он понимал, что не хватит у него силенок и денег нет, чтобы отремонтировать. Решил про себя, что если дом развалится, то Чубенко с жильем ему поможет. К тому же за снос дома полагались большие деньги и благоустроенная квартира. Тоже заманчиво.

Зося жил предвкушением скорых и немалых выгод, которые должны были обеспечить ему ответственные жильцы, и заранее веселился. Он расхаживал по дому и напевал, потирая руки. Старые обиды на земляков почти забылись. Прежнюю жизнь здесь он вспоминал с усмешкой. Хотелось поработать, показать себя, повеселиться. И все хорошо, если бы радужное настроение не сменялось приступами острого недоверия. И тогда Зося шипел: «Не дамся! Я уж такое спытал и столько умею, чего этот сопливый городишко и в телевизоре не видал. Меня не проведете!» И тосковал в одиночестве. А потом приходили жильцы, и Зося забывался в шутовом балагурстве и смутно чувствовал, что с людьми ему легче.

Чубенко оформил его на работу в ММС и сказал, чтоб явился к мастеру Пашину. Услышав знакомую фамилию, Зося хохотнул, но ничего не сказал, а через минуту и вовсе посерьезнел. Глаза сузились: последняя встреча с Пашиным и размолвка отчетливо всплыли в памяти. Как встретит?

Пашина он нашел быстро. Они тайком оглядели друг друга и поздоровались как старые добрые знакомые. Зосино лицо при этом светилось дружелюбием, но держался он перед старым мастером уже не как ученик, а с достоинством бывалого работяги. «Помнит или забыл?» — мысленно спрашивал себя Зося, а говорил другое, словно газету читал:

— Тут, гляжу, масштабы. То-то Чубенко агитировал...

— Возле Чубенко человеком можешь стать.

— А я кто? Ладно. Работу показывай, — посуше проговорил Зося.

— Работа опять по железу, — тоном артельного

мастера ответил Пашин и повел Зося к приземистому дощатому навесу, из-под которого неся гул моторов и гром металла.

Под навесом с широченными щелястыми воротами громоздились полуразобранные трактора, огромные ржавые плуги и еще какие-то машины. В углу «гоняли» на пробу мотор, и он ревел недорезанным боровом. Рядом бухали кувалдой. Грохот стоял, кричи не кричи — ничего не разберешь. Зося следил за губами и руками Пашина и понял: ему придется очищать от грязи тракторные гусеницы, разбирать и заменять изношенные траки и пальцы. Работы тяжелее и унижительнее этой и выдумать было невозможно.

— Удружил! — свирепо процедил Зося, когда Пашин отошел. — Но — поглядим... За мной не пропадет. Я тебе тоже... отоварю...

Не забыл, значит. Или попробовать хочет.

Зося перекурил и принялся за работу, кидком-броском. Но скоро сообразил, что для него же будет выгоднее, если задание он с первого же раза выполнит, чтоб не подкопаться. Тогда и зануда Пашин задумается о Зосе.

И Зося увлекся делом. Пашин подошел к нему только в конце дня. Оглядел собранные гусеницы, повертел забракованные траки и, не сказав ни слова, пошагал дальше. Зося догнал его, дурашливо уцепился за рукав.

— Новичок оценки ждет... Похвала его вдохновит на новые свершения, — торопливо заговорил он, стараясь казаться шутником. Пашин остановился, и Зося опустил руки по швам.

— Сделано как полагается, — спокойно ответил Пашин, стараясь не показать раздражения. — Видно, что цену гусенице знаешь. Ты ведь тракторист?

— Со стажем сложных работ в тяжелых условиях...

— Недели две кувалдой помашешь, а там тебе машину дадут, — говорил Пашин спокойно. Но не выдержал: — И не юродствуй. Здесь не паперть. И ты рабочий теперь. Рабочий. Понял?

Зося долго глядел вслед мастеру, недоумевал и злился. И на себя и на Пашина. Какая-то правда в его словах была, смутная, но правда.

Неделю возился он с гусеницами. Чубенко, как на грех, уехал в командировку и задержался дольше, нежели обещал. Поэтому Зося несказанно обрадовался, когда воскресным утром слышал тяжелые директор-

ские шаги и добродушный его бас, сразу наполнивший Зося надеждой на лучшее будущее. Он кинулся открывать перед Чубенко двери, почтительно кланялся, весьма похоже представлял усердного городского швейцара, к которому пришел давно знакомый клиент, не жалеющий чаевых.

— Ты и у дверей не служил ли? — весело захохотал Чубенко.

— Мы все можем, — кланялся Зося. Но тут же распрямился. — Это я тренируюсь, на всякий случай. Поскольку в вашей ММС квалифицированного механизатора используют как самую черную рабсилу.

— Вот и ладно, — добродушно басил Чубенко. — Значит, пользу нашей ММС ты уже приносишь.

— Да ведь с этими гусеницами любой охламон справится! А я?.. Уж и мастера вы себе нашли — Пашина этого. Он вам накомандует. Все от него разбегутся, кто с правами. Я уж только ради вас его терплю, давно бы плюнул.

— На Пашине все наши мастерские, покамест временные, держатся. И народ его ценит, учти, — невозмутимо отвечал Чубенко. — А нервы береги на командировку. Завтра получишь деньги и поедешь в область за трактором. Твоим он будет. Так что принимай машину и гляди в оба.

— Это мы сделаем, — сдавленным голосом заверил Зося. Вот уж не ожидал. На душе у него сразу посветлело.

7

За трактором он съездил без приключений, если не считать того, что снабженцев он обманул и пригнал почти новенькую машину с гидравлической навеской и бульдозерным ножом. Чубенко то восхищался Зосиной ловкостью, то тревожился. Боялся, что ошибка скоро обнаружится и бульдозер у них отберут. А Зося уверял, что такие дела обратного хода не имеют, и не ошибся. Из области только поругались по телефону и оставили.

Из командировки Зося вернулся с покупками: привез две брезентовые робы и такие же голицы. Вечером разложил одежду на столе, ревизуя каждый шов.

— В скупочном брал. Ясно, что алкаши загнали казенную спецовку на опохмелку, — вслух рассуждал

он. — Государственные вещи! Им износу нет. А продают-покупают за копейки. Магазин с барыгами вершит. Ну, правильно это?

Чубенко слушал и улыбался. А Василий поеживался. Зосину критику он частично принимал в свой адрес, поскольку перешел работать в ОБХСС.

Они редко коротали вечера втроем. Но, собравшись вместе, случалось, травили анекдоты и зубоскалили.

— И чего ты, Изосим, не женишься? — приставал Чубенко. — Супруга в доме прибрала бы. Самого бы тебя отмыла.

— Не хватало хомута на шею! Мне и так некогда, а тогда что будет? — охотно поддерживал разговор Зося, обычно и вечерами находивший себе дело. По старой памяти, соседи снова потащили к нему рваную обувь, изломанные замки, керогазы и дырявые самовары. И он никому не отказывал. Все спорилось в его руках. Трояки за работу он принимал равнодушно. Больше всего ему хотелось показать людям, что он хоть и хохмач, но в душе — человек серьезный, надежный и обстоятельный. И жильцы вроде верили. Тем более ремонтировал Зося на совесть, этого у него не отнимешь.

— Без жены и без детей ты еще не человек, а так — зелень, — не отставал Чубенко. — Жизни по-настоящему не поймешь без семьи. Я тебе такую жену желаю, которая б увидела, что руки у тебя золотые и что веселый ты человек. И зажили бы вы ладом. И стал бы ты окончательным человеком.

— А ты — человек уже?

— Само собой.

— А кто тебя человеком сделал? Жена? — осторожно ехидничал Зося. — Ты вот женат. — А где твоя половина? Чем занимается? Знаешь ли?

— Знаю, — ответил Чубенко по возможности уверенно. — Она у меня умница. Медицинский институт кончает. Там нельзя без отрыва. Станет она врачом — мне и о здоровье не надо думать. Сто лет проживу. Ищи и ты медичку.

— С отрывом... от мужа, ха! — негромко высказался Зося.

Чубенко на минуту умолкал. А милиционер Василий сидел с напряженным лицом. На такие темы он не говорил. Считал Василий, что о невестах, женах и вообще о всех таких делах — не шутят и откровенно не говорят...

На другое утро Зося задумчиво расхаживал вокруг бульдозера, крепко сжав усохшие губы. А Чубенко сидел в своем временном кабинете и сочинял приказ. Сочинял и рассуждал вслух, поглядывая на своих ближайших помощников.

— Есть у нас самая выгодная работа — рытье прудов. Расценки там — озолотиться можно. Думаю, надо послать на эту работу Зосима Березкина. Пусть подзаработает парень, а то гол как сокол. Сирота. Опять же в командировке семейный человек долго не выдержит. А Березкину в город рваться не к кому. В самый раз для него это дело. Да и за бульдозер ему надо спасибо сказать.

— Рано ему такую волю давать. Сорваться может, — подал голос Пашин.

— Следить будем, — веско сказал Чубенко. — И парня нужно скорее к настоящему делу прислонить. А то свихнется...

8

Зося два вечера выслушивал наставления Чубенко о том, как ему надо вести себя в колхозах. «Главное — держи марку и высоко неси честь. Ты первый наш представитель перед массой заказчиков. По тебе будут судить о ММС. Очень будут и к тебе, и к твоей работе приглядываться. Чувствуешь?» — внушал Чубенко.

— Все будет в ажуре, — уверенно отвечал Зося, за себя он никогда особо не тревожился.

Днями он пропадал в мастерских, делал бульдозеру профилактику и всю накопленную хитрость использовал для того, чтобы заполучить побольше запчастей. Но оказалось, что запчасти тоже в ведении Пашина, а Пашин отказал Зосе наотрез, заявив, что на бульдозер, только что прошедший капиталку, запчастей не полагается. Зося разозлился, но смолчал. В последний вечер перед долгой командировкой он сходил на могилу матери. Стоял возле нее недолго, удивляясь тому, что думает о бульдозере, Пашине и вообще о работе.

Наступило утро отъезда. Зося пришел к мастерским чуть свет. Еще раз обшарил, опробовал всю машину. Все было в порядке. Зося утвердился в кабине, распрямил сутулые плечи и послал бульдозер вперед. Гордость и нетерпение захлестывали его. Бульдозер играючи подминал под себя разбитую весеннюю землю. Вот

и временные ворота ММС. Под ними обширная лужа. Зося подумал, что надо изловчиться и проехать поаккуртнее, чтобы не заляпать машину грязью...

В первом же колхозе, когда Зося остановился возле конторы, председатель вышел встретить его на крыльцо. Зося приосанился. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — председатель этот хитрец и пронира. Состязаться с такими Зося любил и приготовился к переговорам.

— А мы-то ждем, ждем, — радушно заговорил председатель провожая Зося к своему кабинету. — Не отпустим теперь тебя, дорогой мелиоратор, пока ты нам все не сделаешь. Гляди, — сказал он, подводя Зося к карте. — Вот двадцать деревень. Если по одному пруду в каждой вырыть — сколько будет? Двадцать. Четыре села с перспективой. Там надо от двух до трех водоемов, так по генплану. Плюс четыре пруда возле ферм и штук... — он на мгновение задумался, — штук восемь на пастбищах. Устраивает такой объем? — И председатель заодно глянул на Зося.

Зося сидел и рассматривал не карту, а председателя, пузатого и плешивого, в засаленном пиджаке с наградными колодками. Энтузиазм председателя ему нравился. Но надо было еще знать, что за этим энтузиазмом. Настроение у Зоси было превосходное: его восхищало, что с ним так вот запросто и уважительно толкует председатель большого колхоза. Да какое на равных! Председатель заискивает перед ним. Это Зося быстро уловил и решил вести себя как можно внушительнее.

— С размахом жить веселее. Народ это любит, — сказал Зося чуть иронично, словно намекал председателю на вещи, понятные им двоим.

Председатель кинул на него изучающий взгляд.

— Ты покажи, где начинать, — тотчас проговорил Зося, опережая вопрос председателя.

— И не отдохнешь? — честно удивился председатель.

— Я сегодня еще не работал. Не от чего отдыхать, — строго сказал Зося.

— Ну, ежели так, — председатель остановился, что-то обдумывая. — Ежели так, то... вот он, первый пруд.

Председатель выбросил руку к окну. Но этого было мало. Он с треском распахнул раму, показывая той же рукой на улицу. Зося подошел, не стесняясь, лег брю-

хом на подоконник, словно был дома. Перед ним зияла невеликая серая низинка. Трава в ней не росла. Дно ее было усыпано ломаными тележными колесами и рваными автопокрышками, наполовину засосанными грязью, мятыми ведрами, бутылками.

— Углуби этот бывший водоем на метр-полтора. Это и будет первый объект, — любезно пояснил председатель.

«Под самым носом объект нашел, — подумал Зося. — Я буду в грязи копать, а он наблюдать из-за косяка... Хитер, хозяин».

— Ну что ж, посоревнуемся! — громко сказал Зося, распрямившись во весь свой рост.

— С кем? — быстро спросил председатель, и Зосе показалось, что хозяин читает его мысли.

— Со сферой обслуживания, — продолжал свой намек Зося.

Председатель мелко хохотнул и тут же прикрыл рот ладонью.

«Кажется, дошло» — удовлетворенно подумал Зося и деловито пошагал на улицу.

Через минуту под окнами колхозной конторы взбесившейся сорокой застрекотал пускач. К его треску скоро добавилось басовитое чиханье дизеля. Зося не волновался, хотя вовсе не представлял, как роят пруды. Он был накрепко уверен в себе. Он тронул бульдозер с места и не удержался от озорства. С грохотом и на хорошей скорости он дважды объехал вокруг конторы, не без улыбки замечая, как плющатся на стеклах испуганные лица. А председатель высунулся из окна по пояс и недоуменно тарасил глаза.

«Пусть-ка старый хрен ломает плешивую голову, для чего я это... Ни в жизнь не догадаться ему», — беззвучно хохотал Зося, направляя бульдозер к усохшему пруду.

Работа пошла неожиданно легко. Слои за слоем сдирал Зося черный замусоренный ил и выталкивал его на берег подальше от конторы. Новизна дела и удовольствие от того, что все получается неплохо, захватили Зосю. Он начисто забыл о хитром председателе и о его окне.

День уже клонился к вечеру, когда Зося закончил выравнивать дно, и только теперь заметил, что возле пруда собралась толпа. Зося поддал газу и эффектно вывел машину на лужок. Устало вылез из кабины,

размял затекшие ноги, закурил, прислонился к посветлевшему бульдозерному ножу и прищурился на толпу с легкой усмешкой. Толпа вслух восхищалась и прудом и Зосей. Подошел председатель, сияя улыбкой и лысиной, затряс в ладонях Зосины руки.

— Победил ты меня в соревновании! — негромко, чтобы не слышали другие, сказал он, заговорщицки подмигивая.

— Не о том слова, — осадил его Зося. — Я же без обеда!

— Все готово! — воскликнул председатель. — К лучшей хозяйке тебя определили. Но минуточку задержимся. Ничего пруд получился, аккуратный. Только вот горка эта, а? Неживописно. Горизонт закрывает и... палки, грязь...

— Не я бутылки в ваш пруд бросал, — парировал Зося. — Ты, хозяин, эту горку благоустрой и озелени методом воскресника. Трибуны на ней поставь, как на водном стадионе. Будешь оттуда наблюдать, как твои колхознички купаются. Особенно, если женский пол. И меня будет чем вспомнить.

Председатель икнул. У него высоко поднялись брови. И жесткие складочки шевельнулись у рта.

— Веди ужинать, хозяин! — хохотнул Зося и крепко хлопнул председателя по плечу. Тот едва устоял. — А заодно и пообедаем.

Председатель сам привел Зосю к хозяйке и представил ей. Никогда, пожалуй, не бывало у Зоси такого отличного настроения. Лучшего, кажется, и быть не может. А оказалось — может.

Зосю принялись кормить. Поданные в первую очередь щи оказались такими наваристыми, каких он не пробовал отродясь. И не плосконькую столовскую тарелку поставила перед ним хозяйка, а просторное эмалированное блюдо. Зося «переплыл» это озеро и осушил его. Умял со щами полкаравая. Подумал, что с деревенского народа спрашивать больше нечего. Случись так, Зося и не обиделся бы. Попил бы воды и лег спать. Но хозяйка, следившая за ним из-за занавески, вынесла и второе блюдо, такое же большое, до краев полное горячей баранины. Зося чуть не застонал от удовольствия. И все же виду не подал, только руки потер под столом. Справился и с мясом. А хозяйка уже ставила перед ним кринку топленого молока с такой аппетит-

ной оранжевой пенкой, что не отведасть его было преступно. Зося выпил и молоко.

Уснул Зося сразу, как только лег, успев лишь подумать: «Вот это жизнь!.. А не разыгрывает ли меня плешивый черт?.. Нет. Когда разыгрывают — так не кормят. Зря, пожалуй, я его запанибрата...»

Он вырыл в этом колхозе все пруды, какие требовалось, но председателя больше не встречал. Видимо, избегал его председатель, мужик хозяйственный. И Зося еще раз подумал — зря.

9

Работа в колхозах казалась Зосе триумфальным бульдозеропробегом. Только что хлебом-солью его не встречали, не натягивали поперек дороги красную ленточку и не устраивали митингов. Остальное все было.

Ему радовались председатели и даже бухгалтеры. И Зося удивлялся, что все они разные и с виду и по характерам, но чем-то неуловимо похожи один на другого. Радовались ему и заведующие фермами, и пожарники и пастухи.

Оно и понятно: вода на селе, куда ни кинь — позарез. Скотине попить, бочки замочить, бабам половики постирать, гусям поплавать... Ну и от пожара. Нет жизни без пруда!

Зося видел, что центральные усадьбы колхозов вырослись, еще издали хвастают свежими срубам, крашеными крышами. А старые пруды заплыли, превратились в грязные болотинки, а то и начисто высохли.

«Как же раньше-то мужики пруды копали, когда бульдозеров не было? — размышлял Зося. — Неужели все заступом, а землю носилочками оттаскивали? Как же еще? Ничего себе работенка была!»

Он усмехался, представляя такую работенку. И в такую минуту сердился, если бывалые мужики, случилось, глядели на его работу без особого удивления.

Он сполна сознавал важность своей миссии, и на него напала вроде лихорадка. Не то чтоб он гнался за длинным рублем, нет, хотя и эта сторона дела его интересовала. Он как-то сам по себе уверился, что работает тут немало, и даже не спешил узнать — сколько, сознательно отодвигая этот приятный момент. Главное — пришлось ему по душе сама работа и людской частокол по будущим берегам. И готов был Зося вы-

копать все пруды, какие только вздумается иметь окрестным деревням.

Огляделся он, приноровился и поставил себе задачу — каждый день делать один пруд. С такой задачей он стал справляться: утром начнет и к вечеру сделает. И до того бывал доволен, что готов был петь и плясать вокруг бульдозера, целовать его в теплый радиатор. И сплясал бы, если б никто не видел. Зося с удивлением понял вдруг, что озорства никогда не стеснялся, а вот радости, простой рабочей радости своей — стесняется.

Колхозы, словно соревнуясь один с другим, не скупилась на харчи. Зосю подсаляли к самым хлебосольным хозяйкам. Никогда не питался он так сытно, никогда еще не работал с таким удовольствием и не чувствовал себя столь спокойно и уверенно. Даже сутулость его побавилась, и с лица он стал посвежее, раздобрел и окреп.

Председатели, нередко проезжавшие мимо, останавливались и оценивали его работу, переманивали к себе, козыряя, договорами с Чубенко и тем, что деньги за предстоящую работу уже переведены на счета ММС. Иные приглашали даже на секретную выпивку с разговором. Но Зося держал марку.

Но что было самым упительным — так это свобода. Чубенко со своей бухгалтерией и незаменимым Пашиным казались столь далекими, что иногда Зосе думалось, будто никакой ММС и нет вовсе, а все дела вершит только он, Зося, умелый бульдозерист, которого все уважают и которому везде рады. Да и народ деревенский пришелся ему по душе: доверчивый, на Зосины шутки отзывчивый.

Он не заботился, как выполняется у него план. Да и не знал, как учесть и перевести в кубометры, проценты и рубли, вырытые ямы и бесформенные горы земли. Слышал, правда, что путешествует по его следам учетчица, но это его не волновало. Он хотел знать только свое дело и делать его, делать, пока щелкают бульдозерные траки. Лишь месяц спустя он узнал, что нормы перекрыл почти в три раза. И вручили ему такую получку — сами кассиры в деревню из ММС привезли, — какую он прежде не зарабатывал и за полгода.

— Да ведь как же это? — верил и не верил себе Зося. — Ведь можно и еще поднажать, если по совести, — можно еще. Тогда что же получится?

Зося вдруг начал считать, мотал головой и зажмурился, чтобы вернуть себя к реальности и убедиться, что все это не сон. Он принялся гонять бульдозер из деревни в деревню на самой большой скорости, нетерпеливо покрикивал на деревенское начальство, требуя немедленной работы. И даже на обеде не снимал с себя умазанную глиной и маслом робу, руки не отмывал дочиста неделями.

На втором месяце такой работы к нему приехал Чубенко.

— Ты бы хоть дом навестил,— весело заворчал он, изучающе разглядывая Зосю и бульдозер.— А то простенок в хате вываливается. Перед народом стыдно.

— Стыдно — так почините,— заявил Зося, радуясь встрече.— А ты-то пошто, директор?

— Да так. Проведать. И по поручению рабочкома. Вымпел ты заработал и премию за месяц,— важно сказал Чубенко.— Поздравляю.

Зося аж задрожал от удовольствия. И радостно ему было и смешно представить, как он газует по грязище, а на кабине болтается маленький шелковый косячок, который Чубенко собственноручно приладил к бульдозеру, разглядев, что ладони у Зоси чернее мазута.

— А премия-то сколько?— не утерпел Зося.

— Пять рублей. За месяц больше не бывает. Положение такое. А если за квартал победишь...

Зося не дослушал. Он сцапал пятерку и бросился прочь. Чубенко и в себя прийти не успел, все еще таращил глаза и недоуменно топтался возле «козлика», когда Зося вновь оказался в поле его зрения. Теперь Зосина фигура двигалась помедленнее, и было заметно, что за пазухой он что-то придерживает.

— Ты чего?— строговато спросил Чубенко.

— Зайди ко мне! Хоть на пару минут. Поглядишь хоть, как живу. Одичал я без своих. Не с кем словом переброситься,— горячо упрашивал Зося, увлекая директора за собой. И было в лице Зоси что-то такое умоляющее и беззащитное, что поддался Чубенко, пошел.

Посадили директора в переднем углу. Хозяйка положила ему на колени расшитое полотенце. Вдохнув аромат горячих щей, увидев тарелки с мясом и творогом, Чубенко не мог понять и припомнить, каким образом очутились в его руках вилка и ложка. Не сказал он ни слова и не подумал ничего предосудитель-

ного, когда Зося стукнул доньшком поллитровки о стол да еще добавил с хохотком:

— Премия!

Они выпили и по первой и по второй. Не опьянели ничуть. Наговорились всласть. При этом Зосины глаза блестели влюбленно. Сиял и Чубенко, словно встретился с младшим братом, которым можно гордиться и по которому сильно соскучился.

Провожать Чубенко вышла даже хозяйка.

— Не зарвься только,— тихо сказал на прощанье Чубенко.— Не натвори чего...

— Ну, пока-то — порядок? — спросил Зося.

— Я доволен,— сказал Чубенко.— И рабочком всерьез доволен,— добавил он с непонятым значением.

— Ну так и я доволен,— хохотнул Зося.

«Козлик» укатил. Зося еще долгонько стоял на дороге, а хозяйка на крыльце.

— До чего мужик-то хороший! Видный, а простой,— сказала хозяйка, когда поскучевший Зося подошел к дому. И усомнилась:— Директор ли он?

— А кто же!— рассердился Зося. И слегка приврал:— Но он не с каждым так... У нас с ним дела особые.

Хозяйка не обиделась на сердитые слова, поглядела на Зося с уважением и с этой минуты называла его на вы.

10

Уже в двадцатой, наверное, по счету деревне к Зосе подошел поленький дядька и завел разговор, зыряка всевидящими глазами то на бульдозер, то на ловкие Зосины руки.

— Один работаешь?

— Нет, с машиной,— не очень-то дружелюбно отозвался Зося.

— Одному хорошо,— заговорил дядька.— В артели или в бригаде честный работяга всегда за лодыря, за очкастого растяпу или за инвалида ишачит. Обязательно кто-нибудь на трудовой шее едет. У нас всегда так: половина работает — половина мешает, работников объедает. А одному — благодать.

Зося был в этот вечер не очень чтобы весел. Устал. Вспоминался город, хотелось поразвлечься, нового чего-то хотелось. И он с интересом глянул на дядьку,

который завел недеревенские речи. Выглядел дядька тертым. Глазки острые, неуловимые. Лицо — холеное, с усмешечкой. И заметно было, что еще здоров он, как бугай, хотя чувствовалось, что ему явно за шестьдесят.

— А ты себя любишь,— сказал Зося в надежде сбить дядьку с толку и взять инициативу в свои руки.

— А ты нет?— усмехнулся дядька.

— Я бульдозер люблю,— уклонился Зося от прямого ответа.

— Правильно делаешь. Он тебя озолотить может.

Уже не первый раз слышал Зося «озолотить», и слово это то раздражало его, то отзывалось в душе неясным ожиданием. Поэтому он на всякий случай спросил дядьку:

— Когда про золото, сразу хочу знать: где лежит.

— Слушай, если не знаешь. С учетчиком-то своим знаком? Нет? Ну и дурак. Заведи знакомство. Поближе сойдись. Он тебе выработку в полтора раза больше запишет. Колхоз ведь все равно не знает, сколько ты накопал. Никто обмерять не будет. Сколько запишет учетчик — столько и будет, такой и расчет, и зарплата. Начальство спасибо вам скажет за высокие показатели, цифрой козырять будет. Все это и мэмээсу твоему выгодно, и лично тебе. Дошло? Ну и учетчика отблагодаришь, чтоб у него был интерес... не без того.

— Это чьи песни?— с недобрим намеком спросил Зося, без нужды копаясь в двигателе и отворачиваясь, чтобы дядька не видел его лица. А на лице у Зоси был веселый интерес к дядькиным советам.

— Не прячься. В порядке мотор. И на испуг меня не бери,— со вздохом сказал дядька.— Мне бояться нечего. Научить тебя хочу уму-разуму, только и делов...

— Учи,— сказал Зося самым равнодушным тоном.

— Первый путь я тебе открыл,— сказал дядька сузив глаза до едва заметных щелочек. Сказал и замолчал, но уходить явно не собирался.

— А что, второй есть?— небрежно спросил Зося, которого раздражала фигура прилипчивого дядьки, замолкшего на самом интересном месте.

— Есть еще. Своим горбом, но без издержек,— сказал дядька.

— Конкретнее, учитель,— попросил Зося.

— Конкретнее ты бы мог за сегодняшний вечер положить в карман тридцатку чистыми.

— Мог бы я...— Зося хохотнул.

— Плохо хочешь.

— Почему? Я готов. Где лежит?

— У меня в кошельке.

— Это не по моей части. Не карманник. Руки у меня видишь какие? Не позволяют.

— И все же она твоя.

— Отдашь — будет моя.— Зося снова хохотнул, но притворно. Шуток над собой он не любил. Дядька оказался на раскол крепким и держал инициативу. Быть в подобных ситуациях Зося не привык. Обычно он любого противника сражал своими словечками, но сейчас не приходило в голову ни одной достойной мысли. Устал, что ли, за день? Зося злился и в то же время слышал, как дядькины предложения сверлят ему мозг. Их надо было понять до конца, хотя Зося знал, что заводить делишки с учетом никогда не будет.

— Пошли,— решительно сказал дядька.

Зося хотел поломаться. Ниже своего достоинства считал он идти вот так сразу, с первого слова, за незнакомым, который к тому же хорохорится и поучает.

Но дядька уходил, не оглядываясь, лишь помахивая легонько рукой, словно указывая Зосе маршрут. Фигура дядьки была преисполнена солидности и уверенности, что Зося обязательно пойдет. Это и злило еще больше. Но и делать-то было нечего. «А что? И схожу. Из любопытства схожу»,— решил Зося и пошел.

Дядьку он умышленно не догонял, чтобы не думали люди, будто повели его куда-то, как глупенького. Дядька зашел в палисадник перед своим, видимо, домом и пропал за кустами. Зося шмыгнул в ту же калитку и только теперь прибавил шаг.

Они вошли в огород. Пробираясь за хозяином между грядок, Зося сорвал огурец, захрустел им. Дядька оглянулся на хруст, но, казалось, не обратил на это никакого внимания. Зося изловчился и запихал в карманы еще пару огурцов. Из озорства сделал, чтобы досадить дядьке. Огурцами его кормила до отвала хозяйка.

— Видишь вот этот клочок?— спросил дядька, останавливаясь возле задней изгороди и показывая на луговинку.

— Ну и что? Тут горшок с золотом зарыт?— спросил Зося.

— Точно,— подтвердил дядька.— Этот лужок дает мне полтора пуда сена за два укуса. То есть — гроши.

А если на этом месте организовать прудик — я буду иметь карасей, жаренных в сметане, и воду поливать грядки. А ты — тридцать карбаванцев казначейскими билетами. И мне, пенсионеру, приятно, и тебе, как работяге, не повредит. Уловил?

— Уловил, — протяжно сказал Зося, раздумывая.

— Так чего же мы стоим?

— А когда мне по шапке дадут за это, кто меня защитит?

— Никто, шапка твоя не пострадает.

И дядька снова завел длинную нудную речь, близко подступая к Зосе: мол, не в рабочее время трудился, и так далее.

Зося улыбнулся и заявил:

— Кончай разговоры. Я мигом. Разбирай изгородь.

Дядька сразу умолк, поднатужился и поволок в сторону целое прясло. Зося скорым шагом двинулся к бульдозеру.

...Через час Зося сидел у дядьки в гостях. Дядька представился ему Ефимом Дорофеевичем. Зосе тоже пришлось назвать себя: Изосим Изосимович.

— Да мы же оба наречены по-старинному! — восхитился дядька. — Значит, и закваска в нас старая, крепкая должна быть. Так.

Зося неопределенно хмыкнул. Пока хозяин расставлял стопки и закуски, он огляделся. Дом у Ефима Дорофеевича был полная чаша. В переднем углу громоздился огромный телевизор, рядом — длинная радиолка на тонких ножках и, похоже, дорогой магнитофон. Мебель черной полировки. По стенам — ковры. Потолок был выкрашен белилами, а пол блестел голубизной. Этот голубой пол резал глаза и придавал всему дому смутный оттенок неестественности и фальши.

«Не деревенский это тип, точно», — определил Зося. И ему подумалось почему-то, что соседи, должно быть, не любят Ефима Дорофеевича и не заходят к нему.

— Богато живешь, — без одобрения сказал Зося, когда хозяин уселся за стол.

— Бог помог. Да и трудился всю жизнь, — отозвался хозяин.

Они выпили. Дядька неожиданно быстро захмелел и заговорил, близко придвигаясь к Зосе:

— В наше-то время только круглый дурак без денег живет. Ты погляди, сколь их мимо сыплется! И не

грешно ухватить да с пользой употребить. Немало ведь их в без пользы пропадает. Не грешно... В руки они должны идти. Тем более в трудовые. Голова только побыстрее должна соображать. Возьми ты меня. Ведь я только пенсию проедаю. И то не всю. Остальные финансы лежат где надо, сами себя растят. На этот счет наше государство справедливое.

— И много лежит?— полюбопытствовал Зося.

— Хватит. И останется... Я, браток, был и геологом, и буровым мастером, все ближе к Северу работал. Там, брат, особые деньги людям идут. Но тебе Север не нужен. Твои пути я открыл. И ты бы должен не брать с меня за пруд. Но ты еще глупый, хочешь взять. И я отдам. И третий путь бесплатно открою; будь поближе к начальству, потрафь, понравься ему, дров там случайно привези или еще чего. Верное дело. А с годами переходи в завхозы по линии снабжения или на склад. Это когда ум появится, не ранее. Много, брат, там интересу. Я все это сам прошел. Целая наука. Сколько в тайгу да тундру добра завозили! Сколько бросали! Сколько пропадало его в глупых руках! А у меня не пропадало... Нет! Не пропадало. Да...

— Силен, мужик!— восхищенно сказал Зося, довольный тем, что третий путь— быть поближе к начальству— он уже протоптал самостоятельно и не проговорился об этом.

— Оцени мою науку!— кричал Ефим Дорофеевич, напрашиваясь на похвалу.— Оцени!

— Когда рассчитывать-то будешь!— оборвал Зося его.

Дядька сразу протрезвел.

— Эт-то по-жа-луй-ста,— разочарованно произнес он и пошел за перегородку. Там он долгонько вздыхал, в руках его что-то шелестело. Наконец он вынес в подрагивающих пальцах пять пятерок, развернутых веером.

— А шестая?— спросил Зося, удивляясь тому, как изменилось дядькино лицо, ставшее ханжески неприятным.

— Тут она!— Дядька ткнул пальцем Зосин живот.

— Да ведь бутылка-то всего три шестьдесят две стоит. А пили на двоих!— запротестовал Зося без всякого возмущения, а просто из интереса, как будет выкручиваться бессовестный дядька.

— А закуска? А хлопоты мои? А огурцы? От одного твоего мазутного запаха грядки повянут! А ты ручи-

щей! За ботву! А наука?— то ли всерьез, то ли в шутку, но запальчиво доказывал Ефим Дорофеевич.

Зося хохотал в открытую. «Комик! Артист! Ну — комик!» — выкрикивал он. Деликатно заливался смешком и хозяин.

— Ну, привет тебе, бизнесмен. Всю жизнь перекрою по твоим советам!— попрощался Зося, утирая выступившие слезы.

— Не прогадаешь, хе-хе!— вторил ему дядька.

— Это точно,— соглашался Зося. И вдруг Ефим Дорофеевич посерьезнел, нагнал скорбь на лицо. Зося устался на него, ожидая новой потехи.

— Не пойму я. Или ты отпетый дурак, или широко умный, или просто нахал,— проговорил хозяин.

— Считай, что широко умный,— ответил Зося.

— Допустим,— сказал хозяин, задумчиво поднимая брови.— Тогда слушай мою последнюю просьбу, если умный. Что ты вырыл мне прудик, завтра будет знать вся деревня. Да и сегодня, считай, знает. Завтра попросят тебя сделать и другие. И никто не попрекнет, спасибо будут говорить и деньги совать. Не отказывай людям. Но есть тут одна личность, не связывайся с ней. Марьей Ивановной ее зовут, активистку, так ее... Много крови она попортила. Пруд ей нужен позарез, потому она всю жизнь уток разводит. Не рой ей пруда. Она тебя попросит, она на тебя и донос напишет. Остерегись Ты не подневольный. А остальным, что ж, остальным можно.

— Ладно. Привет,— сказал Зося и пнул ногой дверь. Дядька ему окончательно надоел.

Над деревней стояла ясная июньская ночь. Но Зосе было не до красот. Он устал и ругал себя за то, что связался с этим типом. Но пятерки, хрустевшие в кармане, настраивали на мечтательный и несколько авантюрный лад. Они поднимали настроение и помогали воображению рисовать картины яркие, хотя и не совсем ясные.

Наутро Зосе надо было уезжать, но его упросили задержаться. И он полный день рыл пруды в огородах. От хозяйки узнал, что Ефим Дорофеевич был когда-то в этой деревне бригадиром, но в самые тяжелые для колхоза времена внезапно исчез. Удрал ночью, без всяких справок. Вестей от него не было больше двадцати лет. Жена померла. Единственная дочь давно вышла замуж в город. После него в деревне бригадирствовала

Марья Ивановна, заслужила орден и вышла на пенсию. И вот появился недавно этот Ефим Дорофеевич обратно в свой дом с двумя грузовиками добра. И не дружат теперь, друг друга видеть не могут два бывших бригадира.

Зося бесплатно вырыл пруд хозяйке. И хотел было распрощаться, когда вспомнил про Марью Ивановну.

— Ей больше всего пруда хочется,— сказала хозяйка.— Да хворает она, из дому не выходит. И уток соседка кормит.

Зося тут же принял решение. Он подъехал к дому Марьи Ивановны, оглядел подворье и сам выбрал место для пруда. Рыл старательно, аккуратно разровнял землю на берегах и напрямик двинулся в новую деревню. Время от времени он прикладывал ладонь к груди, нащупывая в потайном кармане плотную пачку денег и удивляясь своей разворотливости.

11

Слава путешествовала вместе с Зосей, оставалась на следах бульдозера, частенько опережала его маршрут и неуклонно росла. Он установил для себя новый распорядок: днем рыл пруд для колхоза, вечером — в огороде какого-нибудь сельского жителя. Но предложений от частного сектора было много. Теперь к ночи он почти всякий день пил с хозяином нового пруда магарыч. Хрустящие червонцы принимал без счета, комкал черной рукой и запихивал поглубже в карман, чтобы не выползали.

Нельзя сказать, что совесть его оставалась совершенно спокойной. Но он усмирять ее робкие вопросы тем, что прудик в огороде деревенского жителя — дело благое, а бульдозер для того и создан, чтобы на нем работали. Если бульдозер будет стоять — какой от него прок? К тому же Зося о плане не забывал, перевыполнял. А левые деньги — что ж — они такие же, как и правые, в одной силе. Да и не краденые они, своим горбом заработанные.

Пачка денег пухла. Она уже не давала покоя Зосе. И до того довела, что случилось с ним дикованное. Ехал он по знакомому большаку. И вдруг заколотилось сердце. На всем ходу Зося выключил сцепление, сиганул в кювет. Долго расстегивал тресущимися руками брезентовую полевую сумку, много раз обшаривал все кар-

маны. «Деньги ведь счет любят. А они у меня, как фантики конфетные. Разве так можно!» — шептал он, разглядывая бумажки и складывая их в стопки. Он поминутно вертел головой, вглядываясь в оба конца дороги — не едет ли кто. И сбивался со счета. Запомнил общую сумму, перевалившую за тысячу рублей, еще раз поразился, что денег так много. А сколько их будет к концу лета! А через пару лет!

Успокоился не скоро. А пожалуй, и не успокоился насовсем, скребло душу смутное предчувствие. Теперь его пугало, что он не владеет собой. Понимает все, а идет по домам и спрашивает, не надо ли кому вырыть прудик. Замечает косые взгляды и все равно идет...

В середине лета Зося позволил себе взять выходной. Заявился в город. По пути заглянул во все открытые чайные и буфеты. К дому подходил с песнями, но не очень чтобы пьяный, внутренне настороженный, готовый на балагурство, на хитрость и на жестокий отпор, если надо.

А дом хозяина глядел сиротой. На крыше подгнила и рухнула стропилина, и половину комнат заливало при любом дожде. Простенок, который и впрямь норовил выпасть на улицу, жильцы подперли бревнышком. Большого они предпринимать не собирались. Не думал о ремонте и Зося.

Он лег на диван и отдался блаженному отдыху. Пришел Чубенко и глядел на него с улыбкой — он ни в чем не мог упрекнуть Зося, у которого накопилось множество отгулов. Но и здесь его настигли председатели. После какого-то районного совещания они заявили на квартиру к Чубенко. В домашней обстановке деловые вопросы обсуждались за накрытым столом. На правах хозяина уселся в компанию и Зося.

— Если у вас все такие, то с ММС будем дружить, — хвалил Зося один председатель.

— Когда вы его к нам-то командируете? — спрашивал у Чубенко другой.

— Парень работающий. Только... — хотел что-то сказать давнишний знакомый Зосин хитрец, но Зося вовремя перебил его, странно блеснув глазами:

— Да бросьте вы свои договоры! Скучно. Давайте-ка я расскажу историю. Она как раз договоров касается. — Компания из уважения к хозяину дома примолкла. Зося воодушевился. — Нарыл я, значит, в одной деревне прудов. Уезжать надо. А вроде чего-то не хва-

тает, чувствую, ну — вспомнить нечего! Думаю. И подговорил я тамошних парней организовать мне свадьбу. Девку-то еще раньше сам опел, за два вечера. Вековуха девка, не больно умна. В общем заключили мы с ней на словах договор. Она два дня закуску готовила, посуду со всей деревни собрала. Парни ящик водки приволокли за мой счет, а потом и сами сбросились, поскольку потеха общая. Народу набежало! Бабы так и напирают на столы, того гляди, все окувырнут, и вот нахваливают меня: счастье, мол, девке привалило нежданное, такого золотого работника в деревне и не видывали. Ну и пошла гулянка. «Горько» кричали раз сто. Песни орали, пока глотки у всех не заболели. Плясали — все половицы раскачали до скрипу. А я чую — пора, а то положат спать — и не отвертеться. Вышел я на крыльцо, вроде на минутку, а сам шасть в бульдозер — и деру! Они там поют-заливаются, невеста коровой воеет, не знаю — от страха или от радости. А я под такую музыку шпарю уже по другому сельсовету. Ночь напролет ехал, к утру на другой край района попал. И сразу за работу, честь по чести. Вот как дела-то делать надо по договорам. Теперь есть что вспомнить, людям рассказать. Хоть мне, хоть невесте, хоть и всей деревне. И все накормлены, и напоены все.

— Да ведь врешь! — сомневалась компания, насмеявшись.

— Да точно! — уверял Зося.

— А в какой деревне было?

— Не могу пока сказать... секрет... пускай дело остынет маленько...

Председатели скоро разъехались, а Зося лежал на диване и благодумствовал. Никто из председателей его не выдал. Будущее казалось ему цепью сплошных удач. Воображение рисовало, как он получает удобную казенную квартиру, как ему выдают солидный куш за снос дома, как он расписывается за громадную получку, за премию и густо берет червонцы за халтурку.

Он еще не знал, что безмятежности его приходит конец, что через неделю привезут его с жестокой простудой и что с этого момента начнутся в его судьбе крутые перемены, которые заставят не раз трудно задуматься над жизнью, радоваться и страдать...

Зося не знал, сколько времени лежит он в нетопленном доме. В одну из редких минут просветления услышал, как под окном остановилась машина. Хлопнули дверцы, в сенях застучали шаги. В комнату вошел человек в белом халате. «Сжалился кто-то, «скорую» вызвали»,— слабо подумал Зося.

Врач повертел его с боку на бок, послушал хрипы в груди, нахмурился. Выписав рецепты, он оглядел Зосино жилище и, неодобрительно поджав губы, вышел. Прорумела под окном машина. Зося лежал. Идти за лекарством было некому.

Зося плохо переносил жар. Болело все сразу. «Зачем же позволяет, чтобы человек так мучился?» — спрашивал он неведомо кого, а вернее — жаловался. И начинал соображать, что жизнь устроена грозно и не так понятно, как ему казалось раньше, хотя он и думал, что повидал и узнал немало. Пропала обычная Зосина бесшабашность. Или растаяла она при высокой температуре...

Вспомнил отца, а заодно и мать. И с обидой упрекнул их, что родили они его не в радость, да еще и нарекли словно на смех людям — Изосимом. С таким именем не прожить по-человечески, жену порядочную не найти, потому что шарахаются нынешние девки от такого имени. Он и случай с вековухой придумал, чтоб себя утешить. «Да и за что должны любить меня люди, помогать и жалеть? — мрачно раздумывал он. — Не за что... Каждый человек — кузнец своего счастья. Вот и куй его, Изосим, семь на восемь... И не пеняй. Ты сам-то много ли добра сделал? А объегорить — на это ты мастер, это — пожалуйста...»

Мысль на какое-то время терялась. Сознание и, казалось, сама жизнь покидали его. Но в мозгу снова начинали копошиться вопросы. Они назойливо стучали, стучали в виски, и не прогнать их было, не отвлечься делом, потому сейчас одно дело было у Зоси — болеть.

«С чего же я заболел? А! Вырыл пруд тому одному колхознику, выпил с ним. И прилег на минутку за бульдозером. Место было вроде сухое, на солнышке, в головах — солома. А проснулся — дождь. Лето еще не кончилось, а до чего холодный был дождь — ледяной! Колотун! И жар теперь. И никто не виноват,

сам достучался... А как мать-покойница долго болела, а я и не понимал, что больным так плохо...»

Зося забылся. Утихли назойливые вопросы. Ничего не стало...

Он проснулся и сразу понял, что рядом кто-то есть. Наверное, оттого и проснулся. Заметил, что рецептов на табуретке уже нет. А возле постели стоит небольшого роста женщина. Похоже, молодая и красивая. На такую красоту и глядеть неловко. Зося услышал, как его лицо, и без того воспаленное, еще больше занялось краской. Прикрыл глаза. Может, все мерещится? Нет, рецепты исчезли, они белые, он бы заметил... Кто же она?

...Зосе нравились девки попроще и не шибко красивые да модные. И хотя ни с одной он еще не сходил близко — считал, что жена у него должна быть крепкой, без интеллигентских замашек и маникюров, а с лица — все равно, но лучше, если не красавица, чтобы не требовала разных ухаживаний и чтоб мужики на нее не пялились.

Глаза у Зоси распахнулись по-настоящему: было время выспаться. И он увидел, женщина выкладывает на табуретку пакетики. Смущение у него прошло — видимо, от слабости. Он молча глядел на гостью. И думал, что она, пожалуй, не старше его. А гостья, наверное, уже нагляделась на Зосю и теперь разглядывала дом. Губы у нее при этом поджалась почти так же, как у врача со «скорой». Наконец она заметила, что Зося не спит, и спросила:

— Вы один... вот так?

— Один, — прохрипел Зося, но гостья не поняла его и заговорила внятно, словно с ребенком.

— Меня зовут Катя... Тоже в ММС работаю... Меня директор прислал с лекарствами. Вот порошки. В рецептах сказано, как принимать.

— Бульдозер, — почти в бреду протяжно проговорил Зося.

— При чем тут бульдозер? — сказала Катя. — За вашей машиной присматривают, чего о ней думать.

— Деньги! — бредил Зося. Он рванулся, выхватил из-под подушки комья денег... И упал на спину, затах.

Гостья встревожилась. Но Зося уже прятал деньги и глядел на нее осмысленно и недоверчиво. Катя прикрикнула на него и заставила проглотить порошки. Вскипятила чай, напоила его. И Зося заснул. Ушла

гостя в задумчивости, часто оглядываясь на Зосин дом.

Вновь появилась она вечером. Зосе уже было легче. Почти не болела голова. Поутих жар. Но еще не было сил встать. Поднять руку и то было до удивления тяжело.

— Что вы хотите?—спросила Катя.

— Есть,—выдохнул Зося единственное слово. Собрался с силами и сказал еще:— Два дня не ел, хоть чего-нибудь...

Он говорил правду, чувствуя аппетит и еще то, как здорово он слаб. Даже не верилось, он — бравый Зося — мог дойти до такой беспомощности.

— Если у больного аппетит, можно считать, что он уже поправился,—утетила Катя и пошла в магазин за продуктами, весело помахав Зося ручкой.

Зося успокоился и стал ждать.

«Ну, из какой корысти она за мной ухаживает?—спрашивал он себя.— Не могу понять. Хотя бабы — народ жалостливый, они мимо не пройдут... А эту еще и начальство направило. Вот и старается. Хотя... Черт их разберет, все эти дела... Хорошо, хоть башка не трещит...»

Чубенко ввалился в Зосину комнату с пузатым портфелем и радостно забасил, увидев, что Зося не спит и не охает.

— Напугал ты нас,—рокотал Чубенко.— Бредишь, кричишь не дело. Но ты об этом не думай. Бред — он и есть бред. Давай вставай скорее, а то план трещит. Бульдозер мы никому не отдали. Тебя ждем.

Чубенко говорил и после каждой фразы выкладывал на табуретку закуски: два круга пахучей колбасы (у Зоси тотчас слюна ударила в язык), увесистый кусок сыра, коробку конфет, булку. С особым удовольствием выставил огромный термос, а под конец подмигнул Зося и сунул под кровать бутылку.

— Все это освоишь — здоровее прежнего будешь,—заявил он.— И не беспокойся. Бюллетень тебе оформлен.

Зося слушал его почти безучастно. Его мучило недоумение: «За что все это? Что они за люди? Ведь должно же быть во всем ихнем поведении какое-то при творство? Не без расчета же они... Ведь он, Зося, им никто. Ну, Чубенко работника хочет быстрее на ноги поставить. Катя... А если просто так, от души они? Нет. Зачем им это? Просто так только воробей чирикает».

Зося не додумал. Он съел порядочный кус колбасы, выпил поллитровую кружку чаю из термоса, наполовину разбавив его водкой. Ударило в пот. И он снова заснул, не дождавшись Кати.

Утром Зося поднялся и стал собираться на работу. Чубенко замахал руками, вызвал врача, который на-строга запретил Зосе выходить на улицу еще самое малое два дня. И Зося сел у окна, дожевывая колбасу и сыр.

13

Погода за окном была такая, словно осень пришла месяца на два раньше обычного. Ветер трепал деревья, которые отчаянно отбивались от него. Казалось, будто с улицы кто-то злой хлещет по стеклам мокрой метлой. Дорога превратилась в сплошное грязное месиво. Сыпал холодный дождь.

А Зося сидел с улыбкой. Он словно заново родился. Сидел, радовался прибывающим силам и пытался думать. Но думалось ему лишь об одном: бульдозер. Зося тревожился, испытывал к машине почти нежное чувство. В нем осталось благодарное чувство к Чубенко, к Кате, но... перед глазами его сейчас стоял бульдозер. Он уперся в Зосино окно фарами, обиженно уронил широкий нож, прижался к земле грязными гусеницами...

«Тоскует без меня, бедолага чугунная,— как о живом, думал Зося о бульдозере.— А ведь он для меня, пожалуй, самый друг, железный. На него всегда можно положиться. Не подводил».

И Зосе вспомнились короткие летние ночи, когда он один-одинешенек, путешествовал от деревни к деревне. Вечерняя заря еще не отыграла, а уж рядом утренняя занимается. Зося грезит в полудреме, а бульдозер ощупывает гусеницами дорогу, объезжает ухабы и урчит ровненько, чтоб не тревожить хозяина.

А как работали! Зося рычит, когда попадает под нож нежданный валун. И бульдозер рычит, громче, но в тон хозяину. Зося напрягается над рычагами, и бульдозер — тоже. Глядишь — и выкачен валун на берег, а там и в репейники его, в старую яму... Сейчас Зосе казалось, что не столько он, сколько бульдозер не мог кончить работы и отдохнуть, пока не подровнены у пруда берега.

«Умница машина,— прошептал Зося.— Ей-ей, ум-

ница. Выйду, вылижу всего, смажу,отрегулирую,—мысленно клялся Зося.— Все сделаю, потому как вдвоем мы — сила, а один я — просто трепло».

...В двери деликатно стучали. Зося встrepенулся, крикнул: «Да!» И пошел навстречу.

У порога стояла Катя, закутанная в теплый платок. Только островатый носик и карие глаза ее были открыты. На синем ватнике, на резиновых сапожках блестели крапинки дождя.

— И какая неволя... на такой-то погоде,— с широкой улыбкой приветствовал ее Зося. Он взял холодную, покрасневшую Катину руку и поцеловал ее. И получилось это у него чинно, как в кино. То ли от чистого сердца, то ли опять ради озорства — он сам не знал. И сам себе удивился.

Катя глянула на него и тихонько засмеялась.

— Вижу, совсем здоров,— сказала она.— А уж до того был плох, я забоялась.

— А к холостому мужику в дом заходить не забоялась? — спросил ее Зося.

— Какой ты мужик! Ты парнишечка,— ответила Катя. И добавила насмешливо:— И больной. Даже бредил своим бульдозером.

Ей было с ним смешно и просто. И Зося похохатывал, стоя перед ней. Но он торопливо соображал, как все это понять. И ничего у него не соображалось. Для начала решил отблагодарить Катю.

— Позвольте вашу фуфаечку и платочек. Повесим их на гвоздичек. Чай будем пить? — захопотал Зося, разыгрывая фартового ухажера. Катя отдала ему и ватник и платок.— Вот сюда, сюда присаживайтесь,— приговаривал Зося, забегая вперед и дурашливо кланяясь.

Катя поглядывала на него с улыбкой, шла за ним и потуже натягивала синий свитер с белым рисунком на груди.

— Вот газеточка. А я похлопочу,— Зося смахнул рукавом крошки со стола и побежал на кухню. Здесь он окончательно убедился, что потчевать гостью нечем. Оставался один выход — мчаться в магазин. Зося накинул плащ, сунул ноги в литые сапоги и помчался.

Людей в магазине почти не было. И все же Зося прыгал от нетерпения, стучал ногтями по стеклышку своих часов, намекая неразворотливой продавщице... Он купил водки, шампанского, конфет и всяких закусок, какие попадались на глаза. Про чай забыл.

— Покажем себя! — вслух ликовал он. Ему думалось, что в магазине он пробыл-то пару минут. Но когда вбежал в дом — поразился. Столы и стулья в его комнате были сдвинуты в угол, а Катя, засучив рукава дорогого свитера, мыла пол. Зося не нашелся, что сказать, и встал в дверях, боясь шагнуть на чистые половицы.

— Грязи у тебя, как на бульдозере, — сказала, выпрямившись, Катя. — Не могу я видеть, когда такие полы.

— Ин-те-рес-но, — с расстановкой произнес Зося, скрывая замешательство. — А я вот в магазин слетал.

— Видела, — сказала Катя. — Вынеси-ка эту воду да принеси чистой, пока не разулся.

Зосю немножко покорибила такая команда, но ему тут же подумалось, что вовсе неплохо, если пол станет чистым. И он подхватил ведро. Головой поматывал на ходу, чтобы отогнать наваждение, но перед глазами было Катино лицо, разгоряченное работой: румяные щеки, темные блестящие глаза. Эти глаза кололи Зосю. Не хотел он, страшновато было водиться с такими красивыми, тяжело думать о них... Такая всю жизнь будет командовать, а ты бегай как ишак. И если сладится у них с Катей — какая уж там командировка...

Через полчаса они сидели за столом. От вымытого пола веяло прохладой и давно забытым, волнующим запахом чистоты. Зося крутился и не смел прямо взглянуть на гостью. Одолеvalo волнение, пугающее, почти запретное.

— Ну, угощай, — усмехнулась Катя, заметив растерянность хозяина. — Я посижу. Меня, может, снова директор к тебе послал, проведать.

— А ты... вы... что, тоже в ММС? — спросил Зося, сбиваясь. Он не знал, как теперь называть Катю.

— Вместе мы работаем, в одной конторе. Только специальность у меня другая. Я — маляр-альфрейщик, — рассказывала Катя. — Но ничего еще не построено в ММС толком, чтоб мне по своему профилю работать.

— А чем же заниматься приходится? — спросил Зося, радуясь, что обошел и «ты», и «вы».

— По мелочам... Таблички разные рисую. Номера на тракторах, эмблемы. По трафареточке. Скучно, конечно. А тебе не надоело еще все время на тракторе и в отъезде?

— С бульдозером мы — пара! — нашелся Зося, отче-

го сразу повеселел и принялся откупоривать шампанское.

Катя тихо вскрикнула, когда пробка стрельнула в потолок. И Зосе было приятно, что она вскрикнула. «Значит, простой она человек, без выгибонов», — почему-то решил он и разлил вино.

С водки Зося окончательно пришел в себя и понес веселую чепуху, перескакивая в пятого на десятое.

— Ты всегда такой?.. — спросила Катя, разглядывая его.

— Всегда, — заявил Зося. — Почти.

— И нравится?

— Какой уж есть. Да ты не бойсь, я теплый парень по характеру-то.

— Пожалуй, — согласилась Катя. Она обвела взглядом углы и стены, сказала: — Хозяйку бы тебе надо

— Да не идет никто! — Зося комично развел руками. — Может, ты расхрабришься? А что? И дом есть И деньги. И еще заработаем. Настоящей хозяйкой будешь!

— А у меня ни дома, ни денег, — сказала Катя, смеясь. — Ведь ты, хозяин, поди не возьмешь бесприданницу.

Зося понял, что разговор подошел к тому опасному и увлекательному моменту, когда все говорится еще в шутку, но каждое слово моментально взвешивается и всерьез. Его разбирал азарт зубоскала — острые моменты он любил. Но что-то и тревожное, тайное шелохнулось в груди...

— Я и без приданого возьму, — бесшабашно заявил он. — Я человек современный, хотя имя у меня старомодное...

— Ну и как ты с женой думаешь жить? — заинтересованно спросила Катя. Глаза у нее вдруг повлажнели. И вся она напряглась, хотя и старалась улыбаться по-прежнему легко.

— А так, — тотчас ответил Зося, изо всех сил стараясь показать, что вопрос для него ясен и задумываться над ним нечего. — Я вкальваю, жена хозяйство ведет... Чтобы на других мужиков она не поглядывала. У моей все будет, чего ей захочется, все обеспечу, чтобы ходила не хуже других. Но с женой хочу жить заодно, во всем. Думать мы должны... это... одинаково. Потому что один на один... все общее... Не знаю, как сказать... Ты вот о приданом говоришь, да? Не надо приданого, Катя, без

приданого возьму. А вот без души не возьму... да. У меня вот отец был... Не хочу вспоминать... Большую мать со мной — сосунком, бросил... Я не так...

Зося сбился, покраснел. Он отчего-то не мог сказать, стыдился, что ли, какой мечталась ему жена и жизнь с ней. А ведь мечталась. В последние годы — все чаще. Эта мечта жила где-то рядом с сердцем, напоминала о себе требовательно и тревожно, вызывая томительное ожидание счастья или повергая Зосю в уныние оттого, что у него — неудачливого и нескладного — никогда ничего путного не получится.

Он глянул на Катю и поразился происшедшей в ней перемене. Улыбка ее была жалкой, губы вздрагивали, словно Катя сдерживалась, чтоб не заплакать.

— А пить-то не стал бы? — вымученно спросила она. Зосе показалось, что Катя спросила не о главном, а просто поддерживала разговор, который прервался так неловко.

— При хорошей жизни не пьют, Катя, — рассудительно ответил он, прислушиваясь к путанице в своих чувствах и мыслях.

Неделей раньше он бы удивился и похотел над тем, как от обычных, от пустых слов два малознакомых человека вдруг ударились в такую серьезность, что обоих чуть не трясет. Раньше он отвел бы душу... Но сейчас не хоталось. Он чувствовал, что между ним и Катей уже протянулась незримая ниточка и если он оборвет ее, то сделает больно не только Кате, но и себе, лишит и себя и Катю чего-то очень нужного, теплого, человеческого, что после этого будет пусто на душе и никогда больше не получится у них такого трудного, но и увлекательного, умного и опасного, и все же желанного разговора, нужного обоим.

Катя откинулась на стуле, губы ее побледнели.

— Зося, — сломанным голосом проговорила она, — а если серьезно.

Мурашки побежали у Зоси по спине. Вот она — минута! Зося улыбнулся кривой улыбкой, которая странно застыла у него на лице. Катя уже была для него человеком, которого он не мог обидеть и смех над которым был — предательство. Но что ей ответить? Становилось страшно за себя, хотя и подмывало привычное любопытство. Давала знать привычка к бесшабашным словесным стычкам, но сейчас эта привычка натолкнулась на стену серьезности, к которой вдруг привела разговор Катя.

Он еще раз глянул на нее. Глаза у Кати — словно он больно обидел ее и она мучится. Зосе стало неловко: Катя сидела перед ним такая беззащитная, близкая, понятная, своя. И она серьезно предлагала ему...

Зося ощутил боль в груди, словно в нее ворвалось что-то горячее. И рядом с этим болезненным комком росло отчаяние, будто он, преодолевая страх, решается под спор на какую-то до невозможности бедовую выходку.

Но пора было и отвечать. «А не счастье ли это привалило мне после всего?» — с замирающим сердцем спросил Зося себя. Он резко поднялся, подбежал к окну, не заметив, что стул за ним упал с громким стуком. Прижался лбом к холодному стеклу...

— Боюсь я... красивых,— хрипло проговорил он, слыша, что говорит не о том, о чем думает. Да он, пожалуй, уже и не думал. В голове стало пусто. Только страх перед попыткой решиться и беспомощность, такая непривычная, рождающая брезгливость к себе.

Он резко обернулся, услышав, как поднимается из-за стола Катя. Он испугался, что она уйдет совсем. Уйдет, а что останется Зосе? Что делать? Как жить? И зачем — если без нее?

Но Катя не уходила. Она улыбалась ему, радостно и чуть насмешливо. Она шла к нему, протягивая руки. И Зосе вдруг стало легко и весело. «Чего боюсь-то? Этой славной девчонки? Во — дурак. Да и где наша не пропадала! Попробуем и семьей пожить. А?»

14

На этой неделе Зося к бульдозеру не уехал, хотя врач разрешил ему выйти на работу. У Зоси была свадьба. Готовясь к ней, он посерьезнел, озадаченный предстоящим событием. В тайничке мозга еще билась мыслишка, что не совсем складно получается, уж слишком негаданно: с невестой знаком какую-то пару дней, и уж не на дом ли Зосин, не на деньги ли его позарилась красивая Катя? Тем более зарабатывает он много, а дома почти не бывает. Ведь раньше девки бежали от Зоси с хохотом и чуть не плевали ему вслед, когда он пытался приставать к ним с ухаживаниями. А тут? Как понять?

Но Зосю сразу наполнила горячая радость, едва он видел Катю или слышал ее голос, а то и просто шаги.

Он забывал сразу все сомнения. И следил за будущей женой преданными глазами, ухмылялся, но радость все же старался не показывать.

Катя заставила его купить черный костюм и белую рубашку, сшила модный цветастый галстук во всю грудь. Он и ей совал деньги, чтобы и она купила себе все свадебное, но Катя наотрез отказалась.

Однажды испугался. «А не разыгрывают ли меня?» — с ужасом подумалось ему. Он бросился к Кате, которая переодевалась за перегородкой. Она испуганно прижалась к стене. Он подошел к ней близко, хмуро заглядывая в глаза. Она обвила его шею руками, зашептала просительно: «Подожди. Теперь уже недолго...»

...За день до свадьбы невеста вымыла в доме окна, полы и потолки, обмахнула стены вересковым веником, все прибрала. Посвежел в доме воздух.

Утром, перед тем как идти в загс, Катя попросила Зося сходить с ней на ее квартиру и принести оттуда вещички. Зося пошел с великим удовольствием, но приутих, увидев, что Катя ведет его прямо в дом знакомой ему горбатой Анны. Катя беззаботно тараторила со старушкой, долго благодарила ее за гостеприимство, а старушка молча переводила глаза с нее на Зося и не проронила ни слова.

— Чего она тебя испугалась? — спросила Катя на обратном пути.

— Мы с ней давно знакомы. Соседи, — буркнул Зося.

— Ой, обидел ты ее когда-нибудь, — сказала Катя, заглядывая ему в лицо. Но он молчал, и Катя продолжала: — Она славная. Несчастливая, конечно. Она только тем и живет, что людям помогает. По-своему, конечно, на религиозной почве, но добро делает...

Зося крякнул, всем видом показывая, что разговаривать на такую тему сейчас не время. Катины слова отпечатались в памяти и вызывали легкое раздражение и интерес.

Весь день Зося был серьезен и держался необычно прямо. Ухмылялся редко и то наедине. Знакомые не сразу узнавали его. Приутихли Чубенко и Василий, озадаченные таким оборотом дела.

Свадебный вечер прошел без особого веселья. Зося молчал и не притрагивался к рюмке. Он считал, что жениху так и полагается себя вести. Невеста тоже сидела тихо, опустив глаза. Щеки у нее горели и руки двига-

лись не так плавно, как несколько дней назад, а нервно, рывками. В гости она никого не позвала. С Зосиной стороны были только жильцы. Так и сидели вчетвером, по разные стороны стола.

Когда выпили, Василий не утерпел и спросил Катю, кто она и откуда.

— Она наша,— загудел Чубенко.— Рабочий класс.

— Меня в городе не знают. Я ведь недавно приехала. Не из славных невест,— сказала Катя.

— Нехваленая невеста дороже хваленой,— выдал поговорку Чубенко. Катя слегка вздрогнула, зарделась, снова опустила глаза. Зося сидел прямо, лишь изредка косил глазами на Катю или слегка сигнализировал жильцам, чтобы наливали себе. Наконец жильцы переглянулись, недружно крикнули «горько», пожелали молодым всяких благ и оставили их.

А утром жених оказался прежним Зосей. Молча оделся, хлопнул дверью и пошел к своему бульдозеру.

Не показывался он всю неделю. А в воскресенье пришел сытый и навеселе.

15

Катя остановила его на пороге.

— В таком виде не пущу. Сними грязное.— Она пыталась улыбаться.

Зося молча приподнял ее и отставил в сторону, шагнул, в чем был, в чистые комнаты. Кто знает, не будь рядом жильцов, он, может, и послушался, и снял бы надоевшую робу. Но жильцы встретили его весело, глядели так, словно ждали новых шуток. И Зося не мог их разочаровать.

Катя сжала губы и пошла за ним, двери прикрыла плотно. Через час переодетый Зося вышел со своей половины с огромным мешком, доверху набитым опорками. Подмигнул жильцам и вдруг ахнул, будто вспомнил важное.

— Она выбросить велит,— обрадованно заговорил он.— А мы не так сделаем...

Он прислонил мешок к стене и бросился в сени. Возвратился оттуда с тяжелой «буржуйкой», приволок и трубы. И только теперь жильцы догадались, что Зося не чудит, а поступает разумно. На улице было уже холодновато. В нетопленном доме поселился промозглый

сквозняк. Усевшись на корточки и даже в таком положении не уступая в росте Чубенко, Зося с великой заинтересованностью заталкивал в «буржуйку» старые башмаки и дырявые подметки. Он заразил этим интересом и директора, и милиционера. И было чему дивиться! Опорки горели на редкость ходко и жарко. Лучше всяких дров.

— Ташкент! — восхищался Зося. — Ползимы протопить на моем запасе. Этого добра у меня на чердаке на два самосвала не погрузить. Знаю, что дров покупать не собираетесь, ответработнички...

Жильцы только улыбались, добрее у тепла. Но от столь приятного занятия Зосю отвлекла жена. Она уведла его, а минут через десять он, загадочно улыбаясь, потопал с кошелкой в магазин. Он принес, что было наказано, высыпал покупки на стол, но еще до этого сунул пару бутылок в комнату жильцов и мигнул, чтобы прятали.

Жены Зося сторонился, в его отношении к ней было что-то пренебрежительное, губы его кривились. Целый день молодая жена, погрузневшая и настороженная, старалась показать себя заботливой и умелой хозяйкой. Разговаривала мало, но то и дело гоняла Зосю с поручениями. Он, демонстративно подчеркивая, что все это ему надоело, перетаскивал из угла в угол тяжелые вещи, приносил чистую воду и уносил грязную. И с каждым часом становился все более дурашливым и дерзким: он улучал моменты, чтобы приложиться к спрятанным бутылкам.

— Когда ты успел набраться? — с тихой обидой спросила Катя. Нет, она не собиралась плакать. Она сдерживалась, похудевшая и уже не такая красивая. — Я хотела к вечеру хороший ужин сделать. Бабку, старую мою хозяйку, пригласила. А ты? — с укором выговаривала Катя и настороженно следила за переменами в лице мужа.

— Бабка — как раз для меня компания, — ощерясь, хохотнул Зося. — Всю жизнь мечтал вечер с бабкой провести.

— Будь человеком, — с болью в голосе попросила Катя. — Ведь не такой уж ты, как показать хочешь...

— Я — бульдозер, я — дурак, от себя гребу хорошее, а себе беру... — издевательски прокричал он и резко отвернулся, не договорив. Хлопнул дверью, зашел в пустую комнату жильцов. Сел, уперся локтями в колени.

На душе было скверно. И в то же время хотелось захотать и запеть, плюнув на все...

Прошло время, и он услышал, что к Кате кто-то зашел. Зося поднялся, надо было глянуть на гостя. Ведь Зося покамест хозяин в доме!

Посреди комнаты, уже прибранной для праздничного ужина, он увидел горбатую Анну. Она кланялась в передний угол, где уже не было ни икон, ни бумажных цветов, и мелко крестилась, беззвучно перебирая губами.

Зося оборвал прорывавшийся хохот, бухнулся рядом с ней на колени, взмахнул ручищей, неумело осеняя грудь, и заблажил такое, что, по его мнению, должно было походить на молитву.

— Добро сотвори, ближнего обмани, никому не признавайся, богу покайся, аминь...

Лицо его перекошилось от напряжения: сдерживать пьяный хохот было нелегко. Старушка отпрянула от него, ударилась о стену, закрестилась еще быстрее. Зося упал локтями на пол, заржал.

— Зося-а! — со слезами закричала Катя.

Зося вскочил и выкинул перед ней пару разухабистых коленец, словно собирался плясать, и жену вызывал на круг.

— Зачем же так-то! Издеваться-то? — задыхаясь, говорила Катя, заслоняя старушку. Зося отстранил ее, нагнулся к лицу Анны и запел, кривляясь:

— «В том конце на том краю бьют горбатую мою. Не утерпеть — пойду глядеть, куда горбы будут лететь!»

Старушка шарахнулась от него.

— Антихрист! — неистово вскрикнула она и плюнула в его сторону. Зося хохотнул, обернулся к жене, выкрикнул ей в лицо другую частушку:

— «Городские девочки — какие интересные: пять абортот каждый год, а замуж идут честные!»

Зося победно развернулся, но тут же присел. Старушка с размаху ударила его клюкой. Не успели жильцы выскочить на шум, как в их комнату влетел растрепанный Зося. Было похоже, что сзади его крепко толкнули. Он попытался засмеяться и не смог.

— В милицию его! Куда смотрите, начальнички! — пронзительно кричала бабка. Зося сделал зверское лицо, вскинулся в ее сторону. Непонятно было, то ли он все еще шутит и хочет ее поугаить, то ли намеревается вышвырнуть ее вон. Но ничего у него не получилось. Василий заученным движением сцапал Зосины руки и резко

загнул их ему за спину... Зося ахнул, покорежился и, не споря, поспешно пошел впереди милиционера, не отпуская его рук.

Некурящий Чубенко потянулся за Васиными сигаретами, долго чиркал спичкой и, ничего не добившись, затых, вращая огромными черными глазами.

А Зося топал в милицию.

— Я же тебе сапожки сшил... И живем вместе,— вслух осудил он жильца-конвоира.

— Не знал я, что ты такой подлец, а то бы не стал с тобой связываться,— ответил разгоряченный Василий.

— Задержанных оскорблять не положено,— бросил Зося.

— Не поймешь ты, если с тобой по-хорошему.

На ночь Зося домой не отпустили.

Вернулся он рано утром. Не заходя в дом, сел на сырое крыльцо, развесил длинные руки. Казалось, он очень устал, но глаза и губы предательски выдавали прежнюю Зосину ухмылку. Только теперь она была злее обычного.

К нему вышли жильцы.

— Что с тобой делать, Изосим? — с упреком спросил Чубенко.— Как мы тебе квартиру будем давать после такого? Нельзя ее тебе давать. Мы строим квартиры для радостной и правильной жизни, а не для пьянки и драки.

— Вот именно,— поддакнул Василий.

— Как хотите,— равнодушно ответил Зося.

— Как себя ведешь! — возмутился Василий.— Ему все нипочем. На первой неделе после свадьбы — и в милицию. Постыдился бы.

Зося глянул на него серьезно, а хмыкнул насмешливо.

— Ну, попал я в по вашей милости в участок, ну, переночевал там. Не я первый, не я последний. Сиж, улыбаюсь. А вам-то что? Чего вы-то как на похоронах?

— Дает! — растерянно проговорил Чубенко.

— Скучные люди,— вздохнул Зося.— Ничего-то вы не понимаете. Отвяжитесь.

— Сегодня же из твоего дома съеду,— сказал Василий.

— И спасибо не скажешь, знаю,— подхватил Зося.— Все вы... Уж и неудобно вам с простым рабочим...

— Да не так живут настоящие-то рабочие,— возбужденно заговорил Чубенко.— Ведь сам все понимаешь.

— А что я сделал? За мое баловство с работы не снимают. Вот тебя — сняли бы. А меня — нет. Так и прокурор скажет, — ответил Зося. — И квартиры не надо. Это вы квартиру от государства ждете, дров купить жметесь. А я — нет. Этот дом упадет — на другой заработаю.

— Уже известно, как ты зарабатываешь, — многозначительно сказал Василий.

— Своими руками, — возвысил голос Зося. — Своим горбом! — Но что-то дрогнуло в нем, растерянным стал взгляд. Зося прикрыл глаза, снова сел и заговорил без прежнего азарта. — Слепые вы все, вот что. Неужто не понимаете, что я не со зла, не от подлости... Ну, с озорством... дак что? В деревнях меня понимают. Да и тут... Да что вам толковать! — Зося безнадежно махнул рукой и отвернулся. Жильцы думали, качали головами.

Вдруг Зося резко вскинул свои длинные руки. Жильцы шарахнулись. А он потянулся до хруста в суставах и начал оседать с блаженной улыбкой. Сел.

— Чего пялитесь? Я зарядку делаю. А вам на службу пора! — усмехнулся он им в лица. — Я же куда как хорошо провел сегодняшнюю ночь! Есть что вспомнить. Так мне хочется к бульдозеру! Ох, и поработаю я в эту неделю — от души. Триста процентов дам, товарищ директор. И повеселюсь, извините, тоже. Вечеринку закачу в деревне — половицы затрещат, шутить буду, дурачиться буду. А вы сидите тут по углам, езуиты постные, порядок соблюдайте и осуждайте меня. А я пошел.

Изумленные жильцы еще долго толкались во дворе, не замечая холода. Перед приходом Зоси они условились не расстраивать его до конца, не говорить ему, что Катя сразу после скандала похватила свои вещички и унесла чемодан в сопровождении горбатой старушки. А оказалось, зря условились. Зося не спросил про жену и увидеть ее не захотел, словно ее и не было.

Работать стало тяжелее. Даже старые, начисто высохшие пруды теперь залило. Забираться в них с бульдозером было рискованно. Зося ругался, требовал, чтобы ему отводили участки на новых и сухих местах. Председатели соглашались и на это. Но дожди мешали везде. Невозможно было вылезть из кабины, ноги то расплзались, то вязли. Зося понял, что триста процентов не

даст и заработки его будут не те. И в первый раз постылой показалась ему командировочная жизнь, а с ней и замызганный бульдозер.

Зося работал и скрежетал зубами, а после ужина сразу валился в постель. Но и спалось плохо: одолевали думы. О Кате он старался не вспоминать... Порой казалось, что ему ничего не грозит: есть работа — ну и работай. А на душе было все равно смутно, тревожно.

К концу недели, когда Зося уже планировал, как провести воскресенье, к нему приехал Чубенко. Зося разыграл великую радость да и вправду был рад. Пулей вылетел он из бульдозера, широкими прыжками преодолел грязь, подбежал к директорскому «козлику», залопотал. Но Чубенко не вышел из машины и даже руки не подал.

— Дороешь этот пруд и гони бульдозер в ММС, дело есть,— суховато распорядился он.

— Что еще за дело объявилось? — громко удивился Зося, чуя недоброе.

— К девяти часам в понедельник явись ко мне в кабинет. Там и узнаешь,— безапелляционно проговорил Чубенко и громко хлопнул дверцей. «Козлик» нешибко заскользил по сырой дороге. Одинокий Зося, оставшись на грязной обочине, почувствовал себя вконец осиротевшим.

«Кажется, кончилась моя вольная житуха,— подумал он.— Если пришьют мне к делу халтуру, то выйдет по всем статьям перерасход. На всех фронтах конфузия. Не дай бог, опять даст мне Пашин кувалду...»

Он не сразу вернулся к бульдозеру, останавливался в раздумье, выбирал дорогу поудобнее. В сердцах рванул дверцу кабины, чуть не сорвал ее с петель. Подтянулся на руках, плюхнулся на сиденье. Дал задний ход. Бульдозер окутался белым дымом, но с места не стронулся. Зося оглянулся и помертвел: почти к самому окну кабины подступала вязкая грязь. Сдвинуть машину вперед тоже не удалось. Зося с ужасом наблюдал, как погружается в трясину ходовая часть. Гусеницы крутились легко и удивительно быстро, выбрасывая жидкие потоки. Чуть не плача, Зося полез из машины. Сам едва не увяз. Сапоги пришлось придерживать руками, чтобы не оставить в грязи. Он беззвучно ругал последними словами и себя, и некстати приехавшего Чубенко, и совершенно не соображал, что делать дальше.

Подошел какой-то старичок.

— Хана,— бодро сказал он.— Теперь до рождества не вытянуть. Промерзнет земля, тогда надо пообрубить сзади мерзлое-то, подцепить пару тракторов — они и выволокут. Есть у нас такие места, гиблые, вроде ямин. Иной раз лошади вязнут, всей деревней вытягиваем. Попал ты, братец, в яму.

Зося свирепо глянул на нежданного утешителя. Но старичок вид имел благостный, не врал и не пугал.

— А насовсем-то его не засосет? — с надеждой спросил Зося.

— Не должно. Земля его поддержит. Да и люди последят.

Зося хлопнул грязными рукавицами по колену, повертел головой и еще долго стоял с мокрыми глазами, не сводя их с бульдозера, который вроде в трясику больше не погружался. Наконец плюнул под ноги и побрел в колхозную контору. Надо было сообщить о беде в ММС.

...В город он добирался как попало. Добрую половину — пешком. Изредка его подбрасывали попутные тракторы и подводы. Автомашинны не ходили — увязли бы на первой версте.

Противнее этого путешествия в Зосиной жизни ничего не было. Ноги гудели. Одежда прилипла к телу. Каждый новый километр был длиннее прежнего вдвое.

В город он попал к исходу выходного. Забрел в первую чайную и допоздна просидел там. Под конец затянувшегося ужина ему стало веселее и легче. Но, пока он добирался скользкими тропинками к дому, веселье выветрилось. Навалилась усталость неодолимая. Он едва вскарабкался на крыльцо, обломал ногти. Долго стаскивал в сених мокрую робу и сапоги. Ему было безразлично, есть ли кто в доме, нет ли. Держась за стенки, добрел до дивана и, падая на него, заснул.

Утром поднялся поздно. Болела голова, и все тело болело. Глянув на стрелки, понял, что к назначенному директором часу он безнадежно опоздал. Стало еще хуже. И только теперь он заметил, что Катиных вещей в комнате нет.

— Ушла,— определил он.— И приходить незачем было. Разыграла спектакль... ладно, зрителей было мало...

Надо же! Он будто и ненавидел ее сейчас, а не мог ругать, хотя бы и наедине с собой, теми словами, какими

ми честил нередко других. Что-то останавливалось в нем. Он не понимал себя. И оттого становилось еще сквернее на душе.

Он принялся нервно рыться в шкафу, чтобы найти что-нибудь потеплее и поприличнее для выхода в город. Новенький свадебный костюм почему-то успокоил его. Он надел его, повязал цветастый галстук. Глянул в зеркало, понравился себе.

— Хоть опять женись,— сказал он вслух и повеселел.

Он вошел в директорский кабинет и не сумел скрыть удивления: рядом с Чубенко сидел Василий.

— Здравствуйте, товарищи! — словно маршал, принимающий парад, крикнул Зося и протянул было руку. Но Чубенко даже не поднялся ему навстречу, а только кивнул на стул.

Зося легонько пожал плечами и сел, впервые разглядывая обоих жильцов вместе в служебной обстановке. Озабоченность и важность на их лицах показалась ему забавной. Он отвернулся, чтобы не видели, как расплылось его лицо в улыбке.

— Докладывай, в каком виде машина,— услышал он голос Чубенко, который все еще просматривал какие-то бумаги, подаваемые Василием, но уже приглашал к разговору и Зося.

— В порядке. Когда уходил — одна кабина была видна. Так что не разденут,— ответил Зося, слегка привирая и укрощая улыбку.

— Как угораздило-то?

— А пока разговаривали мы с вами, его и засосало.

— Значит, я виноват? — спросил Чубенко, с интересом глянув на Зося.

— Теперь как хошь считай,— сказал Зося со вздохом.

— Наделал ты делов... И при параде.

— Решил все отгулы отгулять,— заявил Зося.

— Отдохнуть тебе придется,— сказал Чубенко, и Зося забеспокоился, уловив в его голосе недобрый намек. Да и Василий поглядывал так, что ничего хорошего ожидать не приходилось.

— Почитай-ка вот это.

Зося поднялся и взял у Чубенко листок из ученической тетради, исписанный замысловатым почерком. Принялся читать, не замечая, что оба жильца неотрывно наблюдают за ним. На листке было заявление. И чем

дальше читал Зося, тем больше охватывало его негодование. И жутковато становилось.

«Директору ММС тов. Чубенко
от гр. дер. Лухнёво, пенсионера
Моргалина Е. Д.

Заявление

Прошу Вас разъяснить жителям нашей деревни Лухнёво тарифы и расценки на рытье прудов частному сектору со стороны Вашей ММС во избежание кривотолков и левых заработков со стороны Ваших механизаторов, каковым у Вас является Изосим Изосимович (фамилия неизвестна). Суть в том, что вырытые частному сектору пруды никем не сдавались и не принимались, хотя без акта эта работа Вам в план не пойдет. И насчет расценок неясно. Поименованный механизатор взимал плату в свои руки, не выдавая квитанций, и допускал nepозволительный производ, взяв с меня, больного, заслуженного и старого человека, проработавшего всю сознательную жизнь на самых трудных участках народного хозяйства страны, 30 (тридцать) рублей, а зажиточной пенсионерке Скворцовой М. И. вырыл пруд без заказа, бесплатно, исказив ландшафт населенного пункта Лухнёво и тем самым совершив злостное преступление против охраны природы. Прошу разобраться в nepозволительных действиях поименованного механизатора, проверить факты на месте и дать письменный ответ о наказании виновных, иначе возмущенные люди найдут правду выше. Народ теперь грамотный, понимает и в государственном порядке, и в казенном бензине, и в леваке.

К сему... (Моргалин)
15 октября 197... года.

Копия в райотдел милиции...»

Зося кончил читать, а все еще не мог оторвать глаз от ненавистного листка. «Моргалин,— злобно шептал он.— И фамилия-то подлая. И сам сволоочь. Встретить бы его еще разок, больного и заслуженного... Доведется ехать мимо — заровняю его пруд, гору земли на его месте наворочу, карасей не пожалею»,— решил он и даже немного успокоился от этого.

— Что скажешь? — спросил Чубенко.

— А подлец он! — заявил Зося.— Больше и сказать нечего.

— Кто?

— Жалобщик. Помню я его. Жмот и жулик. Он во всем и виноват. Если бы не он...

— В чем он виноват?

— Да... Долго рассказывать.— Зося махнул рукой и отвернулся.

— А что скажешь на это? — спросил Василий и подал Зосе пачку листов, расчерченных на строчки. Повер-

ху их стояло черное печатное слово: протокол. Зося потемнел с лица. Он читал листы один за другим и только сейчас узнавал мимолетных знакомых полностью по именам, отчествам и фамилиям. А много же их набралось! Зося сбился со счета, начал снова, задумался, припоминая свой маршрут по району.

— Это я по твоим следам ездил,— сказал Василий.— Многовато ты их наоставлял. Кстати и насчет твоей липовой свадьбы с вековухой проверил: наврал ты. А в других местах тебя самого обвели, как мальчика. В первом же колхозе, где ты работал, два пруда твоих учетчику не показали. И в план ММС они не вошли. Вот мне и приходится восстанавливать справедливость.

Зося хмыкнул. Протоколы были написаны рукой тех, кому он рыл пруды. Везде указывалась полученная Зосей сумма. В двух протоколах говорилось, что денег он не брал, а в четырех — что оплата ограничивалась угощением. «Честный народ»,— улыбнулся про себя Зося.

— А вот итог,— сказал Василий, протягивая еще один листок. Общая сумма незаконно полученных тобой денег — почти тысяча рублей. Немного недотянул ты до особо опасного преступления.

— Это не все,— сказал Зося, стараясь казаться спокойным и веселым.— Я еще на хуторах по пути рыл. Оттуда протоколов нету. Плохо ты работал, Вася, хуже моего. К тому же я добро людям делал, а ты настроение им портил своими допросами. Представляю, как они всполошились, ночи не спят, меня жалеют. Тебя, наверное, никто и не кормил в деревнях-то, не то что меня.

— Шутишь! — усмехнулся Василий недобро.— А отвечать придется по строгости закона.

— Все верно! — вскрикнул Зося все еще весело, хотя кошки уже давно скребли на душе.— Вот этого Моргалина я бы прищучил.

— Мы разбираемся с тобой. Умей за себя ответить,— отрезал Василий.— Рассказывай.

— Чего? И так ясно,— раздраженно ответил Зося. Он все еще не мог поверить, что привлекают его и дело пахнет судом. Ведь он не воровал... Своими руками... Люди просили... Как не помочь. До синевы в глазах работал. А тут?

Но лица жильцов были столь мрачны, что Зося и впрямь почувствовал себя преступником. Мысли останавливались.

Зося почувствовал, что его знобит. Он не глядя расписался в бумагах и снова уселся. И только теперь, когда он расписался под протоколами, ему стало страшно. Надо бы уходить, но недоговоренность, неясность положения становились невыносимыми. Зося боялся остаться один на один с собой. И глаз чего-то задергало, левый.

Василий сложил бумаги в папку, о чем-то тихо посоветовался с Чубенко и вышел, поглядывая на Зосю. Зося не разобрал их разговора да и не слушал.

— Можешь быть свободен,— устало сказал Чубенко, глядя в окно.

— Куда? — спросил Зося, мучаясь.

— Ты ловкий парень. Чего тебя учить...

— Чего со мной делать-то надумали? — громче спросил Зося.

— Ударник! Передовик! — вдруг заорал Чубенко, срываясь с баса на пронзительный крик.— Вор! А мы у тебя жили... Доверяли веселому человеку... Рубаха-парень, душа нараспашку... А тут не рубаха, а целая...:

Чубенко задохнулся, не в силах найти слово для сравнения. Он вскочил, взмахнул руками и оглушительно хлопнул по столу тяжелой ладонью. От стола его тут же отбросило, он коротко взвыл... Толстое стекло на столе разлетелось от удара на куски. Чубенко тряс окровавленной кистью руки и морщился.

Зося кинулся к нему. Ничего смешного тут не было. Он выдернул из директорской ладони толстый осколок, оглядел его, потом рану.

— Острое, без обломков. Крошки в руке не застряли,— торопливо говорил Зося, успокаивая побелевшего директора. Он схватил графин, поискал глазами какую-нибудь тряпку, полез в карманы, но носового платка в них не оказалось. Тогда Зося сорвал с шеи галстук, плеснул на него из графина и приложил к ране... Кровь перестала сочиться.

— Выше держи! — вполголоса командовал Зося, туго перевязывая руку галстуком.— Нельзя так, что ты. Ведь я в ММС не один. Если на каждого стучать...

— Иди вон,— сказал Чубенко.

— Посиди, успокойся,— приговаривал Зося, будто и не слышал директорского распоряжения. Он налил воды в стакан и придвинул его Чубенко. Тот жадно выпил воду, перевел дух и страдальчески поглядел на Зосю.

— С одним тобой хлопот больше, чем со всей

ММС,— сказал он с невыразимым укором.— Что ты за человек?

Зося смолчал. Ему было искренне жаль Чубенко. И он понимал, что сейчас лучше не только не возражать, но соглашаться надо с чем угодно. О своей беде Зося забыл.

— Я никому не скажу. В момент за бинтом слетаю,— по-приятельски предложил он.— Нехорошо с галстуком на руке. Люди заходят.

— Сгинь с глаз моих! — простонал Чубенко.— Приходи в пять часов на собрание. Левые деньги внеси в кассу...

У Зоси что-то тяжелое свалилось с плеч. Но сразу он не ушел, собрал в кучу осколки, завернул их в газету, без спроса взятую с директорского стола, еще раз преданно глянул на Чубенко — не надо ли ему чего...

— Во-он! — почти взвыл Чубенко, готовый снова бить кулаками по столу.

Зося бочком шмыгнул в дверь, унося стекло.

Теперь у него была одна мысль — внести в кассу деньги, чтобы никто к нему больше не приставал. Денег было не жаль. И еще ему подумалось, что не такие уж плохие ребята его жильцы, не отправили к прокурору, не стали выносить сор из избы, свои люди. А другие могли бы...

Через полчаса он уже склонился к окошечку кассы, просовывая в него руку с пачкой денег.

— Оприходуйте. И корешок мне,— поторопил он толстую очкастую женщину.

— За что платите? — заученным тоном спросила она.

— По протоколу,— сказал Зося, краснея.— Незаконно получил.

— Дуся, подними начисление. Кому мы переплатили? — пропела кассирша в глубину комнаты. Зося немного подождал и принялся растолковывать, что эти деньги шли не через бухгалтерию, а он брал их сам. А теперь ему разъяснили, что это неправильно и велели отдать... По совести.

— Какая совесть! Мы удерживаем только налоги и алименты, принимаем плату за дрова,— то ли шутила, то ли всерьез объясняла кассирша.

— Я же вам сказал! Берите,— заволновался Зося.

— Вы что, слов не понимаете? Нет такого порядка! — Кассирша придвинулась к окошечку, недолго разглядывала злое Зосино лицо и вдруг отпрянула.— Не

мешайте работать! — взвизгнула она и со стуком захлопнула окошечко. Зося слышал, как звякнула изнутри металлическая защелка. Он вздохнул, отошел шага на два, потер лоб. Отступать было нельзя. Он снова подскочил к окошечку, забарабанил по нему железными пальцами. Окошечко с треском распахнулось, и Зося снова близко встретился с негодующим взглядом кассирши.

— Девочки, звоните в милицию! — закричала она, ударив счетами по Зосиной руке. Он чуть не выронил деньги, отдернул руку. Окошечко тотчас захлопнулось.

Скоро он уже входил в здание районной милиции.

— Где тут деньги принимаются? Присвоенные, что ли... — с порога закричал он дежурному лейтенанту. Тот вскочил, загородил Зосе дорогу. — Василия мне, старшего лейтенанта. Он у меня в доме жил, — догадался спросить Зося.

— Его сейчас нету, — ответил дежурный, с подозрением оглядывая Зося.

Зося чуть не плюнул с досады и выбежал на улицу. Он вспомнил, что в здание милиции можно зайти и мимо дежурного, с черного хода. И точно, во дворе никто его не остановил. Встречные милиционеры даже сторонились вежливо, пропуская его.

Он нашел двери с табличкой «ОБХСС» и постучал. Его встретила симпатичная девчонка в голубоватой милицейской гимнастерке. Как ни старался Зося разъяснить ей свое затруднительное положение, она ничего не понимала, только хмурилась.

— Здесь не цирк! — наконец прикрикнула она. Зося попятился, потому что девчонка потянулась к телефону, и очутился в коридоре. Он принялся останавливать каждого человека в милицейской форме и сбивчиво объяснялся с ним. Вокруг него собралось уже человек пять. Подошел пожилой милиционер с крупными звездами на погонах. Этот понял все.

— Дело еще не закончено. Деньги вносить рано. Никто их пока не возьмет, — сказал он, и все разошлись.

Зося поплелся домой. Оказалось, что времени прошло уже много и надо было поторапливаться на собрание. Хотелось прийти пораньше, чтобы разузнать что-нибудь новое насчет себя, потому что все сильнее щемило у Зоси под ложечкой. Раздумывал: брать с собой деньги или нет. Решил взять: вдруг Чубенко прикажет кассирше, и та примет их! Страх рос. Зосе казалось, что стоит только избавиться от этих денег, как он станет честным и

чистым человеком, которому можно жить ничего не опасаясь. О такой жизни он теперь мечтал и ничего не желал, кроме ее...

К Чубенко его перед собранием не пустили. Зато ему повезло на другое. Мимо прошел Василий и хлопнул его по плечу. Пожалел или просто от хорошего настроения? Нет, настроение у Василия всегда одинаковое. А подсудимых по плечам не хлопают.

Зосе стало полегче. Он спустился в пустой зал, чтобы побыть одному, подумать. Хотел было по привычке сесть на первый ряд, но тут же спохватился: из президиума он будет виден как на ладонке и кто-нибудь из начальников, увидев его, обязательно намекнет людям о Зосиных делишках. Он забился в дальний угол, сгорбился, притих. Люди уже заполнили зал.

Скоро Зося понял свою ошибку. Собрание, оказывается, для того и собирали, чтобы обсудить его, Зосю. Его попросили встать. Весь зал, как по команде, обернулся и рассматривал его. А будь он на переднем ряду, из зала увидели бы только его спину.

Стоять было тяжело. Зося плохо слышал, что говорили. Запомнилось только, что собрание открыл Чубенко и предоставил слово Василию. Потом от Зоси долго требовали ответа, а он не мог сказать ни слова — челюсти свело, и всего его било жаркой дрожью. Он бы и упал, наверное, выручали руки, намертво вцепившиеся в спинку стула, закостеневшие.

Зося смутно видел, как в его сторону возмущенно машет рукой седой старичок механик, потом молодая женщина, а после нее кто-то из простых работяг. Слова не доходили до его сознания. Но он улавливал, что все говорят примерно одно и то же и никто не защищает его. Запомнился бригадир дренажников. Зося слышал от других, что парень этот лихой, умеет сорвать заработок. И его возмутило, что с обличительной речью выступает именно этот тип. «А сам-то!» — хотел крикнуть Зося, но из его горла вырвался не то хrap, не то кашель. И никто не понял его...

Собрание разворачивалось перед ним как тусклое немое кино. И еще было похоже на кошмары, когда он болел и бредил. Каждый замахивался на него и больно бил. И не было сил уклониться от удара, не то что убежать или дать сдачи.

Его толкнули в бок. Он близко различил лицо — отчего-то радостное.

— На поруки берут. Скажи, что справишься. Так надо,— громко шептал сосед. Зося немного очнулся и почувствовал, что в зале что-то изменилось. Будто строгая, но добрая птица распахнула перед людьми крылья. Люди еще глядели на него, но уже по-другому. А Зосе становилось хуже. Ноги у него подломились, и он тяжело рухнул на стул.

— Да он больной! Горит весь,— услышал Зося голос соседа, чувствуя еще, что тот приложил к его лбу ладонь. В зале зашелестело, загремело...

Очнулся он дома. Рядом сидела Катя, сложив на коленях руки. Руки были красные, воспаленные.

17

Зося прикрыл глаза, чтобы Катя не заметила его пробуждения. Слишком неожиданной была эта встреча. О чем с ней говорить?.. Катя и не заметила. Она давно смотрела ничего не видящим усталым взглядом.

«Отчего это руки у нее словно ошпаренные? — задался вопросом Зося.— Может, после стирки?..»

Чувствовал он себя свежо, как после здорового сна. И только слабость и смутное беспокойство напоминали о болезни.

— Чего пришла? — неожиданно даже для себя спросил он.

Катя качнулась на стуле, приподняла руки и снова опустила их на колени.

— Да ведь ты хороший, когда спишь,— не сразу ответила она с ничего не значащей улыбкой. И опять поджала губы, устала на стену выше Зосиной постели.

— Ну? — настаивал он.

— Мы ведь муж и жена,— проговорила она вымученно.— Кто же за тобой присмотрит, если не я? А ты проснулся — и снова хамить готов. Начнешь — я уйду.

По лицу ее пробежала судорога, но Катя справилась с собой, так и осталась сидеть, слегка закинув голову.

«Совсем другая она стала: исхудала, побледнела, морщинки у глаз. Красавицей не назовешь,— отметил Зося, глядя на нее и почему-то испытывая тихую жалость к ней.— Это я ее измучил. А что она мне плохого сделала?»

— Ты не расстраивайся,— сказал он.

— Чего теперь расстраиваться,— ответила Катя.— Вижу, что поправляешься. Поживу у тебя, пока на но-

ги встанешь, а потом опять тряпки соберу. Я и так их не все принесла.

Зося поежился, помолчал. Странно! Разговаривать с Катей ему было совсем нетрудно. А ведь недавно казалось, что не сказать ему ни слова да и видеть ее он не хотел... Он сейчас не боялся ее, не такой красивой, как две недели тому назад. Но говорить хотелось что-то умное и доброе. Нужно было взвесить каждое слово. И Зося не спешил, думал.

«Отнял я последнюю радость, последнюю, может, надежду ее на настоящую жизнь,— упрекнул он себя.— А она ведь не только баба, а и — человек. Такой же рабочий, как и я. И вообще — человек. И жизнь, люди, наверное, обижали ее не меньше, а может, и больше, чем меня. Потому что женщина».

Зося думал. На лице его устоялась едва заметная, мудрая и горькая улыбка.

— Ты какой-то не такой стал,— с едва заметной надеждой проговорила Катя, вглядываясь в его лицо.— Повымотала тебя хворь. Ты и не слышал, как я тебя сутки с ложечки поила.

Зося вскинул на нее глаза. Катина голова теперь была устало склонена набок. И она глядела прямо ему в глаза.

— Спасибо тебе,— тихо и благодарно сказал Зося. В лице Кати что-то дрогнуло, светлые лучики мелькнули у глаз, поалели щеки.

— Лежи,— сказала она. Поднялась и долго поправляла ему одеяло, подоткнув под бока и под ноги.— Я в магазин.

Только оставшись один, и то не сразу, Зося вспомнил и про собрание и про деньги. И словно тисками сдавило горло... Он едва перевел дух. И чуть не заплакал от бессилия, оттого, что она ничего не знает... Он ждал Катю и боялся, что сейчас придет Чубенко и неизвестно еще, что скажет.

Или Василий припрется с протоколами: Зосе казалось, что следователи любят допрашивать больных, у больных все легче разузнать...

Наконец Катя пришла. Но принялась что-то делать на кухне. Зося кулаками застучал по стене. Легкие Катини шаги раздались в прихожей. И вот она рядом, склонилась к постели.

— Кто тебя напугал? — спросила она, тревожно вглядываясь в его лицо.— Или болит что?

— Что там обо мне говорят?.. Собрание-то что решило? — хрипло, в два приема спросил он.

— Не думай об этом,— спокойно сказала Катя.— Все будет хорошо. И так у тебя от нервов болезнь. Думаешь много, переживаешь, мечешься.

— Скажи! — почти крикнул он.

— Никто тебя особенно не хвалит, но и бить не собираются. Слышала я, что постановили взыскать с тебя за горючее и за амортизацию по машино-часам. Вроде подсчитывают, сколько с тебя приходится. Ну и общественное порицание, выговор, что ли.

Зося слушал всем существом. Казалось, и грудь его слышит, и руки, и все тело сразу.

— Ну, а суд-то? — спросил он.

— Да ведь слышал, что на поруки тебя взяли. Или не слышал уже? Ой, и напугал ты меня, когда упал там. Я чуть не заорала. А бабы глядят — что я буду делать. Ведь муж...

— И что же ты?

— А помчалась как сумасшедшая к телефону, «скорую» вызвала. Сама в машину к тебе залезла. И везти велела сюда. Так и осталась с тобой. Врачи говорили, что надо, потому что тяжелый ты был. Пластом лежал, не шелохнулся. Подрезало тебя...

— А отчего у тебя руки как ошпаренные? — вырвался вроде и не к месту, но давно мучивший его вопрос.

— И у меня от нервов. Я тоже с тобой помучилась. Так-то незаметно, когда все спокойно. Я их по своему малярному делу испортила давно. Каким-то ядовитым разбавителем облила, не разбиралась еще. Зажили быстро. А попереживаю — и покраснеют, пухнут иной раз... Это пройдет. Да они и не болят совсем. Только так... не очень красиво для молодой жены.

— Сойдет,— сказал Зося.— У меня еще почище. Век не отмоешь.

— Работа...— вздохнула Катя.

— А ты чего убежала-то от меня? — быстро и весело спросил Зося.— Ведь позор мне...

Глаза его глядели так ясно, а спросил он столь необидно и о самом щекотливом, что Катя, постоянно ждавшая этого разговора, легко вздохнула, опустила перед ним на стул и даже улыбнулась.

— Да какой же тебе позор? — заговорила она.— Мне — верно, позор... Видишь, как у нас все получает-

ся... Опытнее тебя я оказалась. Не знаю, как лучше-то сказать... Я сразу поняла, что впервые ты с женщиной. И полюбила тебя уже по-настоящему. Ведь сначала-то я тебя только жалела. Обласкаю, думаю, его, поймет. Ну и сдружимся, слюбимся. Ты ведь веселый, простой бываешь, с тобой легко. А ты вон какой норовистый оказался. Конечно, глупо я сделала, что не сказала до свадьбы... что не с тобой с первым. Да ведь как об этом скажешь — язык не поворачивается, тяжело... Думала, что и ты... Ведь вон какой ты ходовитый да ухватистый. А вышло по-другому. Не знала я, что ты так обидишься... Это ведь не обман, Зося, ты пойми меня. Я всей душой к тебе.

Зося слушал. Ему было радостно и в то же время неловко, что Катя так просто говорит про такие дела. Даже неприязнь шевельнулась снова, как тогда, в первую ночь.

— Ну вот. Опять на меня волком смотришь,— с ноткой горечи сказала Катя.— Ну, виновата я. А знал бы ты, как это все. Девушку обмануть не так уж трудно. Есть спецы... Это горе наше бабье, когда так... На счастье ведь надеешься... не просто... А ты, поди-ка, разгульной меня посчитал... Нет, Зося. А жить и мне надо, какая ни есть. Пойми ты меня. Забудь, если можешь... Я ведь тоже человек. И душа есть.

Катя умолкла. Лицо ее вытянулось. Кожа на нем воспаленно поблескивала. Она прижала к губам кулак. Крепко прижала. Глаза ее, выцветшие за эти дни, повлажнели.

Прилив горячего чувства захватил Зосю. Он дотянулся до ее тонкого запястья, ухватил, притянул к себе. Она не сопротивлялась, послушно приблизилась к нему, села на край постели. Зося обнял ее за шею, привлек еще ближе.

— Все, Катя. Понял я. И об этом больше все, молчим.

Зося впервые показался ей настоящим мужчиной, мужем — требовательным и строгим хозяином в их общем доме, хозяином, которого надо любить, подчиняться его воле и немножечко бояться. А она таким и представляла будущего мужа...

Эту ночь они провели вместе. Катя прижала Зосины руки к своей теплой груди, зажмурилась, замерла. Зося поначалу лежал прямой, словно был привязан к жерди.

Он не спал. И Катя оттого не засыпала. Что-то еще оставалось между ними недосказанное, мешающее.

— А хороший дядька Чубенко,— шепотом рассказывала Катя последние события.— Я реву, увольняться к нему пришла, чтобы уехать от стыда. А он говорит: поборись за свое счастье, Березкин, говорит, парень в душе хороший, найди к нему подход — и наладится у вас жизнь, веселая будет. Поймешь, говорит, ты его. А бегать от мужей, говорит, последнее дело. От первого убежишь, поревешь с горя — от второго бежать будет уже легче. Так и пойдет жизнь наперекос. Я слушаю, вижу, что он прав, а сама думаю — какой же к тебе подход? Так и не придумала ничего. Не взял он у меня заявления. Умница какая... А мне бы так и не отыскать к тебе тропки, кабы ты опять не заболел...

— Несчастье помогло,— вслух сказал Зося, и Катя в темноте почувствовала, что он по-хорошему улыбнулся. Напряженные Зосины руки обмякли, стали почти нежными. Катя ближе придвинулась к нему, но он снова заговорил.

— А бабка горбатая чего?

— Представь — советовала. И почти то же самое. Только она как-то по-старинному толковала, но все равно, чтобы я от тебя не уходила, чтобы слушалась тебя, терпела.

— Дураки мы. Насмешили людей,— вздохнул Зося. И Катя подумала согласно с ним. И оба понимали, что дальше станут жить умнее.

Скоро Зося заснул, счастливый новым счастьем, успев лишь подумать, что надо бы до конца вылечить Катины руки и что Чубенко и впрямь золотой мужик. А Катя еще долго не спала, лежала не шелохнувшись, тоже счастливая, что кончилось ее и Зосино сиротство, заботливо думала о будущем... что муж скоро совсем выздоровеет, разделается с этими паршивыми деньгами... И будет у них жизнь.

Зося глядел в окно и завидовал тем, кто на улице. Пробежаться бы по первому ледку, по закаменевшим кочкам, подышать во всю грудь! Или взяться за работу, изо всех сил, хотя бы и с кувалдой... Ничего мрачного и пугающего не осталось в душе. Зося сладко жмурился, и сердце его радостно трепетало.

А Катя, как и вчера и позавчера, ушла на работу еще потемну. Жилой дом, пятиэтажный, шестидесятиквартирный — первый такой домище в городе был уже под крышей и остеклен. Оставалась отделка. Пришла пора Катиной работы...

А вчера заходил Чубенко и заявил с улыбкой во всю свою черную рожу, что в ММС решили Зосе квартиру не давать за его художества, а Кате — дать двухкомнатную и что если Катя возьмет в эту квартиру Зосю, то администрация возражать не будет, потому что по части семейной жизни таких прав у них нету.

— Все понял? — спросил Чубенко, подмигивая.

— Мы люди маленькие, — вздохнул Зося с ухмылкой и подфыркнул носом. — Перед начальством и народом виноватые. Нам возражать не приходится.

— Артист! — сказал Чубенко. — Неисправимый! — И хохотнул понимающе. — Ладно, повинную голову меч не сечет.

...Зося стоял у окна и не видел улицы. Мысли прыгали: Катя, Чубенко, квартира... Нет, насчет Кати все было ясно. А вот начальники? С чего они такие добрые? Надо бы идти и поговорить с мужиками всерьез. Иначе как же? Дураком перед ними быть? Чтобы за нос водили? Нет, дудки! Пусть ругаются врачи, а он пойдет. Потому что эта загвоздка в голове — хуже болезни.

Он оделся потеплее и пошел. Ноги легко несли его похудевшее тело. Морозная свежесть щипала в носу, шумно врывается в легкие, отчего их даже ломило. Зося с удовольствием чихнул несколько раз подряд — стало совсем хорошо. Он шел, не разбирая дороги. Теперь, по морозу, везде можно было пройти напрямую. Он помнил слова Кати о том, что Пашина избрали профсоюзным богом и что у него есть отдельный кабинет.

Пашин будто ждал его, заулыбался, первым протянул руку.

— Здравствуй, Изосим Изосимович!

— Здравствуй, Иван Иванович.

— С чем пожаловал? Как здоровье?

— Не очень меня люди-то клянут? — с ходу заговорил Зося о главном, уставившись в светлые глаза Пашина. — Сам-то как обо мне думаешь?

— Всяко, — не сразу ответил Пашин. — Кто клянет, а кто и жалеет.

— Ну, жалеть-то меня не за что.

— Правильно рассуждаешь.— Пашин даже обрадовался Зосиным словам.— Видно, понял ты кое-что, пока болел. В таком случае бюллетень тебе надо еще продлить, если на пользу.

Пашин засмеялся, довольный своим остроумием. Но Зося не поддержал шутку.

— Понял, да не все. Вот и пришел. Непонятно, отчего мне все прощают. Не может такого быть, чтобы люди легко прощали... Мучит это меня.

— На работу выйдешь — успокоишься. Забудешь за делом.

— А если каждый мне в глаза старым будет тыкать! Разные ведь люди-то.

— Что ж. Маленько и потерпишь. Поговорят и перестанут.

— А ты-то, Иван Иванович, чего меня защищаешь? Помнишь ведь?

— Как не помнить,— вздохнул Пашин, но заговорил с прежней доброй раздумчивостью:— Помню. Ну, а что я, по-твоему, должен делать? Мстить? Начни я мстить— ты еще больше рассвирепеешь. И пошло бы!

— Пожалуй, так,— невесело согласился Зося.

— Точно,— убежденно сказал Пашин.— Человечностью тебя взяли. Вот ты и сам человеком становишься.

— Хитрые вы, дьяволы,— покачал головой Зося.— Кругом меня объехали, и сами хорошими остались. А дальше-то что от меня потребуете?

— Чтобы хорошенько поправился и выходил на работу.

— Это и так будет. Только не верится мне, что все это с вашей стороны без тайного умысла. Все будете помнить! А при случае и ткнете в глаза: сиди, мол, и помалкивай, взятый на поруки, пока...

— Это от тебя будет зависеть.

— Чувствую, что от меня. А вы уж на меня арканчик накинули и за веревочку держите... А если я не согласен на такую жизнь? Если я вам не верю и не могу быть для вас послушным паинькой? Тогда как?

Зося и сам понимал, что занесло его далеко, но остановиться уже не мог. Что-то холодное рвалось от души, требовало полной ясности. Зося уставился на Пашина с недобрый прищуром. Нахмурился и Пашин.

— Все, что ты сказал, мне понятно,— заговорил он, подумав.— Ты еще помучаешься. И нас помучишь...

Судьба у тебя, конечно, несладкая, вот ты и озлился. Но и оттаять пора. Пора, брат.

— Как — оттаять? Я теперь вроде хуже всех. А я двуличным быть не хочу. Не могу. Химичил, не отпираюсь, но хоть на собраниях-то не болтал, что я хороший!

— Правильно. Это у тебя есть. Оттого тебе и верим.

— А я вот думаю, не все правда, что мне предъявляют. То есть все, конечно, так — но не все плохо... Я, может, не из-за одних денег... Мне, может, работать нравится — две смены подряд. Могу я. Да и бульдозер чего стоять вечерами без пользы! Он ведь железный!

— В чем-то ты прав. Но и путаник большой. Себя не знаешь, — сказал Пашин. — Слушай тогда мою правду. Честно скажу, что я о тебе думаю, и почему с тобой нянчатся — скажу.

— Ну-ка, давай.

— Счастливый ты от рождения, вот что. В тебе словно три человека сидят. Один — горячий и, я тебе прямо скажу, талантливый даже, и большой работник. Второй — озорник. Третий — проныра, почти что жулик. За всех троих ты можешь воз везти. Бывает, и везешь. Но образования у тебя — с гулькин нос, воспитания и того меньше. Оттого в тебе эти три человека сразу уживаются и ни один верха взять не может. А надо, чтобы командовал в тебе тот, который поработать любит от души. Ну и весельчак чтобы голос подавал при случае. А жулика надо гнать.

Пораженный Зося задумался. Никогда еще не раскладывали его душу на такие части при нем же. Он понял, что все сказанное о нем — действительная правда. И растерялся. Гордость оттого, что он такой тройной, богатый и необыкновенный, родилась и спряталась.

— Кем ты сам-то хочешь быть? Ударником или пронырой? — спросил Пашин. — Категорически уверен, что можешь стать и тем и этим. Как пожелаешь.

— Да чего ж тут гадать... Жена у меня. И перед народом... — замялся Зося. — Да и сам... Ну, хорошо. Но у меня еще есть вопрос. Дело делал я один. И попался. Ну ладно. Пусть я виноватый. А видывал я такие бригады, дружные такие компании, в которых все заодно. Умеют они и деньгу сорвать, и выручить своего. И всем хорошо. И суд у них свой. И все прочее. В такой бригаде я бы не пропал... Тем более не для себя только люди ворочают.

— А ты шире можешь взглянуть? — перебил Пашин.

— Как это — шире?

— А представь, что такая дружная бригада, это наша ММС. Все друг за друга в ней — горой. Общего успеха добиваются и хорошего заработка. И не только для себя ворочают, для общей пользы.

— Посто-ой! — заволновался Зося.— Чудное ты говоришь, хотя и на правду похоже. Только вот правда у тебя чистенькая. А в жизни не так, правда горькой оказывается. Но и подлецы в ММС есть. С ними-то как?

— А подлецов — своим судом... Ты ж испытал. А правда должна быть чистой. Это точно. Но ежели и горькой она окажется иной раз, то ведь и в горечи есть своя радость. Опытней будем после горькой правды, умнее, жить лучше будем. И не только для себя — и чтоб другим лучше жилось.

Зося поднялся. Был он взволнован и разгорячен. Что-то бурлило в нем, созревая. Пашин тайком поглядывал на него и понимающе улыбался.

Они вышли на улицу. На город уже опустился ясный вечер. И первые звезды проснулись, чтобы светить в неоглядном небе всю ночь. Зося шел молча. А Пашин говорил:

— Вот такой надежной компанией, выражаясь по-твоему, и должна быть наша ММС. Главарь в ней — Чубенко, голова у него на плечах есть. Но и мы все в ответе, каждый со своей головой.

— Ты этак всю страну компанией назовешь, — буркнул Зося.

— А что? И вся страна у нас заодно должна, мы об этом много думаем.

Зося снова задумался.

— А ты-то, Иван Иванович, так живешь, как мне советуешь? — вдруг доверчиво спросил он.

— Стараюсь.

— И получается?

— Всяко бывает...

— То-то. Хорошо, что честно сказал. Я тебе верю.

И опять они шли молча. У Зоси разгорелось лицо. Пашин едва успевал за ним, пряча улыбку.

— А ты партийный, Иван Иванович? — спросил Зося.

— Да. А что? — Пашин глянул в лицо Зоси. — Я давно партийный.

— А вы, партийные, живете по своему уставу?

— Конечно. Есть у нас устав.

— А можно почитать? Мне вот, беспартийному...

— Можно, это не секрет.

— Дак дай!

— Нету у меня при себе. Приходи завтра, найду.

— Мне бы сейчас.

— Эк загорелось.

— Ты не смейся! Над этим нельзя насмехаться. Где он у тебя? — Зося остановился, нагнулся к Пашину, схватил его за рукава. И такое у него было в этот момент лицо, что Пашин все понял.

— В конторе, кажется, есть, в столе,— сказал он.

— Пошли! — то ли умолял, то ли требовал Зося. Он развернулся обратно, таща Пашина за рукав. Пашин выдернул рукав из его цепких пальцев, крикнул, пошел с ним плечо в плечо.

Дома Зося поужинал и успокоился.

— Да, строго написано. А ведь так и надо, чтобы порядок был. И все вроде бы ясно. Попросту говоря, за справедливость стоять, хорошим людям добро делать, а подлецам — морды бить. Или не совсем так? Нет, смысл я уловил. Все ясно,— рассудил он, прочитав устав и поглядывая на жену загадочно смеющимися глазами.

Катя взяла книжечку и удивленно уставилась на мужа.

— Тут про кулаки, наверное, нету,— сказала она.

Зося вскочил, обхватил ее ручищами, подбросил к потолку, да так и держал, расплываясь в улыбке.

— Пусти! Голова кружится,— взмолилась Катя.

Он мягко поставил ее на ноги. Глаза его смеялись.

— И когда ты поумнеешь,— хмурилась Катя, пряча счастливую улыбку.

— Это очень хорошо,— восторженно рассуждал Зося.— Это очень нужно, чтобы жена мужика любила. Обязательно! Но настоящему мужику этого мало. Понимаешь?

— Что, одной жены тебе мало?

— Мало. Мужику надо... Много! Делать ему надо, ворочать что-то этакое... Изю всех сил! А то и сверх. А иначе он что? Так, к жене пристежка. Вот до чего я своим умом дошел, Катя.

— Шарахает тебя из стороны в сторону. Опять что-нибудь натворил.— Катя улыбалась мужу, но и тревожилась за него. А Зося глядел на нее и безмятежно скалил зубы. Родной и забавной казалась ему призадумавшаяся жена.

Он схватил ее ладони, прижал к своим колючим щекам. Катя охнула, отдернула руки.

- Болят? — испугался Зося.
- Работы много,— призналась Катя.
- Штукатурить начали?
- Тепло дали от новой котельной, вот и начали.

А нас и всего-то три бабы.

— Та-ак,— задумчиво произнес Зося.— Понятно. Жена выходит на передний край... А муж дурью мается.

Он еще что-то болтал, шутливое и малопонятное. Катя не слушала его, махнула рукой. И то ладно, что в хорошем настроении муж. Пусть тешится.

На другое утро Зося увязался за ней, проводил до работы. Бюллетень ему осталось один день — пятницу. Дальше надо было пережить два выходных, а в понедельник он будет у своего бульдозера, который уже волокли в ММС.

Новый дом возвышался над улицей, гордо поглядывал на приземистые домишки и сараюшки, разбросанные по городу. Зося не поленился забраться на самую верхотуру. Город перед ним был как на ладони. За окраинами виднелись и деревни, большей частью хорошо знакомые Зосе. Отсюда казалось, что и не избы стоят внизу, а игрушечные клетушки, обложенные со всех сторон голиками. Собственный дом и вовсе не приглянулся Зосе: плоский, с черными дырами на крыше. Зося присвистнул и пошел вниз.

— Показывай свою работу,— заторопил он Катю.

— Гляди,— сказала она, распахнув двери в первую квартиру.— Эту мы закончили. Два дня маялись. А в доме шестьдесят квартир да лестницы... Вот и считай, сколько нам тут корпеть. А надо ведь и красить после штукатурки.

— Ясно, ясно,— приговаривал Зося.— А материалы-то есть?

— Все коридоры цементом завалены. Во дворе — гора песку. Об этом начальство позаботилось. Раствора на весь дом можно наделать. А красок пока нету.

— Все ясно,— подытожил Зося.— Не работа, а каторга. И долгая. Надо принимать меры.

— А что ты сделаешь?

— Можно кое-что сделать.

— Смотри... Куда пошел-то? — с тревогой спросила Катя.

— Да к Пашину,— сказал Зося, стараясь придать голосу искренность. Катя вздохнула, глядя ему вслед.

Но Зося и в самом деле пошел к Пашину, который встретил его с тем же радушием, как и днем раньше. Зося выложил устав.

— Ну и как? Согласен с линией?

— Согласен.

— Я вот зачем хотел тебя видеть,— переменял тему, Пашин.— На-ка, держи. Это путевка. У тебя что было? Простуда, осложнение на легкие. С этим не шутят. И ма-тушка твоя легкими страдала. Чуешь? Так что тебя надо оградить. В воскресенье вечером выезжать.

Зося ошеломленно разглядывал путевку. Никак не укладывалась в его планы поездка на курорт.

— С женой бы надо посоветоваться,— сказал он.

— Поймет жена. Рада будет. Кому хворый муж нужен?

— Так уж я и хворый! — взъерепенился Зося.

— А так,— твердо сказал Пашин,— у нас, считай, двести человек работающих, а врачи персонально на тебе настаивают. Так что конец разговору. До встречи через месяц.

Пашин выразительно глянул на двери, и Зося задумчиво вышел. Путевка, которую Зося придерживал в кармане рукой, заставляла теперь думать быстрее. В его голове все отчетливее вырисовывался план предстоящей операции. И когда он стал ясен в деталях, Зося без промедления приступил к делу.

Его видели возле горкомхоза. Он шептался с парнем своих лет, одетым в умазанный красками комбинезон. Оба поминутно оглядывались, словно боялись, что их подслушивают. Но если бы кто-то и находился поблизости, вряд ли что-нибудь понял из их разговора.

— Песок, цемент? — коротко спрашивал парень.

— Хватит,— бросал Зося.

— Вода?

— Помпу надо.

— Найдем. А тепло?

— Обеспечу.

Потом вопросы задавал Зося.

— Распылители-то у вас есть? Чтобы и штукатурку не с лопатки кидать. И малярить не кисточкой...

— Имеется.

— Краски?

— Кусаются они, но найдем. Многовато надо.— Парень вздохнул.

— Деньги на бочку,— уверил Зося.

— Задаток требуется,— сказал парень.— Потому что идея неясна. Дом казенный, а платишь ты.

— Может, я уполномочен. Дело-то ведь такое... Нашему директору не с руки с вами связываться. А мне... что ж? Объявят мне выговор, для виду. А в глаза — похвалят. Выговор — не туберкулез, с ним можно жить.

Зося отсчитал десятки. Они крепко пожали друг другу правые руки. И в этот момент пачка червонцев перекочевала из левой Зосиной руки в левую руку парня.

— Сроки? — спросил парень.

— В понедельник к утру.

Парень зашевелил губами, что-то считая в уме.

— Два дня и три ночи, хватит,— заявил Зося.

— Такое дело нельзя плохо сделать,— озабоченно проговорил парень. И они расстались, ударив по рукам и с полным уважением глянув в глаза друг другу.

Чуть позже Зося снова очутился на территории ММС, теперь в котельной, где долгонько судачил с кочегарами.

— Условия ставлю такие: не пить, шуровать вовсю, чтобы штукатурка за сутки до звона высохла. Ясно?

— Чего ясней. Сказали — сделаем,— заверили кочегары. Зося пожал руки и ушел, довольный собой.

Оба выходные дня он пускал в ход всю свою изобретательность, чтобы Катя не выходила из дома. Заставлял ее еще и еще раз отбирать и гладить ему в дорогу белье, заводил всякие разговоры. Сам бегал на колодец и в магазин. И долгонько бегал, потому что каждый раз оказывался возле пятиэтажного дома. Отходил от него с улыбкой. Из дома доносились многочисленные голоса, шум каких-то движков.

...Когда Катя пришла в понедельник на работу, ее поразила картина разграбленного двора. Начисто растаяла заснеженная гора песку. В коридорах не осталось ни одного мешка с цементом. Но Катя совсем перестала верить своим глазам, когда увидела, что все до единой квартиры отделаны начисто: побелены потолки, оштукатурены и блещут краской стены. Оставалось только полы помыть. Катя села на лестнице и взялась за голову. Подруги ее бегали по этажам и визжали от изумления.

— Чем это все кончится? — горько сказала Катя.

В этот понедельник в доме побывало полгорода. И все были уверены, что без Зоси здесь не обошлось.

— Ай да Зося! — сказал Пашин, останавливаясь.

— Ой, Изосим,— сказал Чубенко и долго таращил глаза.

— Ну, Березкин! — недобро проговорил милиционер Василий. Он был уверен, что без хищения социалистической собственности тут не обошлось, и поморщился оттого, что теперь-то волей-неволей придется заводить на Зою серьезное дело.

...А Зося ехал в плацкартном вагоне на юг, усердно пил чай. Лицо у него было такое, будто он вот-вот расхохочется, потому что один он во всем поезде знал до невозможности веселую и удивительную историю, рассказывать которую было еще нельзя.

19

Зою ждала с курорта вся ММС, а может, и весь город. На время он стал самым популярным человеком. О нем говорили всюду, восхищались, крикали, крутили головами.

С курорта он прислал два письма: Кате и Чубенко. Катя всплакнула над письмом, потому что написал ей Зося много всяких хороших слов и клялся купить ей путевку на курорт, где ей вылечат руки. Плакала Катя еще и оттого, что мужу грозили неприятности.

Чубенко жирно подчеркнул в Зосином письме четыре строчки: «Знаю, что будут прищучивать ребят из горкомхоза. Так ты отдай им краску. Больше они со своего склада ничего не брали. А меня извини, что не согласовал вопрос. Но не мог я видеть, как тянут с этим домом, а люди извелись ждавши. Да и деньги, которые у меня никто не принимал, надоели, хоть давись». Чубенко показал письмо Василию. Тот прочел, собрал свои бумаги и заявил:

— Он и в письме насмехается. Беззаконие явное. Но не могу я его привлекать. Никакая статья не подходит.

— А как же мы все это документами оформим? — задумался Чубенко.

— Вот и думай! — озлился Василий. Ему показалось, что Чубенко вовсе не встревожен, а даже доволен, что так получилось.— Если что-нибудь незаконно проведете по документам, на тебя дело заведу. Походишь тогда, пообъясняешься!

— А ты-то чего злишься? — спросил Чубенко.

— А ну вас! Все у вас не как у людей. С ума сойдешь,— заворчал Василий и ушел.

— Это тебе не статья в кодексе, а живые люди,— проговорил Чубенко с удовольствием в сторону захлопнувшихся дверей. В душе он восхищался Зосиной предприимчивостью. Чубенко уже выбрал в доме квартиру для себя. А жена писала, что приедет через несколько дней. И Чубенко представлял, как она обрадуется...

...Зося приехал ночным поездом. Его встретила Катя. Была она глухо укутана в шаль, держалась в сторонке и Зосю поспешила увести с освещенного людного перрона. Зося толковал ей восторженно про курортную жизнь, а Катя не слушала его, торопила. Они подошли к старому дому, и Зося свернул к своему заулку.

— Ты что? В трубу лазишь или опять к бабке переселилась? — недоуменно спросил он, увидев, что подворье занесено снегом и нет к крыльцу ни одного следа.

— Новый у нас дом. Пойдем скорее.

— Что? Всерьез переехала?

— Ну да.

— Поглядим! — радостно заорал Зося. Он подхватил Катю под руку и чуть не бегом припустил к новому жилью. Только теперь он разглядел, что Катя не в настроении.

— Ты чего такая? Ведь новоселье, новая жизнь!

— Дома расскажу,— тихо ответила она.

Они поднялись по освещенной лестнице. Катя открыла дверь, сказала, слабо улыбнувшись:

— Входи, хозяин.

Из квартиры пахло теплом и такой чистотой, что Зося принялся испуганно вытирать ноги, не решаясь переступить порог.

— Почти всю ММС сюда переселили. И директор, и Пашин, и твой друг Василий тут,— рассказывала Катя.— И прошу не ворчать. Я деньжонок твоих порядочно поистратила: обстановку, телевизор, шторы, коврики купила. Все так делали. Ну и я.

— Какие это мои деньги? — возмутился Зося.— Нет у меня ничего. Все — наше. Нет. А чего ты как в воду опущенная? Или стряслось что?

— Ой, тебе весело. А горкомхозовским ребятам не до смеха. Скандал у них. Шум,— говорила Катя.— Премий лишили. А бригадиру товарищеский суд устроили.

Зося помрачнел.

— Ну что за люди! — злился он.— Ведь большое дело сделали. Должны бы понять! Одно расстройство...

Приехал — на жене лица нет. Что за жизнь такая? А что теперь-то делать?

— Ложись. Постелено, — грустно сказала Катя.

Нет, не такой встречи ожидал Зося. Он почти не спал остаток ночи. Утром пошел в горкомхоз. Там ему быстро нашли парня. Тот вышел хмурый, не поздоровался. Зося отвел его в сторону.

— Есть выход, — горячо убеждал он парня. — Тебе все равно здесь не жизнь. Переходи к нам. Пошли сейчас же к директору. Он тебя с руками оторвет. Пофыркает для виду, а на работу возьмет. У тебя какое образование?

— Техникум кончаю. Строительный. Заочно.

— Ты же страшный дефицит! Чубенко через полгода тебя сделает своим заместителем по строительству!

— Не загибай. — Парень остановился. — Не сбивай меня с толку.

— Ну не заместителем. А старшим прорабом точно!

— Не должность мне надо.

— Сразу и не дадут. Нельзя сразу, после такой истории. Понимать надо.

И они двинулись к ММС.

Чубенко принял их сразу. Зося глянул на него и понял, что большой грозы не будет, но повиниться, выслушать кое-какие не очень приятные слова — придется. И даже следует. Зося представил директору парня, который стоял с опущенной головой и мял в руках шапку.

— Оба главные пришли, значит, — приветствовал их Чубенко. — Рассказывайте, как это вы...

— О чем рассказывать? — невинно спросил Зося.

— Обо всем. Как сговорились. Как дело провернули.

— Это всем известно, — ответил Зося. — Чего слова тратить.

Парень стоял и маялся. Расспросы о халтуре ему надоели до того, что хоть из города беги.

— Мы все понимаем, — бодрее заговорил Зося. — Вы должны нас ругать, меня — наказать, или еще там как... Но ведь все в пользу обернулось! Так ведь?

— Ох ты и жук! — сказал Чубенко. — Есть в твоих словах смысл. Но про моральную сторону дела ты забыл. Сколько ты этого морального вреда принес — не счесть! Люди волнуются. Кто в сомнениях насчет порядка и законности впадает, кто мучится, наказанный. Вот к чему твоя ловкость привела. И друг твой стоит и страдает. А с тебя — как с гуся вода. Он бы тебе физионо-

мию должен набить, а вы чуть не в обнимку ходите. Что вы за люди? Зачем ты его ко мне привел?

— К нам его надо устроить,— горячо заговорил Зося.— Замордуют там парня. А он строительный техникум кончает. Нам как раз такого человека не хватает. Я за него ручаюсь.

В кабинете установилась напряженная тишина. Наконец Чубенко распорядился:

— Ты иди, Изосим. Я с ним поговорю.

Зося послушно вышел. Словно гора свалилась с его плеч. Он долго сидел дома задумчиво и неподвижно. А вечером заявил Кате:

— Все. Кончились мои номера. Буду теперь самым правильным. Надоело. Ты же стараешься пользу делать, ты же и виноватый кругом.

Катя вздохнула.

Весна пришла самая обычная: ни рано ни поздно, с капризами и с яркими деньками. Почти не взволнованный предстоящим сезоном, Зося работал на ремонте и думал как бы получше отладить свой бульдозер.

Остепенился за зиму Зося. Уверенностью и силой веяло от его поплотневшей фигуры. И руки уже не казались непомерно длинными, налились они мужицкой тяжестью. А глаза у Зоси потускнели. Он частенько распрямлялся возле своего бульдозера да так и стоял. То ли думал, то ли скучал. А потом снова принимался за работу, потому что долго жить без работы он не умел.

Находил он себе дело и в выходные. По просьбе Кати привез дров горбатой старухе. Во дворе построил сарай и перенес в него свою домашнюю мастерскую, которую соседи тут же прозвали комбинатом бытового обслуживания.

...Наступили майские праздники. Зося посмотрел демонстрацию по телевизору и вышел во двор. На улице было солнечно и тепло. Восторженно гомонила ребятня. На скамеечке во дворе сидели и по-праздничному благодушествовали Чубенко, Пашин и Василий. Они дружно ответили на Зосино приветствие и глядели так, словно приглашали к себе в компанию. Но не подошел к ним Зося. Вздохнул и направился на усадьбу ММС.

— Непохож на себя стал Изосим,— заметил Василий.— Что-то с ним.

— Думает парень,— сказал Пашин.— Вы и не знаете, что он у меня устав партии брал читать. Сам попросил.

— Вон как! — удивился Чубенко.— Честно говоря...

мне его жаль. Убили мы в нем веселье. Хоть и глупо, бывало, веселился он...

— У него от веселья до преступления один шаг.— сказал Василий.— Тихий он мне больше нравится.

— А мне — нет,— возразил Чубенко.— Люблю, когда люди весело работают. И живут.

— Это у него временно,— сказал Пашин.— Много я людей видел на своем веку, а не помню ни одного, чтобы резко этак переменялся человек. Каким родился, каким вырос — таким и умрет. И Зося еще почудит.

— Как хотите считайте, а мне он несколько уроков дал,— заговорил Чубенко.— Даже руководить я у него учусь кое в чем.

— Как это? — полюбопытствовал Василий.

— А хоть и с прудами для частников. Нужны пруды людям, а мы не роем. А почему? Да только потому, что не доперли своей головой, что рыть их надо. И кроме нас — пока некому. Это раз. А с домом разве не урок? Урок! Да еще какой. Могли же мы со своей стороны людей нанять, воскресники провести? Могли. А мы не спешили. Вот и мораль... Не думал я как-то об этом, текучка заела. А надо думать. И директору, и завкому.

— Предчувствую я, в праздники он опять какую-нибудь штуку выкинет,— сказал Василий.— В ММС сейчас пошел. Чего ему там надо в праздник?

— Он у меня железа просил для оградки на могилу матери. Думаю, за этим и пошел,— сказал Чубенко.

— Оградку он сделал. Два дня тому назад увез,— уточнил Пашин.— Я ему с машиной помог.

И в этот момент возле дома показался Зося. Он шел согнувшись, тащил на спине что-то грузное.

— Ну вот! — привстав, проговорил Василий.— Опять что-то волочет.

Зося с грохотом сбросил ношу возле крайнего, не своего подъезда.

— Не себе. Значит, халтурка,— определил Василий.

Все трое с начальственной строгостью и напряженностью во взглядах подошли к Зосе.

— Это что? — первым спросил Чубенко.

— Не понять, что ли? — ответил Зося.— Решетки к подъездам. Сам варил. Чтобы грязи поменьше в дом таскали.

Все трое облегченно вздохнули. А Зося, все поняв, усмехнулся и прикрыл смеющиеся глаза.

Владимир Степанович Степанов
НЕ БЕЛЫ СНЕГИ...

Рассказы, повесть

ИБ № 688

Редактор *А. А. Иванов*

Художники *М. Н. и А. С. Григорьевы*

Художественный редактор *Д. А. Трубин*

Технический редактор *Н. Н. Гаврилова*

Корректоры *Т. А. Крупина, В. А. Фокина*

Сдано в набор 2.03.1987 г. Подп. в печать 22.06.1987 г. ГЕ05245
Гарнитура литературная. Высокая печать. Форм. бум. 84 × 108/32.
(бум. тип. № 2). Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 13,52. Уч.-изд. л.
14,736. Тираж 15000 экз. Заказ 3474. Цена 1 р. 30 к.

Северо-Западное книжное издательство.
Вологодское отделение, 160000, г. Вологда,
Урицкого, 2.

Областная типография, 160001, г. Вологда,
Челюскинцев, 3.